

84. P.
C-95



Павел Сычев
У ТИХОГО
ОКЕАНА

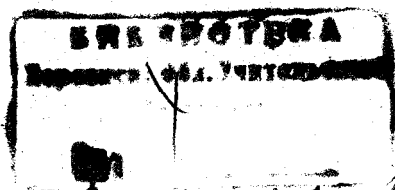
ПАВЕЛ СЫЧЕВ

У ТИХОГО ОКЕАНА

ПОВЕСТЬ

Книга вторая

ОКЕАН ШУМИТ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА · 1958

О будущее, ты прекрасной
Смотрите, юные друзья:
Встает неудержимо властно
Век новый, красотой маня.

Все выше, выше год от года
Могучим валом бьет прибой,
И вот она перед тобой —
Несокрушимая свобода!

Виктор Гюго



Часть первая
ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ

Вперед, без страха и сомненья!

А. Н. Плещеев

ОНИ ИДУТ

Они прошли мимо тихих, уснувших с вечера окраинных изб Малышевки и вышли за село, на открытую дорогу — Александровский тракт, уходивший далеко в темную темень ночи. Там нельзя было ничего разглядеть. Не видно было ничего, что говорило бы о завтрашнем дне: как начнется утро, что будет с беглецами. Справа, точно Млечный Путь, текла Ангара, а слева лежала широкая, обьятая тьмой равнина, за которой черной полосой тянулась гора — коренной берег Ангары. В небе висел тонкий, едва наметившийся серебристый месяц, дрожали яркие, точно омытые дождем, звезды, и одна из них, большая, сверкавшая то зеленым, то голубым сиянием, казалось, говорила: «Я благословляю вас в ваш трудный далекий путь».

Было торжественно тихо.

Виктор Заречный и Женя Уварова, не оглядываясь, быстро шли. Виктор слушал доносившийся шум реки, и ему чудился безбрежный родной синий океан; казалось, это он шумел и звал к себе. Женя, взявшись обеими руками за ремни рюкзака, наклонилась вперед, и весь вид ее говорил о том, что она собрала все свои физические и душевные силы, чтобы идти, идти и идти...

Долго они шли молча.

— Как ты думаешь, можем мы делать пятьдесят верст в сутки? — заговорила Женя.

— Сомневаюсь. Да это и не нужно. Я понимаю, почему ты спрашиваешь. Боишься погони. Но если и будет погоня, то безусловно в сторону железной дороги, по Тыреть-Жигаловскому тракту. Ведь до Тырети шесть-

десять верст, а до Иркутска — двести. Никому в голову не придет, что мы пошли на Иркутск. Мы можем проходить не более тридцати — сорока верст. За пять-шесть дней дойдем, и хорошо.

Спокойный голос Виктора ободрял Женю: она волновалась и, конечно, не за себя, а за Виктора, которому в случае поимки грозила тюрьма и новая ссылка по этапу.

Трудность их положения заключалась в том, что идти надо было главным образом ночью. От Малышевки верст на шестьдесят — семьдесят, напрямик на юг, тянется долина Ангары в виде ровной прибрежной террасы. Хотя коренной берег иногда крутым, обрывистым склоном подходит к берегу русла реки и равнина во многих местах прерывается падами и распадками, где можно укрыться, все же идти днем по таким местам — это значит подвергать себя риску. В положении Виктора Заречного и Жени Уваровой не было ничего страшнее человека. Встреча со становым приставом, урядником или с десятским грозила провалом побега. К тому же, если идти днем, значит спать надо ночью где-нибудь в падах, а ночи были еще холодные.

Где-то совсем близко завыл матерый волк. Кажется, он хотел излить всю глубину своей волчьей тоски. Он выл, как воет собака перед смертью хозяина. Виктор и Женя вслушивались в этот вой, и им была понятна звериная тоска волка. Ведь и им не было весело в эту ночь, первую ночь их рискованного пути.

— Как неприятно воет волк, — заметила Женя.

— Это он от одиночества. Старый волк. Может быть, больной. Влачит голодную жизнь. Вот и воет.

— Кто-то идет по дороге, — вдруг шепнула Женя.

— Где? — Виктор всмотрелся в темноту. — Да это дерево у дороги.

— Разве?.. Да, в самом деле дерево.

Часа через два после выхода из Малышевки, верстах в десяти от нее, беглецы поднялись на Красный Яр — скалистый обрыв коренного берега, подошедший полюбоваться красавицей рекой. Из-под Яра доносился шум всегда молодой, своенравной Ангары, стремительно бегущей на свидание к Енисею.

С Красного Яра тракт стал спускаться опять в долину. Виктор взгляделся в даль.

— Видишь темную ленту, пересекающую тракт?
— Нет, не вижу.
— Всмотрись: темная полоска, далеко-далеко — версты три отсюда.
— У тебя, Виктор, глаза как у морского жителя.
— Так я и есть морской житель.
— Теперь как будто вижу.
— Это река Оса. Не сама река, а кустарник вдоль нее.

Действительно, не прошло и часа, как они достигли небольшой реки, впадающей в Ангару. За рекой чернел сосновый бор, его называли «Шведской чашей». Отсюда ночами выходили на тракт грабители и нападали на обозы. Перейдя речку по мосту, они снова озабоченно зашагали по безлюдному тракту.

— Мы удалились от Ангары версты на три, — заметил Виктор. — У реки идти приятнее.

— А по берегу еще лучше.

— Скоро тракт опять подойдет к реке.

Кончалась короткая майская ночь. Близился рассвет. Звезды постепенно блекли. Показалась река. Над ней плыл белый, как дым, туман. От студеной байкальской воды веяло холодом.

— Ну вот, — сказал Виктор, — прошла ночь. Все так просто. Никаких ужасов. Поднимется солнце, потеплеет, устроим привал.

— Будем идти, пока есть силы, — возразила Женя.

— Ты все боишься погони? Десятский начнет беспокоиться только к вечеру. Сейчас нам ничто не угрожает. Мы в полной безопасности, а силы надо беречь, их надо рассчитать на пять-шесть дней.

За горой порозовело небо, занималась заря. Дело-вито зашебетали птицы в кустах у дороги. Виктор огляделся кругом.

— День будет чудесный.

— Кажется, — отозвалась Женя. — Так хочется погреться на солнышке.

— Замерзла?

— Не замерзла, но холодно.

Они прошли еще около часа. Из-за горы показалось солнце. Оно осветило все вокруг. Туман пропал. Стальная холодность реки сменилась голубой ласковостью. Над

равниной зазвенела радостная весенняя песня жаворонка.

Витя и Женя сошли с тракта к Ангаре, пошли по берегу и вскоре увидели довольно глубокий распадок. — В этом распадке и отдохнем, — предложил Виктор.

Склоны распадка поросли боярышником, орешником, уже зацветшей черемухой, кустами багульника. Нежная зелень листвы радовала, как радуется все молодое, пробуждающееся к жизни. На дне распадка бежал прозрачный ручей.

— Как хорошо здесь! — оглядывая распадок, воскликнула Женя. — Пахнет черемухой.

— Да, место чудесное. Здесь, на солнцепеке, можно и поспать.

Они сбросили с себя рюкзаки. Обогреваемая горячим солнцем, Женя сидела и слушала, как журчал ручей. Виктор разволил костер.

Скоро по распадку в сторону Ангары лениво поплыл белый дымок; к журчанью ручья прибавилось потрескивание сучьев в костре.

Пока Женя кипятила над костром чайник и готовила еду, Виктор нарубил ветвей и устроил ложе, чтобы не спать на голой земле, хотя земля и была покрыта молодой травой.

— До чего же хорошо, Витя! — снова воскликнула Женя. — Весна!

— Да, весна! — Виктор вполголоса пропел:

Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед.

— Так хорошо, как в сказке, — сказала Женя. — В душе свет какой-то.

— Да, да, Женя, именно свет. Оттого-то и кажется, что кругом все хорошо.

Со дня приезда Жени в Малышевку в душе у нее установился покой, какой бывает у женщины любящей и уверенной в прочности ответной любви. Еще на Сахалине Женя почувствовала всем своим сердцем, что Виктор полюбил ее, хотя счастье это и омрачалось иногда холодностью, внезапно, ни с того ни с сего посещавшей Виктора. В Шелаеве она очень страдала — была уверена, что Виктор потерян для нее навсегда. Когда

же она узнала, что он в ссылке и в полном одиночестве, у нее возникла надежда. И надежда не обманула ее.

Виктор, в свою очередь, был счастлив. Юношеская любовь к Марии, так глубоко задевшая его сердце, с течением времени понемногу угасала, пока, наконец, не погасла совсем. В его душе зацвела новая любовь. Это не была любовь безотчетная, поражающая юношу внезапно, с одного взгляда серых, голубых или карих глаз. Это была любовь зрелого человека, вызванная обаянием Жени, неугасимой, трепетной ее любовью. И вместе с тем в его любви было то, что люди потом вспоминают, как аромат любимых цветов... Войдешь в сад, где цветет черемуха, и вспомнишь первую свою любовь. «Какие же это были чудесные дни!» — подумаешь. Вот и у Виктора любовь его к Жене связалась с запахом белых цветов табака: в Малышевке, в палисаднике, перед окнами его дома цвели последние цветы табака, и вечером, в день приезда Жени, запах их наполнил комнату Виктора.

Глядя со стороны на сидевших у костра Виктора Заречного и Женю Уварову, можно было подумать, что эта счастливая пара пришла сюда, в тихий, согретый солнцем распадок, на прогулку. Никто не подумал бы, что они уже прошли большую жизнь, посидели в тюрьме, побывали в ссылке и сейчас бегут из ссылки. Слушая их безмятежный разговор, никто не подумал бы, что эти молодые люди не знают, где приклонят голову завтра; что впереди у них — только смутные надежды; что наблюдавший за Виктором десятский не сегодня, так завтра переправится через Ангару в Балаганск, к исправнику, снимет виновато перед ним шапку и скажет: «Ушел на охоту и не вернулся». Исправник назовет его олухом царя небесного, разошлет по железной дороге телеграммы о розыске такого-то, с такими-то приметами, а то, может быть, устроит и погоню.

Если все это знать, то, глядя на Виктора и на Женю, можно сказать: вот оно, настоящее, подлинное счастье. Главным в их жизни была любовь к будущему, они были одарены счастливой способностью жертвовать собою во имя будущего, к которому они стремились, за которое боролись и в которое верили; они были свободны, как птицы, любили друг друга глубоко и страст-

но; были нетребовательны к жизни, не замечали лишений. Потому-то они и были счастливы. Даже во время побега, в распадке, под открытым небом, они испытывали чувство радости...

Подкрепив свои силы едой, Виктор с Женей легли, чтобы поспать четыре-пять часов. Солнце не жалело тепла для них. В распадке стояла тишина, только журчал ручей, звенели высоко в небе жаворонки, щебетали птицы да изредка доносилось кудахтанье куропаток.

В это время по распадку, вдоль ручья, пробирался странный человек. Был он в лохмотьях, изможденное голодом лицо его обросло рыжей щетиной, глаза поблескивали дикими голодными огоньками. Человек нагнулся к ручью, напился воды, вытер рот ладонью и заковылял дальше.

Каково же было его изумление, когда он увидел спокойно спавших в кустах багульника Виктора и Женю! Он остановился и, затаив дыхание, смотрел то на Виктора, то на Женю, не понимая, как могли эти люди очутиться здесь, в распадке, вдали от жилья. Костер еще слегка дымился, на треножнике висел, должно быть, еще теплый чайник; на салфетке лежал ломоть пшеничного хлеба. «Поели недавно», — подумал человек и проглотил слюну. И вдруг его взгляд упал на ружье, лежавшее возле Виктора; тут же лежал патронташ, набитый медными гильзами. Как молния в темной туче, блеснула в его сознании страшная мысль. Кровь хлынула к сердцу, оно забилося, как у хищного зверя, увидевшего добычу. Человек разглядывал Виктора, оценивал его сапоги, костюм и физическую силу. «Явиться в Балаганск в хромовых сапогах и в куртке было бы лучше, чем в лохмотьях», — пронеслась у него в голове мысль. Постояв в нерешительности несколько секунд, он стал подкрадываться к спящим. Обойдя костер и не спуская глаз с Виктора, человек стал подходить к нему, протянув руки к ружью. Но в тот момент, когда он ощутил в руках нагретые солнцем гладкие стальные стволы, Виктор, разбуженный шорохом, открыл глаза, вскочил на ноги и бросился к человеку, ухватившись обеими руками за ружье. Между ними завязалась борьба. Женя, проснувшись, кинулась на помощь Вик-

тору. Она подбежала к человеку сзади и с неизвестно откуда взявшейся у нее силой обхватила его руками за шею, сильно надавив ему на кадык. Человек судорожно взмахнул руками, выпустил ружье. Виктор размахнулся дробовиком, готовый ударить человека прикладом по голове, но тот, защищая голову руками, закричал:

— Не бей! Не бей!

Виктор опустил ружье.

— Отойди, — сказал он человеку.

Человек отошел в сторону.

— Сядь, — приказал Виктор.

Человек сел на землю. Он смотрел на Виктора исподлобья волчьими глазами. Сердце у Виктора билось учащенно, и гневные тени метались в его глазах. Он стоял, расставив ноги и держа ружье наготове.

— Ты кто? — спросил Виктор человека.

— Я?

— Да, ты.

— Сват водяному, брат лешему, — мрачно проговорил человек.

— Беглый?

Человек недружелюбно посмотрел на Виктора:

— А вы какие-таки?

Не отвечая на его вопрос, Виктор, немного успокоенный, беззлобно спросил:

— Бежал небось с каторги по приказу генерала Кукушки?

Женя взглянула на Виктора, не понимая смысла его слов.

Человек вдруг улыбнулся; злобные огоньки в его глазах погасли.

— А ты, паря, разве знаешь генерала Кукушку?

— Да, знаю. — Виктор присел, держа ружье в руках.

— А вы, однако, тоже беглые? Политики?

Это был уголовный преступник, бежавший из Зерентуя и пробиравшийся в Балаганск, чтобы убить жену свою, изменившую ему через год после того, как он ушел на каторгу. Известие об измене жены он получил прошлой осенью; два месяца назад бежал с каторги с единственной целью задушить жену, как он выразился,

собственными руками. Величайшие лишения испытал он, пробираясь тайгой, через горы и реки.

— А ружье зачем хотел взять? — спросил Виктор.

Бродяга не ответил, отвернулся и смотрел в сторону.

— Ну, иди, иди, куда шел, — сказал Виктор. — Дай, Женя, ему хлеба.

Бродяга удивленно взглянул на Виктора. Женя дала ему ломоть хлеба. Бродяга взял его обеими руками и с жадностью стал есть.

— Иди, — повторил Виктор, — и выкинь из своей головы жену свою. Изменила — и вырежь из сердца своего память о ней. Понял? Убежал с каторги и начинай новую жизнь. А то... Ну, убьешь. А дальше что? Опять каторга? Розги? Брось ты это.

Бродяга растерянно, недоуменно посмотрел на Виктора, хотел что-то сказать, но поднялся с земли и молча поплелся по распадку к реке.

— Опасный народ, — сказал Виктор. — А ты молодец, не растерялась.

— Я до сих пор вся дрожу, — ответила Женя.

— Молодец! — повторил Виктор. — Надо уходить отсюда. Оставаться здесь нельзя, а жаль: хорош распадок.

Они собрали свои пожитки и пошли к реке.

— У меня из головы не выходит этот бродяга, — сказала Женя.

— Уж очень мы с тобой беспечны. Спать надо по очереди.

— А что это за генерал Кукушка?

— Есть такая категория уголовных каторжан: как только приходит весна и начинает куковать кукушка, ими овладевает такая тоска по воле, что ничто не может удержать их от побега. Все лето они скитаются по тайге, бродят по деревням, а потом или их ловят, или они сами отдаются в руки властей. Их наказывают розгами, увеличивают срок каторги. Но... приходит весна, в лесу раздается далекое кукование кукушки, и они снова бегут. Это и называется бежать по приказу генерала Кукушки.

Бродяга между тем вышел к Ангаре и, не оглядываясь, пошел вниз по течению реки, к Малышевке. Места эти он хорошо знал, был уроженцем Балаганска, и точно

высчитал, когда достигнет Малышевки. Там он надеялся переправиться в Балаганск. Мысль о жене завладела им, но и неожиданная встреча с «политиком», как он мысленно называл Виктора, и слова Виктора не выходили у него из головы.

Виктор и Женя пошли в противоположную сторону. Часа два они шли берегом Ангары. Навстречу им, кружась и ворча, неслась могучая река. Из-за облака падали в нее полосы солнечного света и золотой рябью переливались в воде. Река была так красива и вся природа вокруг была так величаво покойна, что и Виктор и Женя, забыв об уголовном каторжанине, несмотря на усталость, все шли и шли, пока вдали, у реки, не показалось селение.

За дорогой тянулся сосновый лесок. Они перешли через тракт, достигли леса и скрылись в нем. С тракта донесся звон колокольчика.

Обойдя деревню, Виктор и Женя расположились в лесу и просидели в нем остаток дня. Когда совсем смерклось, они вышли на дорогу.

— Ночью покойнее на душе, — сказала Женя.

— Конечно, — согласился Виктор.

— У меня уже нет чувства страха, как было в первую ночь.

— Человек привыкает ко всему.

— Ты хорошо знаешь дорогу? — спросила Женя.

— В общем знаю. Я думаю, что к рассвету мы доберемся до Каменки. Это примерно верст шестьдесят от Малышевки. По пути будут селения, которые придется обходить. У Каменки в Ангару впадает река Ида. Где там мост, не знаю. За Каменкой кончается равнина, тракт отойдет от реки. Можно будет идти днем по берегу до самой Бурети. Но по тракту от Каменки до Бурети путь много короче. Посмотрим, может быть, около Каменки проднуем, а ночью пойдем трактом на Буреть. За Буретью недалеко большое село Олонки. От Олонок тракт идет горами. По тракту почти прямая дорога, расстояние значительно короче, чем по берегу. Берег Ангары от Олонок до Иркутска более труден для перехода, скалист, местами, возможно, придется обходить реку горами. Но зато можно идти днем, минуя деревни.

Вслушав Виктора, Женя решила:

— Пойдем по тракту ночью.

— Я попробую в Олонках нанять ямщика, — сказал Виктор.

— Что ты! Что ты! Ни в коем случае, — взволновалась Женья.

— Почему?

— Ты еще спрашиваешь — почему? Олонки — большое село. Там, наверное, и становой, и урядник, и вся сельская власть. Туда носа показать нельзя.

— Пустяки. Вокруг Олонок горы, покрытые лесом. Там можно просидеть до вечера, а вечером пробраться к учителю. В Олонках есть школа, созданная еще декабристом Раевским. Учитель поможет достать лошадь.

— Нет, Витя, ни за что! Неизвестно, что за учитель там.

— В сельских школах учителя — народ революционно настроенный.

— Ни за что, — твердила Женья. — Пойдем пешком, ничего с нами не сделается.

— Ведь ты устала. Я же вижу.

— Ничего подобного. Я могу идти еще сколько угодно. Подумаешь, сколько мы с тобой прошли! Люди бегут из Якутской ссылки — две-три тысячи верст. А мы?

Обойдя за ночь несколько селений — Евсеево, Казачье, Хинь, — к рассвету, как и полагал Виктор, они достигли Каменки, расположенной у Ангары. В окрестностях Каменки они провели весь день. Хорошо отдохнув, к ночи со свежими силами вышли на тракт.

До рассвета было еще далеко, когда тракт снова привел их к реке, к селению Буреть. Они поспешили обойти деревню, вышли к реке и присели на камнях. Ночь была не так уж темна: пока они шли от Малышевки, месяц подрос, и лунный диск светился пепельным светом. На противоположном берегу, отражавшемся темной полосой в реке, горел одинокий костер.

— Здесь, Женья, человек жил пятьдесят тысяч лет тому назад.

— Пятьдесят тысяч лет! — воскликнула Женья, — трудно объять умом.

— Здесь где-то обнаружена стоянка первобытного человека, известная археологам всего мира. Это одно из самых древних мест поселения человека в Сибири.

— Неужели и пятьдесят тысяч лет тому назад так же вот на берегу Ангары горел костер?

— Да, безусловно!

— Костер первобытного человека?

— Конечно, конечно, Женя.

— Непостижимо это! Пятьдесят тысяч лет тому назад!..

— Но вот на что обрати внимание. Пятьдесят тысяч лет назад человек жил в пещерах, высекал огонь при помощи кремня. Сейчас жизнь миллионов людей в таких странах, как Россия, Китай, Индия, Индо-Китай, Африка, с их ужасающей примитивностью и нищетой мало чем отличается от жизни первобытного человека. В русских деревнях до сих пор можно видеть, как крестьяне высекают огонь из кремня. Материальная культура народных масс ушла не так-то далеко от культуры пещерного человека.

— К сожалению, это так, — согласилась Женя. — Ну, мы засиделись, пойдем.

— Пойдем.

Они поднялись, и два их темных силуэта двинулись вдоль реки.

Идя все время по берегу Ангары, они встретили восход солнца перед Олонками. Это был самый напряженный переход, отнявший много сил у путников.

Село Олонки, прославленное тем, что здесь в многолетней ссылке жил декабрист Владимир Раевский, красиво расположилось на самом берегу Ангары среди лесистых гор. Его хорошо было видно из ельника, где Виктор и Женя устроились на отдых.

— Женя, видишь сад с высокими елями? — спросил Виктор, когда они взобрались на гору, положив рюкзаки под ель.

— Вижу.

— Это, наверно, и есть сад Раевского, посаженный его собственными руками. Большой дом возле сада — несомненно сельская школа. Раевский на собственные средства создал в Олонках школу. До него здесь школы не было. Это был замечательный, высокообразованный человек, поэт, друживший с Пушкиным. Сорок пять лет он прожил вот здесь, среди этих гор, у этой реки. Тут он женился на крестьянке. А умер в Малышевке по дороге в Балаганск или из Балаганска, точно не знаю.

Виктор помолчал.

— Знаешь, Женя, у меня явилась новая мысль: в село пойдешь ты.

— Это другое дело.

— Постой. Ты не знаешь, что я хочу сказать.

— Ну, говори.

— В Олонках живет племянница жены Раевского — Прасковья Николаевна Ружицкая. Вот с кем можно поговорить насчет лошади. Ей можно открыться. Она может найти ямщика.

— Ты ее знаешь?

— Нет, конечно. Да и не обязательно знать. О ней я слышал в Малышевке. Ей можно все рассказать.

Женя задумалась.

— Ты сядешь в Олонках, — продолжал Виктор, — а я подсяду по дороге.

— Надо подумать. Мне кажется все-таки, что ехать с ямщиком более опасно, чем идти пешком. Придется проезжать через деревни, можно встретить по дороге какое-нибудь начальство. Здесь тракт более оживленный.

— Ночью поедem.

— Ночью?

— Ну да. Через деревни полным ходом. Ночью никто не увидит. Зато какая экономия во времени и в силах! Мы идем не более пяти верст в час, а на лошадях — не менее десяти. За ночь отмахаем верст сорок, а нам осталось всего восемьдесят верст.

Все, что говорил Виктор, было убедительно, и Женя согласилась с ним:

— Ну, хорошо, день проведем здесь, а вечером я пойду в село... Я очень голодна.

— Бедная ты моя! Вместо того чтобы действительно взяться за приготовление еды, я занял тебя разговором. Впрочем есть-то у нас нечего. Что там осталось? Надо в Олонках достать хлеба и яиц.

Женя развязала рюкзак. В нем нашлось не более фунта сухарей, немного гречневой крупы, сахар, чай.

— А как ты думаешь, костер можно развести? — спросила Женя. — Не заметили бы дым от костра. Отойдем в глубь леса. Воды-то мы не взяли!

Они отошли в глубь леса, расположились среди елей. Виктор взял чайник и пошел за водой на Ангари.

Весь день они провели в лесу, а вечером пробрались на кладбище, расположенное на краю села. Нашли три каменные плиты. На одной из них было написано:

ПОДЪ СИМЪ КАМНЕМЪ ПОГРЕБЕНО ТѢЛО
ВЛАДИМИРА ФЕДОСЬЕВИЧА РАЕВСКАГО.

Родился 28 марта 1795 г.

Умеръ 8 июля 1872 г.

Под двумя другими плитами были погребены жена Раевского и сын.

— Ты знаешь стихотворение Раевского: «И мой ударит час...»? — спросил Виктор.

— Нет.

Виктор стал читать:

И мой ударит час всем общей чередою,
И знак сотрет с земли моих следов.
И снег завеет дерн над крышей гробовою,
Могильный холм сравняется с землей,
И крест без надписи падет.
И, может быть, потомок мой пройдет
Над прахом, над моей могилою немой
И словом не почтит забытого молвой.

Виктор умолк. На кладбище было тихо, лишь в кустах, покрытых молодой зеленью, раздавались озабоченные голоса птиц. И Виктор и Женя долго стояли молча у могилы. О чем они думали? Какие чувства теснились у них в груди?.. Нет, не забыла молва тебя, борец за счастье родины. Не стерло время твоего имени с могильной плиты. Пройдут годы, и имя твое засияет, как солнце. Вот они, твои «потомки». Склонив голову, они стоят перед священным прахом твоим. Без страха и сомненья они идут вперед, и ничто не остановит их в стремлении к будущему.

Женя нашла дом, где жила Ружицкая.

— Прасковья Николаевна, здравствуйте, — сказала Женя, входя в комнату к Ружицкой.

От порога к столу, стоявшему у окна, лежал домотканый половик. У стола возле лампы сидела женщина лет шестидесяти, но еще не старая, вязавшая без очков кружево. Она удивленно вскинула глаза на Женю, положила кружево на колени.

Женя легкой походкой прошла по дорожке, протянула руку Прасковье Николаевне.

— Здравствуй, матушка, — сказала Ружицкая. — Чья ты? Я тебя что-то не припомню. Не из Раевских ты? Не из Расеи приехала?

— Нет, Прасковья Николаевна, я не из Раевских.

— А кто же ты? Откуда?

— Я... я с Дальнего Востока.

— С Дальнего Востоку! А я думала, голубушка, из Расеи. Ну, садись, все равно гостьей будешь... Маньча, — крикнула она кому-то, — ставь самовар!

— Не беспокойтесь, Прасковья Николаевна, я на минутку к вам.

— Как на минутку? С Дальнего Востоку и на минутку? — Ружицкая внимательно посмотрела на Женю.

— Вы одна здесь? — спросила Женя, понизив голос.

— Как одна? — удивилась Ружицкая. — Не одна.

— Я хотела поговорить с вами по секрету.

— По секрету?

Удивление Ружицкой росло с каждой минутой. Она поднялась со стула, пошла к дверям.

— Маньча, поставила самовар?

— Поставила, — слышался молодой голос.

Прасковья Николаевна прикрыла дверь, неслышно проплыла по половику, села на свое место и ожидающе стала смотреть на Женю.

— Говори, матушка. — Ружицкая помолчала и добавила: — В Урике жили Волконские. Княгиня Марья Николаевна хороводы с девушками водила. Мне не довелось видеть ее. Портрет ее у Владимира Федосеевича видела. Похожа ты на нее. Ты тоже дворянского роду?

Женя улыбнулась.

— Нет, Прасковья Николаевна, мама моя крестьянка, отец рабочий, переплетчик, книги переплетал.

— А я думала — дворянка... Ну, говори.

Женя рассказала, зачем она пришла. Ружицкая слушала ее с чрезвычайным напряжением и удивлением.

— Голубка ты моя, — прошептала она, когда Женя, сказав все, умолкла.

В комнате было тепло, Женя расстегнула ватный жакет свой.

Девочка лет четырнадцати, с двумя рыженькими косичками, внесла медный кипящий самовар. Поставив его

на стол и взглянув с любопытством на Женю, она поспешно вышла из комнаты.

Прасковья Николаевна, глядя на Женю, кивнула несколько раз головой, и глаза ее сказали: «Сделаю я, все сделаю». У Жени повеселело на душе.

— Выпей чашечку чаю, красавица. Как звать-то?

— Женя.

— А по батюшке?

— Да просто Женя... Павловна я.

— Садись, Евгения Павловна, выпей чашечку... Маньча! — крикнула Ружицкая.

В дверь просунулась голова девочки.

— Принеси хариуза или омуля да свари картошечки и яичек. Варенья подай.

— Не надо, Прасковья Николаевна, не беспокойтесь.

— Какое же это беспокойство? Небось оголодала... А он-то где? — понизив голос, спросила Ружицкая.

— На кладбище, — тихо ответила Женя.

— На кладбище?

— Там, у могилы Владимира Федосеевича.

— Родимые вы мои! — У Ружицкой на глазах блеснули слезы. Она поднялась со стула и засеменила по полу в кухню.

Вернувшись из кухни, Прасковья Николаевна принялась угощать нежданную гостью. Накормив, она стала одеваться.

— Есть у меня один на примете, хороший человек. Посиди, матушка. Я скоро возвращусь.

Она ушла и действительно скоро вернулась.

— Ну вот, хорошие люди везде есть. Через часок выедет за село. На тракте и сядете. Иннокентием зовут. Увидит вас, остановится. А вы ему: Иннокентий, мол? «Иннокентий», скажет. И с богом.

— Как же я вам благодарна, Прасковья Николаевна!

— Не на чем, не на чем, голубушка.

Маньча внесла кошелочку. Прасковья Николаевна передала ее Жене.

— Возьми, матушка, тут яички, хлеб печеный. На дорожку вам.

Ружицкая растрогала Женю.

— Прасковья Николаевна, я не знаю, как благодарить вас...

— Не на чем, матушка, не на Женю обеими руками за голову, пока потом перекрестила: — С богом.

Виктор Заречный и Женя обошли Александровский тракт и стали ждать. Было уже совсем темно. Тракт лежал сбоку светлела Ангара. Сквозь облака месяц.

Как и сказала Прасковья Никольская села выехал тарантас — это был старый тарантас с кожаным верхом. Ямщик остановил лошадей. Виктор и ему. Это был человек лет под пятьдесят, с бородой, в шапке-ушанке. Он наклонился, разглядывая лица таинственных пассажиров.

— Иннокентий? — спросила Женя.

— Иннокентий, — ответил ямщик значительно.

Виктор и Женя сели в тарантас.

Ямщик поерзал на козлах, стелла пристяжную, и земля заскрипела под колесами.

Всю ночь до зари с небольшими перерывами рысью бежали сытые, здоровые лошади в этих местах тракту, среди столетних деревьев. Миновали знаменитую Александровскую тюрьму, расположенную в селе Александровском, ехали через село Усть-Балей, привлекли археологов тем, что здесь в скалах, подходящих к Ангаре, находятся обломки с пластом сланцевых глин, сохранившие отпечатки растений, рыб и насекомых миллионов лет.

Женя, положив на плечо Виктора, спала, несмотря на тряску, грохот лошадиных копыт. У Виктора тоже спали, он дремал, минутами погружаясь в дрему. Виктор очнулся от дремы.

— Где мы? — спросил он ямщика.

— Подъезжаем к Урику, — ответил

Беглецы подъезжали к местам, которые также стали историческими. Здесь в деревне Урик жили декабристы Волконский, братья Никита и Александр Муравьевы, Панов и Вольф, а в деревушке Усть-Куда, лежавшей в стороне от тракта, где Куда впадала в Ангара (в семи верстах от Урика), жили декабристы братья Поджио и Муханов. Все здесь — и эти цепи гор со столетними лиственницами и соснами, и дремучие дали, и тихое журчанье воды в ивовых зарослях Куды, и тишина, среди которой раздавалось тоскливое кукование кукушки, и сам воздух, наполненный дыханием весны, — все это, что видели и слышали жившие здесь в ссылке замечательные русские люди, приобретало какое-то особое, значительное содержание, наполняло душу восторгом.

Ямщик свернул с тракта на проселочную дорогу, которая вела в Усть-Куду, переехал вброд речку. Виктор Заречный попросил ямщика остановить лошадей.

— Много ли осталось до Иркутска? — спросил он ямщика, вылезая из тарантаса.

— Верст двадцать пять.

— Ты слышишь, Женя?

— Слышу.

— Ну, спасибо вам, товарищ Иннокентий, — сказал Виктор, расплачиваясь с ямщиком. — Большое вам спасибо.

— Я бы подвез еще? К самому городу?

— Мы дойдем, — ответила Женя. — Теперь уже немного осталось.

Она привела в порядок волосы, накинула на голову платок. Виктор взял рюкзаки и помог Жене выйти из тарантаса. Она подошла к козлам и протянула руку ямщику:

— Спасибо, товарищ Иннокентий.

Иннокентий осторожно, словно боясь сломать Женины пальцы, взял ее за руку.

— Не на чем. Счастливо вам!

Ямщик повернул коней и шагом, чтобы кони остыли, поехал к Куде. Слышно было, как лошади вошли в воду и под колесами тарантаса захрустели мелкие камни.

Виктор Заречный и Женя вышли к Ангаре. Из-за гористого берега взошло солнце. На противоположном берегу стояли три огромные, освещенные солнцем березы. Они рассмотрели в реку, и бело-розовые стволы их с зеленой

лиственной дрожали и ломались в голубой быстрой воде. Вдали, где у левого берега стоял остров, поросший березняком, Ангара горела, точно в ней солнце растворило свои пылающие лучи.

— Ну, пойдем, — сказал Виктор.

— Пойдем.

И они опять пошли. Навстречу им взволнованно текла широкая река. Она шумела, и в шуме этом Виктору снова почудился шум родного синего океана.

МОЛОДАЯ ПОРОСЛЬ

Осенью 1915 года Костя Суханов вместе с женой своей Александрой Солис, учившейся на курсах Лесгафта, стал собираться в Петроград. Мать его жены, Магдалина Леопольдовна, моложавая, с целым стогом густых темных волос на голове, полная, красивая женщина, на этот раз была особенно обеспокоена отъездом дочери.

— Ты, Шура, оставь Марка мне, — говорила она с сильно выраженным польским акцентом.

— Что ты, мама? — Дочь удивленно посмотрела через стекла пенсне, сидевшего на ее вздернутом носике, на мать. Синие глаза ее вдруг потемнели. — Да ни за что на свете я не оставляю Марка! — Она упрямо тряхнула головой. У нее были светлые волосы, разделенные пробором с левой стороны и скрепленные сзади гребенкой.

Разговор этот происходил в квартире Александра Федоровича Солиса, корабельного смотрителя, во втором этаже корабельной конторы, расположенной у причалов бухты Золотой Рог.

Марк, о котором шла речь, лежал в плетеной коляске и спал. Ему было три месяца.

— Ну как ты его повезешь? — взволнованно, но стараясь говорить как можно тише, возражала Магдалина Леопольдовна. — Сумасшествие! Тринадцать дней в вагоне! К тому же у тебя нет молока. Как ты будешь кормить его в дороге? Как, я тебя спрашиваю?

В комнату вошел Александр Федорович. Это был тоже красивый, довольный жизнью человек, обожавший свою жену и вообще женщин.

— Послушай, папусь, — обратилась к нему Магда-

лина Леопольдовна, — я хочу оставить Марка здесь, а Шура и слышать не хочет.

— Ты так кричишь, мамусь, что разбудишь Марка, — сказал Александр Федорович.

Ребенок и в самом деле проснулся и кряхтел в коляске.

— Вот мы сейчас спросим его, — подходя к коляске, сказал Александр Федорович, — хочет он в Петроград или не хочет. — Александр Федорович наклонился над первым своим внуком и чмокнул губами. — Хочешь в Петроград? Ты, Марк Константинович, хочешь?

Ребенок долго, казалось с недоумением, смотрел на своего деда, точно не узнавал, потом будто узнал, улыбнулся и повел головкой сначала в одну сторону, затем в другую.

К коляске подошла Магдалина Леопольдовна. Она улыбнулась и кивнула головой внуку.

— Никуда он не поедет. Никуда! Я не отдам его на погибель... Милый!.. Не отдам!

Молодая мать печально смотрела на сына. Сердце ее сжималось от мысли, что он не будет с нею.

— Ни за что! И слышать не хочу! — твердо сказала она, когда отец устремил на нее свои веселые карие глаза.

— Пусть сама решает. — Александр Федорович перевел свой взгляд на жену. — Ты куда собралась, мамусь? — Он оглядел жену с ног до головы и остался доволен ее нарядным видом.

— Ты уже забыл? Мы же приглашены сегодня на пулюку к Федоровым.

— Ах да, я и забыл.

— Одевайся, и поедем.

Александр Федорович пошел в спальню одеваться.

— Ты, Шура, не огорчайся, — мягко сказала Магдалина Леопольдовна. — Ничего не поделаешь. Раз молока нет, нельзя брать ребенка с собой. Должна понять. Ничего. Зато весной приедешь, а он ходить будет, — глаза ее счастливо улыбнулись. — Как будет приятно!

Аргумент матери был убедителен, но дочь упорствовала и про себя решила посоветоваться с мужем.

Родители уехали на пулюку. Пришел Костя.

— Что же делать? — Александра Леопольдовна с отчаяньем в глазах посмотрела на мужа.

— Придется, пожалуй, действительно оставить. В самом деле, как мы повезем его? — Подумав, Костя сказал: — Есть, впрочем, другой выход: остаться тебе здесь.

— Прервать учение?

— Надо выбирать одно из двух. Но я думаю, что следует выбрать первое. Марк будет в надежных руках... Кроме того, Шура, если ты возьмешь Марка, учению все равно будет конец. Как же ты будешь посещать лекции? Мы об этом не подумали. Ведь это второй, не менее убедительный аргумент в пользу того, чтобы оставить Марка здесь.

После долгих размышлений они решили оставить сына у бабушки.

— Только я прошу тебя, мама, береги Марка, — сказала Александра.

— Будь покойна, — ответила мать.

Зимой в Петроград от Магдалины Леопольдовны пришла весть о смерти Марка. Смерть первого ребенка была страшным ударом для молодых супругов. Александра Александровна считала себя виновницей его гибели и с нетерпением ждала весны, чтобы поехать на могилу сына, выплакать там свое горе...

Костя Суханов был той молодой порослью, которая пробивалась на месте поваленных старых дубов — первого поколения приморских большевиков, казненных или сидевших в каторжных тюрьмах после разгрома владивостокской социал-демократической организации в 1907—1908 годах.

Его отца, хромого, опиравшегося на палку «старика» Александра Васильевича Суханова, знал весь город. Это был крупный чиновник Приморского областного правления, старший советник, правая рука и заместитель вице-губернатора. Бывало, он замещал и военного губернатора, когда тот уезжал из города по делам службы. Многие из жителей города приходили к нему с прошениями и ходатайствами. Он всех принимал. И хотя был хмур, суров и даже грубоват, но справедлив, на редкость неподкупный чиновник. Никто не мог сказать о нем что-

либо плохое. Сын священника-бурята Сухана, Александр Васильевич имел духовное (семинарское), да и то незаконченное образование и до статского советника дослужился благодаря своему административному таланту и отличному знанию края. Он получал хорошее жалование, имел два деревянных домика на Нагорной улице. Домики эти он, впрочем, построил на деньги, полученные в бытность его начальником Южно-Уссурийской округи в награду за открытие преступника, совершившего подкуп под владивостокское казначейство и похитившего триста пятьдесят тысяч рублей. И украденные деньги Александр Васильевич Суханов, будучи следователем по этому чрезвычайному делу, нашел все до копейки. Вот и последовало царское повеление выдать ему награду — девятнадцать тысяч рублей.

Не один десяток лет, трудясь по благоустройству Приморского края, восходил Александр Васильевич по служебной лестнице. Не сразу грудь его украсилась Аннами, Владимирами и Станиславами разных степеней.

Жену свою, Анну Васильевну, он взял молоденькой девушкой из читинского детского приюта, где она воспитывалась как сирота. Теперь это была уже пожилая, пятидесяти трех лет, женщина, очень болезненная, тяжело переживавшая бурный и властный характер мужа: он не терпел ничьих возражений; если что не по нему, разойдется так, что хоть беги из дому. И хотя он любил свою жену, давшую ему семерых детей, тем не менее тяжелый характер его наложил на весь облик Анны Васильевны печать покорности. В тихих серых глазах ее притаилась грусть. Она любила посидеть одна у окна в столовой и попеть что-нибудь грустное, вспомнить время, когда она «еще молоденькой была». Из четырех дочерей и трех сыновей больше всех она любила младшего сына — Костю. Да и суровому сердцу старика едва ли не больше всех был мил Константин.

Как же случилось, что Костя, выросший в семье видного царского чиновника, монархиста, стал революционером? Воспитание в доме отнюдь не способствовало зарождению в его голове революционных идей. Напротив, он видел, что отец почитал царя, к тому же старик Суханов был человеком религиозным, недаром же он занимал почетную должность церковного старосты в домо-

дававший за столом никому слова сказать. Александр Васильевич любил после вечернего чая разложить пасьянс или рассказать что-нибудь из жизни Приморского края: о заселении края, о том, как он разыскивал грабителя, похитившего деньги в государственном казначействе, о приезде в Приморье царя Николая Второго, когда он был еще наследником престола, и так далее. Костя слушал отца с напряженным вниманием и тут же задавал бесконечные вопросы, уясняющие какую-нибудь деталь рассказа. Он сбивал Александра Васильевича, тот терял нить рассказа и в конце концов кричал:

— Котька, замолчи!

Костя умолкал на две-три минуты, но потом опять вопросы сыпались, как горох из решета. Окончательно потеряв терпение, Александр Васильевич доставал из большого кожаного портмоне двугривенный и давал Косте:

— На, возьми и, ради бога, помолчи хоть пять минут.

Костя брал серебряную монету, клал ее в карман, слушал отца молча действительно минут пять, но потом забывал о полученном двугривенном и опять начинал говорить, говорить, говорить...

Из устоев самодержавия первым в мировосприятии Кости пал бог. Как у многих подростков, религиозность его пропала под влиянием причины, которая на первый взгляд, казалось, и не могла быть причиной.

На пасху и на рождество, да и в некоторые другие особо торжественные церковные праздники в дом к Сухановым приезжал с визитом сам архiereй Евсевий. Не во всякий дом ездил этот маленький человечек с большой русой бородой, беспрестанно моргавшими глазами, женственными ручками, в высоком черном клобуке, с епископским посохом. Когда карета Евсевия подкатывала к дому Сухановых, Александр Васильевич выходил к парадной двери, получал благословение и целовал руку владыке. И вся семья прикладывалась к мягкой пухлой ручке архiereя. Епископа усаживали на почетное место, и начиналось угощение: рюмочка за рюмочкой — то под балычок камчатский, то под белужий бок, то под икорку севрюжью, то под осетринку отварную, то под расстегаю, а то просто под килечку (боже сохрани, подо что-нибудь скромное!). А четырна-

дцатилетний Костя сидел за столом и смотрел, как владыка и сопровождавший его протодьякон соловели от выпитого и съеденного.

«Вот они, пастыри, какие! — думал Костя и вспоминал ко всему этому ходившую по городу сплетню об архиерее и жене командира порта мадам Ломан. — Хороши отцы духовные!»

Однажды — это было на первый день рождества — священнослужители, а с ними и Александр Васильевич нагрузились так, что, провожая владыку, Александр Васильевич снял с вешалки в передней ротонду жены своей, думая, что это шуба епископа, а Евсений надел ротонду, думая, что это именно и есть его соболья шуба. Архиерей уже пошел в ротонде к выходу на улицу, да Анна Васильевна подоспела — вышла в это время из столовой и ахнула... Костя стоял в стороне, и глаза его озорно смеялись. С тех пор ни суровое приказание отца, ни мольбы матери — ничто не могло заставить Костю подойти под благословение владыки. И, как дым, развеялась его религиозность.

С детских лет у Кости была большая любовь к природе и страсть к путешествиям по родным местам, привитые ему старшим братом Григорием, который сам был страстно влюблен в природу Уссурийского края. Верхом на лошадях или пешком они совершали тридцати- и сорокаверстные походы по побережью Амурского залива и по другим местам родного края. Неописуемой красоты панорама залива приводила Костю в восторг. Походы с братом, к которому Костя был привязан, любил его, и который хорошо знал свой край, не одни только восторги вызывали в нем, — они обогащали Костю знаниями природы края.

Любовь к природе у Кости выражалась также в заботе о зеленых насаждениях вокруг дома на Нагорной улице. Перед домом Сухановых росли тополи, посаженные Костей вместе с Григорием. Костя любовно выращивал их. Все посадки деревьев во дворе также находились под его наблюдением. Клумбы с цветами во дворе, огородные грядки возле колодца — это все создавали его маленькие трудолюбивые руки. Анна Васильевна, выдерживая из грядок редис или зеленый лучок, не раз говорила: «Ну что за Костя, какой же он у нас хозяйственный!»

Замечательной чертой в характере Кости была также его любовь к людям. Подружившись, он долго хранил свою дружбу. Окружающих поражала его привязанность к повару-китайцу Василию, жившему у Сухановых более пятнадцати лет, и к бою Ли Мень-шу, или просто Ли, как его звали в семье. Костя хорошо объяснялся по-китайски и обучил своих друзей Василия и Ли русской грамоте. Может быть, именно Василий и Ли и заронили в сердце Кости любовь к китайцам, населявшим целые кварталы в городе.

Трудолюбие Кости сказывалось и в его успешных занятиях в гимназии. Пятерки и четверки были обычными отметками в его дневнике.

Какие же события из жизни русского народа вызвали в Косте те благородные чувства, которые неизбежно должны были родиться у юноши, с детства отличавшегося чуткой душой, добрым характером, пытливым умом?

История русского революционного движения знает много примеров, когда на каторгу и на виселицу ради освобождения родины шли юноши и девушки, происшедшие из богатых, аристократических семей. У каждого из них был свой путь, полный страданий. У Кости Суханова был свой трагический путь, своя Голгофа.

Расстрел демонстрации во Владивостоке в январе 1906 года привел в страшное смятение двенадцатилетнего Костю. Гибель гимназиста седьмого класса Володи Зеренсдорфа, часто бывавшего в семье Сухановых (он дружил с одной из гимназисток Сухановых — Олей), потрясла Костю. На демонстрацию Володя пошел прямо из дома Сухановых, шел впереди демонстрации и умер на мостовой рядом с узницей Шлиссельбурга Людмилой Волкештейн, рядом с рабочими и матросами. Событие это было решающим в судьбе Кости. В его сознании Володя стал героем, умершим за свободу.

Попав в Петербург, где сам воздух заражал революционными идеями, Костя примкнул к левой, революционной части расколовшегося владивостокского землячества, став председателем землячества Уссурийского края. Не проявлявший себя особенно ничем в гимназии, он поражал товарищей закипевшей в нем революционной страстью. Костя был подобен горному ручью, выбившемуся вдруг неожиданно из-под земли. В коммуне студентов-владивостокцев на Большой Ружейной улице,

где не было недостатка в веселье, особенно жизнерадостно звучал его голос. Здесь-то в 1914 году он и женился на курсистке Александре Солис, сильно огорчив родителей своих и самым фактом женитьбы и выбором жены (дочь всего-навсего корабельного смотрителя). Александр Васильевич первое время и слышать не хотел об этом, да жена его, Анна Васильевна, уговорила смириться. Женское сердце в таких делах всегда мягче.

Через полгода после поступления в университет Костя Суханов был арестован за участие в студенческой сходке. Тюремная камера стала его революционной школой. Из нее он вышел уже как человек, приобщившийся к великой армии борцов за освобождение родины. В апрельские дни 1912 года, через несколько дней после освобождения из тюрьмы, у Казанского собора на Невском проспекте в толпе студентов, посылавших проклятия убийцам ленских рабочих, раздавался и голос Кости.

Так же как и Виктор Заречный в свое время, познакомившись с произведениями Ленина, Костя почувствовал в его идеях великую правду жизни. Ленин для него был, говоря словами Виктора Заречного, подлинным обладателем истины, пленявшим силой и простотой своей мысли.

Весной 1916 года, недели за три до отъезда Кости из Петрограда на каникулы во Владивосток, в его квартире на Большой Разночинной улице часов в девять вечера прозвенел три раза звонок. Костя пошел открыть дверь. Жены дома не было.

У порога стоял бритый человек с приятным лицом, живыми карими глазами, красивым прямым носом. Он был в пиджаке, белом крахмальном воротничке, в шляпе.

— Марк? — тихо спросил он.

Это была партийная кличка Кости — он взял ее себе в память умершего сына.

— Войдите, — ответил Костя. — Вторая дверь налево.

Костя закрыл дверь и пошел вслед за человеком по коридору.

Войдя в комнату, человек снял шляпу. Открылся его большой, ясный лоб.

— Садитесь. — Костя указал на стул, стоявший перед

столом, у окна, выходявшего на улицу. Сам он сел напротив, у другого окна.

Человек несколько секунд внимательно всматривался в Костю, потом, будто приняв какое-то решение, тихо спросил:

— Можно говорить?

— Пожалуйста.

— Стены?

— Ничего не слышно. Стены капитальные.

Человек улыбнулся так непринужденно, что сразу расположил к себе Костю.

— Я к вам... по поручению Петроградского комитета. — Гость говорил тихо, зная, что и у стен есть уши.

— Слушаю вас. — Костя приготовился выслушать, должно быть, что-то весьма важное.

— Вы уезжаете во Владивосток?

— Да.

— Когда?

— Недели через три.

— Через три недели? А мне говорили, что вы будто бы на днях уезжаете.

— Нет. Я еще должен сдать два зачета.

— Видите ли, мне поручено передать вам привашем отъезде кое-какую литературу.

— О, это очень хорошо! — оживился Костя. — А то ведь в Приморье нет никакой литературы. Что у вас есть?

— Циммервальдский манифест, прокламации Петроградского комитета и еще кое-что. К сожалению, у меня нет материалов по второй Циммервальдской конференции, которая происходила в Кинтале в середине прошлого месяца. Война затрудняет связь с заграницей. Вы слышали что-нибудь о Кинтале?

— Всего два дня тому назад на массовке я слушал доклад о Кинтальской конференции.

— Ага! Значит, вы в курсе дела? Знаете, что и эта конференция не сказала того, что мы от нее ожидали, хотя левое крыло на ней и было значительнее, чем в Циммервальде?

— По словам докладчика, большевикам не удалось провести своей линии, — заметил Костя.

— Да. Главная идея Ленина — превращение войны

империалистической в войну гражданскую — не нашла отражения в Кинтальском манифесте.

— По-видимому, в этом отношении манифест ЦК против войны остается основным материалом?

— Не только манифест ЦК, — возразил гость. — А резолюции Бернской конференции? Они полнее и точнее излагают большевистскую тактику¹. — Гость встал и прошелся по комнате; видимо, он не любил долго сидеть. — Кроме того, вам необходимо также прочесть последний полученный нами номер «Социал-Демократа» со статьей «О «программе мира». Не читали?

— Нет, не читал.

— Статья эта была опубликована накануне второй Циммервальдской конференции. Она как бы излагает позицию большевиков. В ней как раз говорится, что одним из важнейших вопросов, поставленных в порядок дня второй международной социалистической конференции, является вопрос о социал-демократической «программе мира». Но, к сожалению, вопрос этот не получил на конференции полного решения.

— Статья передовая? — спросил Костя.

— Да, передовая. Судя по содержанию, характеру, языку, ее писал Ленин².

— Не можете дать мне прочесть?

— Не только прочесть. Можете переписать статью. Она очень важная. Для вас, как пропагандиста, статья эта просто необходима. Вообще вам надо бы просмотреть все имеющиеся у нас номера «Социал-Демократа», проглядеть руководящие статьи. В них ведь изложена вся теория и тактика нашей партии по вопросам войны.

— Какую же колоссальную борьбу против войны ведет Центральный Комитет! — заметил Костя.

— И не только против войны. — Гость походил и сел к столу. — Центральному Комитету приходится вести борьбу на два фронта: против войны и против бесчисленного множества социал-шовинистов, поддерживающих

¹ Имеются в виду резолюции конференции заграничных секций РСДРП, состоявшейся 27 февраля — 4 марта (нового стиля) 1915 года в Берне (Швейцария). Написанная Лениным статья под заголовком «Конференция заграничных секций РСДРП» была опубликована в № 40 «Социал-Демократа» 29 марта 1915 года.

² Статья действительно принадлежала В. И. Ленину и была опубликована в № 52 «Социал-Демократа» 25 марта 1916 года.

войну. И заметьте: «Социал-Демократ» взял на острие своего пера социал-шовинистов всех стран. Ленин ведет жесточайшую войну с такими столпами Второго Интернационала, как Каутский!

Костя Суханов хотя и был уже вполне сложившимся революционным марксистом, но был он новичком в партии, к тому же ему было всего двадцать два года, поэтому он по-юношески горячо переживал раскол в интернациональном революционном движении. Он высказал гостю свое сожаление.

— Это, конечно, затрудняет борьбу против войны, — согласился гость. — Но, с другой стороны, до конца раскрывает буржуазную сущность оппортунизма... В статье «О «программе мира», — продолжал гость, — между прочим, говорится и о работе нашего Петроградского комитета. ЦК хорошо осведомлен о работе в России. И во всем, знаете, чувствуется направляющая рука Ленина. Он становится вождем мирового масштаба. Особенно это показал Циммервальд.

Гость говорил о Ленине, о его роли в революционном движении с такой проникновенностью, что Костя как бы ощутил присутствие его, будто в комнату вошел человек, который, кажется, уже без остатка завладел мыслями Кости, идеи которого стали как бы собственными идеями Суханова.

Гость поднялся со стула.

— Итак, недели через две я зайду к вам.

— Вы торопитесь? — Костя тоже встал. — Может быть, выпьете стакан чаю?

— Стакан чаю? Пожалуй, выпью.

Костя вышел из комнаты.

Гость огляделся вокруг.

«Что-то мне кажется знакомой фамилия Суханов», — подумал он.

В это время вернулся Костя. У них возобновился разговор на тему о кризисе социализма, о крахе Второго Интернационала, о значении большевистской пропаганды.

Раздался стук в дверь. Костя поднялся, открыл дверь. Квартирная хозяйка внесла самовар, поставила его на стол, кинула косой взгляд на гостя и удалилась.

Костя налил два стакана чаю, поставил на стол сахарницу, хлеб, кетовую икру в масленке.

— Пейте, пожалуйста. Ешьте икру.

Гость взял с тарелки кусок белого хлеба и намазал его кетовой икрой. Икра была свежая, лежала яркой зернистой массой.

— Под пиво хорошо, — заметил гость, улыбнувшись.

— Я могу сходить.

— Ну что вы! Я это так... Икра напомнила мне мой арест во Владивостоке.

— Во Владивостоке? Вы были там?

— Несколько лет прожил.

— Неужели?

— Последний раз я ел кетовую икру в саду пивоваренного завода на Первой Речке. Знаете? Бывали там?

— Ну как же, конечно, бывал. Во Владивостоке я вырос.

— Вот как!

— Да. Я там и гимназию окончил.

— В каком году?

— В тысяча девятьсот одиннадцатом.

— В одиннадцатом?

— Да.

Гость подумал.

— А Виктора Заречного вы не знали?

— Как же! Конечно, знаю.

— Знаете? — Глаза у гостя засияли радостью. — Мы с ним большие друзья. Нас вместе и арестовали.

— Постойте. — Костя что-то вспоминал. — А вы Василий Рудакова не знали? — спросил он, пристально всматриваясь в гостя.

— Так это я и есть. Под этой фамилией я жил во Владивостоке.

Костя вскочил со стула в сильном возбуждении:

— Да не может быть!

— Ну, конечно.

— Черт возьми, вот это встреча! У меня был разговор с Виктором Заречным о вас. Он хотел познакомить меня с вами, чтобы вместе начать работать, но исчез. Я ждал его, ждал, недоумевал, а потом узнал, что он арестован и выслан в Балаганский уезд, Иркутской губернии.

— В Балаганский уезд?

— Да, да. Точное место его ссылки можно узнать у его матери.

— У Серафимы Петровны?

— Вы ее знали?

— Серафиму-то Петровну? Как же!

— Я с ней не знаком, но по приезде во Владивосток разыщу и сообщу вам адрес Виктора Заречного. Кроме того, в Иркутске в ссылке у меня знакомый есть, тоже наш, владивостокский. Может быть, вы и его знаете — Федя Угрюмов?

— Федя Угрюмов?! — радостно воскликнул Василий Рудаков. — Как это все распуталось! Вот это да! — Он порывисто встал со стула и быстро зашагал из угла в угол. — Виктор в Балаганском уезде, — раздумывал он вслух. — Нашелся! Серафима Петровна во всяком случае знает, где он... Только, я думаю, он уже в другом месте. Не будет Виктор сидеть в каком-то там Балаганском уезде. Он, конечно, убежал из ссылки. Сейчас где-нибудь в Приморье... Если встретитесь, передайте ему мой горячий привет. Пусть напишет. Запомните адрес.

Василий Рудаков несколько раз повторил свой адрес, замолчал и мыслями своими унесся к берегам Тихого океана, где он оставил частицу своего сердца.

— Я непременно побываю во Владивостоке, — сказал он. — Эх, хорош город! До чего же это хороший город! — В его голосе слышались одновременно и любовь к городу, ставшему ему родным, и какая-то грусть, — наверное, Василий Рудаков грустил и о самом городе и о друзьях, которые были сейчас в ссылке и на каторге в далекой Сибири.

— Как же вы очутились в Петрограде? — спросил Костя Суханов.

— А вот как.

И Василий Рудаков рассказал о том, как он очутился в Петрограде.

ИСТОРИЯ ВАСИЛИЯ РУДАКОВА

В Харбине, куда Василий Рудаков приехал из Японии, он раздобыл настоящий паспорт на имя Петра Николаевича Перлова, мещанина города Ростова-на-Дону. Мещанин этот умер в Харбине, был того же возраста, что и Василий, так что паспорт был отличный.

После того как человек в штатском, в высоком крахмальном воротничке и с черными закрученными вверх усами, отправил Виктора Заречного в тюрьму, в кабинет начальника охранного отделения ввели Василия Рудакова.

Полковник посмотрел на него через темные стекла пенсне:

— Ваш паспорт!

Василий неторопливо достал из внутреннего кармана пиджака паспортную книжку.

Полковник взял в руки паспорт и стал внимательно рассматривать печать и штампы с пропиской.

— Может быть, вы разрешите мне сесть? — язвительно спросил Василий.

— Садитесь! — пробурчал полковник, не поднимая головы.

Василий сел в одно из двух глубоких, обитых черной кожей кресел, стоявших по обе стороны письменного стола.

«Как жаль, — думал Василий, — что у полковника не видно глаз».

Глаза, говорят, — зеркало души. Если человек лжет, глаза выдают его. Если человек не верит, недоверие прячется в его глазах. Если человека охватывает злоба, то злобные огоньки хорошо видны в глазах. Веселость, грусть, — все это отражается прежде всего в глазах человека.

Василий подумал: одно из двух — или совесть у полковника нечиста, или он надевает темное пенсне для того, чтобы скрыть от допрашиваемого движения своей души. Никогда Василию не приходилось быть в таком положении: сидеть против человека, с которым он разговаривал, и не видеть его глаз.

— Чем вы занимаетесь? — спросил полковник, подняв голову и устремив на Василия темные стекла пенсне.

— Я наборщик, — ответил Василий, глядя на кончик носа полковника.

— Наборщик? — недоуменно спросил полковник. — Типографский наборщик?

В его голосе Василий услышал нотку искреннего недоумения.

Голос — это второй инструмент, через посредство которого передается состояние души человека. Теперь

Василий стал внимательно вслушиваться в интонацию голоса полковника.

— Что вы так удивляетесь? — спросил он.

— Ничего... Вид у вас не рабочего.

Это было сказано голосом, в котором ясно слышалось недоверие.

— Какое отношение вы имеете к Виктору Заречному?

— К какому Виктору Заречному?

— К тому самому, с которым вы сегодня были в саду пивоваренного завода.

— В саду пивоваренного завода я был с секретарем нашей редакции Сергеем Петровичем Красавиным.

— Вы были не с Красавиным, а с Заречным. — Полковник сказал таким твердым, не терпящим возражения тоном, что Василий понял, что была раскрыта подлинная фамилия Виктора.

— Мне странно слышать, господин полковник, — сказал Василий, — когда вы нашего секретаря называете Заречным.

— Меня интересует вот что, — сказал полковник опять твердым тоном, — лжете вы или не знаете настоящей фамилии секретаря редакции «Далёкой окраины»? Не думайте, что правдивым ответом вы выдадите его. Он сознался, что не Красавин, а Заречный.

— Если он сознался, — заметил Василий, — то к чему весь наш разговор о нем? Я прошу вас навести справку обо мне в типографии и отпустить меня.

Полковник откинулся на высокую спинку дубового стула и выпрямил грудь с двумя рядами белых пуговиц. Все тем же твердым тоном он сказал:

— Мы должны справиться о вас в другом месте, поэтому вам придется немного побыть у нас.

— Вы можете справляться, не задерживая меня, — взволнованно сказал Василий.

— Это было бы наивно с нашей стороны.

Полковник нажал лежавшую на письменном столе черную с белым ободком кнопку электрического звонка, и в кабинет вошел тот же человек в штатском костюме, которому он час тому назад отдал распоряжение об отправке в тюрьму Виктора Заречного. Это был заведующий наружным наблюдением.

— В тюрьму! — Полковник произнес эту короткую фразу подчеркнуто торжественным тоном.

Василий вскочил со стула:

— Я заявляю категорический протест!

— В тюрьму! — спокойно и так же торжественно повторил полковник.

Человек в штатском жестом руки пригласил Василия к двери. Василий быстро вышел из кабинета.

В то время как дверь в одиночной камере, куда был посажен Виктор Заречный, закрылась и надзиратель повернул ключ, Василий Рудаков в сопровождении двух жандармов выходил из охранного отделения. Их поджидал извозчик.

Полковник, оставшись один в кабинете, снял пенсне, положил его на стол. У него были мутные, неопределенного цвета глаза. Он долго смотрел на окно прямо против стола. Затем вынул из кармана белый носовой платок, осторожно поправил им подстриженные с кончиков и нафабранные усы и нажал кнопку электрического звонка.

Вошел человек в штатском. Полковник передал ему паспорт Василия Рудакова и сказал:

— Наведите справку в Ростове-на-Дону: действительно ли этот Перлов — ростовский мещанин и был ли выдан ему этот паспорт.

Ничего не ответив, человек в штатском направился к двери.

— Да! — вспомнил полковник. — Позовите Цирпицкого.

Минут через пять в кабинет вошел Цирпицкий — в армейской фуражке с офицерской кокардой, на плечах — золотые с одним просветом и одной звездочкой погоны. Он был вечным прапорщиком. По внешнему виду типичный пехотный офицер. Отличительный признак — нагайка на правой руке.

Цирпицкий, не снимая фуражки, уселся в кресло, где только что сидел Василий, достал портсигар, закурил.

— Есть у нас о Перлове что-нибудь? — спросил полковник.

— Нет, ничего нет.

— Вы не знаете его?

— Видел я его где-то, но не могу припомнить.

— Вот и мне кажется, что я видел его где-то. А в каких отношениях он с Заречным?

— Понятия не имею. Ведь я случайно встретил их обоих там, в саду пивоваренного завода. Узнал Заречного, а Перлова... понятия не имею.

Лицо у Цирпицкого серое, как осеннее утро, когда небо затянуто грязными тучами. Взгляд тяжелый, как у человека, профессия которого — убивать людей. Это он собственной рукой, той самой, на которой сейчас болталась нагайка, убивал из нагана матросов, когда они, чтобы спастись, прыгали с выбросившегося на берег миноносца «Скорый»; матросы падали в воду у берега, и вода окрашивалась кровью.

Цирпицкий равнодушно смотрел на полковника. Потом взгляд его приковался к стене. По светлым, но уже довольно грязным обоям полз клоп. Цирпицкий поднялся с кресла, подошел к стене и придавил клопа нагайкой. Полковник следил за тем, что делал Цирпицкий. Цирпицкий снова опустился в кресло и стал смотреть на раздавленного клопа. Труп клопика повисел и упал. Осталось маленькое пятнышко крови, и от этого показалось, будто в кабинете запахло клопами.

— Плохо у нас поставлена слежка, — сказал Цирпицкий. — Агентов мало.

— Министерство внутренних дел полагает, что кралоу можно искоренять без средств.

— Деньги нужны на войну.

— Да, война, война! — сказал полковник и покачал головой.

Они долго молчали, углубившись в свои мысли.

— Поверьте мне, — заговорил Цирпицкий. Он положил окурок в пепельницу и достал из портсигара папиросу. — Поверьте мне, война кончится революцией.

Война завладела их мыслями.

— А Япония в мутной воде рыбу ловит, — зло сказал Цирпицкий. — Все, чем владела Германия на Дальнем Востоке, под шумок захватывает Япония. Циндао захватила! Маршалские острова в Тихом океане захватила! Марианские, Каролинские острова захватила! Китаю «двадцать одно требование» предъявила! Господствовать над Шаньдуном, Южной Маньчжурией, Внутренней Монголией и Фуцзянью будет! Полицию свою в важнейших центрах Китая организует! Я скажу вам, Михаил Максимович, японцы с нетерпением ждут, когда дела у нас пошатнутся. Поверьте мне! Они уже рази-

нули свою акулю пасть, чтобы проглотить русский Дальний Восток... Если мы проиграем войну, все Приморье японцы захватят. Поверьте мне!

— Да! — промычал невесело полковник. — Вот мы с вами поймали Заречного и рады. А что такое Заречный по сравнению, скажем, с Мясоедовым или с военным министром Сухомлиновым? Мясоедов, офицер русской армии, стал предателем и шпионом. Сухомлинов, военный министр... страшно подумать!..

— Заречных надо истреблять, — перебил его Цирпицкий, — иначе война кончится революцией. Поверьте мне!.. Что вы хотите с ним сделать?

— Судить его нельзя, — ответил полковник. — Суд оправдает: нет достаточных улик. Солдат этот, который был арестован в Туле, умер. В его показаниях говорится, что паспортом и деньгами снабдил его «студент по фамилии, кажется, Заречный». Понимаете: «кажется». К этому «кажется» привяжется адвокат, и дело будет провалено, тем более что Заречный не студент. А все донесения агентов о его подозрительном поведении — это все «вокруг да около». Ведь у нас нет ни одного умного агента, за исключением зубного врача Залевского.

— Ну, и что же вы хотите с ним сделать?

— Выслать в административном порядке.

— Куда?

— В Туруханский край.

— А Перлова?

— О нем надо навести справку в Ростове-на-Дону.

— Я думаю, что Перлов поважнее птица.

— Почему вы думаете?

— Нюх у меня...

И полковник и Цирпицкий забыли о войне, о горе, которое она несла России, о той бездне, куда ташили страну коронованные предатели, и с увлечением заговорили о деле, которому были преданы, как собаки.

— Заречный, конечно, социал-демократ, большевик. Поверьте мне! — говорил Цирпицкий. — Но умный, бестия. О нем у нас много было сводок. Ротмистр Петров все медлил с арестом, все расставлял сети. Все думал поймать его на каком-нибудь большом деле. Пробовал так же вот, как вы, сделать из него агента. После восстания семнадцатого октября Заречный исчез из го-

рода. Где он был, установить не удалось. Через полгода вдруг снова появился в городе. А у нас было известно, что он в Красном Кресте большую роль играл. Подумайте: мальчишка, а вел, по словам агентов, самую ответственную работу в Красном Кресте! И тут как раз дело минера поступило. Я нагрянул к нему с обыском, так хоть бы листок какой паршивый!.. Ничего! Ротмистр Петров опять не велел брать его. Наконец решили взять. Заречный работал в «Далекой окраине». Петров отправился в редакцию сам, а я на квартиру к Заречному. И что же? У Петрова из-под носа в окно выпрыгнул. А в квартире как в церкви: чисто! Умный и ловкий, бестия... Мы в дураках остались... Все-таки надо бы ему пришпандорить лет восемь каторги.

— За что?

— Не прыгай в окно!

— Ну, батенька, законом это не предусмотрено.

— Если у тебя совесть чиста, в окно не прыгнешь.

— Суду нужны улики. Нужен состав преступления.

Прыгать в окно — это не преступление.

— Я бы ему припаял лет восемь каторги, — сказал Цирпицкий.

— Вы вот, батенька, пророчите революцию, — продолжал полковник. — А если во время этой самой революции вы попадетесь в руки Заречному?..

Цирпицкий не дал полковнику досказать.

— Повесит.

— Я тоже думаю, что повесит.

— Нас обоих повесят, — сказал без всякой горечи Цирпицкий. — Столыпин чувствовал, что его убьют. И я чувствую, что меня убьют. Нас с вами обоих убьют. Дело у нас такое... Поверьте мне.

— Это верно, — согласился полковник.

— У вас, Михаил Максимович, сегодня меланхолия. Надо рассеяться. Пойдемте в «Золотой Рог», пообедаем, коньячку выпьем.

— Пойдемте.

И они пошли в ресторан, что на углу Светланской и Алеутской улиц.

Тем временем жандармы привезли Василия Рудакова в тюрьму и сдали тюремной администрации, взяв соответствующую расписку в сопроводительной книге.

Василия заключили в одиночную камеру на втором

этаже с решетчатым окном на ту же сторону, на которую глядело окно Виктора Заречного. В течение десяти дней, которые Виктор просидел в тюрьме, им не удалось по-видаться. Виктора в арестантском вагоне отправили в Иркутск, а Василия Рудакова оставили в тюрьме.

Расхаживая по камере — в тюрьме Василий ходил еще больше, чем обычно, делая не менее двадцати пяти верст в сутки, — он думал о новой книге, которую решил написать.

Если бы кто-нибудь вздумал, а Василий как раз об этом думал, собрать воедино все литературные — опубликованные и неопубликованные — материалы о российских тюрьмах, о кровавых и бескровных ужасах, которые творились в них в течение хотя бы последних ста лет, то есть начиная со времен декабристов, то Владивостокская тюрьма заняла бы в этом толстом фолианте не один десяток страниц. Много сотен борцов с самодержавием прошло через ее камеры. Много людей было казнено здесь, на тюремном дворе. Погибли тут и некоторые близкие Василию люди. Задушили тут маленького, хрупкого Гришу Доколе... А какие портреты начальников тюрьмы! Целая галерея палачей!

«Да, надо написать. Это будет потрясающая книга», — думал Василий и все ходил по камере.

И еще думал Василий о своей жене. Девять лет прошло с тех пор, как они расстались. Девять лет! По письмам он чувствовал, что она любит его по-прежнему и верна ему. Но кто-то сказал, что любовь не терпит добровольного отсутствия, а в романсе Глинки «Сомнение» поется: «Разлука уносит любовь». Правда, нельзя сказать, чтобы Василий отсутствовал добровольно. С другой стороны, он долгое время был на свободе, значит мог давным-давно выписать жену. Возмутительно, что он только думал об этом, да и то изредка. А ведь жизнь проходит, юность ушла, да и молодость прошла. Тридцать пять лет — какая же это молодость!.. Жене уже тридцать! И Василия вдруг охватило беспокойство. В самом деле, как же это он не думал о том, что молодые годы уходят, что жена его где-то там... живет без ласки... вянет, как не политый куст розы... ходит бесплодная... Василий ускорил шаг. Все быстрее и быстрее ходил по камере, будто мысли подгоняли его, будто он спешил куда-то. Он останавливался по-

среди камеры, закрывал глаза, стараясь вызвать в памяти образ жены. И она являлась перед ним, как живая, с запахом волос и тела, присущим только ей. И у Василия кружилась голова. На бритом лице его выступал пот. Он снова начинал бегать по камере.

«Как же это я... как же я не думал об этом...»

И ему пришла в голову мысль заявить, что он вовсе не Перлов, а Скворцов, бежавший из Красноярской ссылки. Сейчас же написать об этом начальнику охранного отделения. Пусть ссылают. А там ничто не удержит его от побега.

«Впрочем, могут судить, — раздумывал он. — Дать каторжные работы, а с каторги не так-то легко бежать».

И он ходил по камере от двери до окна и обратно.

Таких вот дней, похожих, как капля на каплю, было проведено Василием во Владивостокской тюрьме ровно шестьдесят. Шестьдесят дней, как один день, не отличимых друг от друга ни по каким признакам! И на шестьдесят первый день по распоряжению прокурора, которому Василий написал жалобу на незаконный арест и незаконное заключение, он был выпущен из тюрьмы. Делу помог, конечно, не прокурор, а то обстоятельство, что от мещанского старосты города Ростова-на-Дону охранное отделение получило сообщение, что Перлов Петр Николаевич есть действительно мещанин города Ростова-на-Дону, что паспорт, присланный ему, мещанскому старосте, для проверки, — подлинный паспорт, выданный им, старостой, и что ему, старосте, известно, что Перлов Петр Николаевич проживает в Маньчжурии, в городе Харбине.

Все это было настолько убедительно, что жандармский полковник переслал в канцелярию прокурора паспорт Василия при отношении, в котором сообщил, что с его стороны нет препятствий к освобождению мещанина города Ростова-на-Дону Петра Николаевича Перлова.

Тюремный надзиратель отпер дверь камеры Василия и сказал:

— Собирайте вещи... в канцелярию!

У Василия екнуло сердце.

«В ссылку», — подумал он.

Канцелярист с изношенным, изборожденным морщинами, худым от курения и пьянства лицом, тот самый,

который Виктору наводил справки о Жене Уваровой, вручил Василию паспорт и сказал:

— На все четыре стороны.

Василий не понял. Держал паспорт в руке и с недоумением смотрел на канцеляриста.

— Что смотрите? Идите домой.

Тут только Василий понял, что его освобождают.

— До свидания, — сказал он.

— Уж лучше: прощайте, — поправил его канцелярист.

— Да, да, конечно, прощайте, — спохватился Василий, — это я по привычке. Прощайте!

Василий вышел на кирпичное крыльцо во двор, на солнечный свет. Перед крыльцом, у тюремной стены, бегали, собирая брошенное кем-то зерно, жирные голуби. Василий улыбнулся и сошел со ступенек крыльца.

Теперь уже не было такой силы, которая могла бы задержать Василия во Владивостоке.

«В Питер! — думал он, шагая в город, мимо кладбища. — В Питер!»

Петроград был единственным местом на земном шаре, куда стремилась взволнованная душа Василия. Он весь был во власти желания поскорее увидеть жену. С ним произошла необыкновенная, непонятная даже для него самого метаморфоза. В тюрьме в нем вдруг пробудилась дремавшая где-то на дне души любовь к покинутой им жене. Любовь эта, оказывается, была так глубока, Василий, оказывается, так истосковался по ласкам жены, что чувство это со страшной силой завладело им, взяло в плен этого не знавшего ничего, кроме революционной борьбы, человека.

И давно уже он не смотрел так долго и с такой восторженностью на портрет своей жены, висевший у него в комнате над письменным столом. Она безмятежно глядела на Василия своими красивыми, с несколько косым разрезом, светлыми глазами. Гладкая прическа с пробором посередине подчеркивала ее целомудренность и даже какую-то отрешенность от жизни. Губы и те будто хотели раскрыться и безропотно, просто сказать: «Мне ничего не надо. . . Я уже ничего не жду от жизни».

Сердце у Василия сжалось от тоски. Он никогда не замечал такого выражения глаз, губ у жены. Раньше

этого не было. Разлука положила печать горечи на милое, бесконечно дорогое лицо. Он, он виноват в этом...

Василий получил в типографии причитавшиеся ему деньги, продал кое-какие вещи и за два дня собрался в дорогу.

В Петроград Василий Рудаков приехал в начале октября. Был слякотный день, моросил дождик. Первое, что увидел Василий, когда вышел из вокзала, — это памятник Александру Третьему. Олицетворяя Россию, могучий бронзовый конь, на котором грузно сидел император, стоял неподвижно, упершись ногами в красную глыбу гранита и свесив голову. И конь, и император, и гранитная глыба были мокры от дождя.

Александр Третий на коне и ненастная осенняя погода сразу же дали Василию почувствовать, что он в Питере, в этом неповторимом, построенном на болоте и на человеческих костях городе, где была сосредоточена вся власть над страной, над ста восемьюдесятью миллионами людей, подданных Российской империи. Справа, у начала Старого Невского, возле булочной вытянулась длинная очередь. Это было не видано и не слыхано для Питера. Старики и старухи, дети, кухарки в промокшей одежде жались к окнам булочной и угрюмо озирались по сторонам.

На Знаменской площади Василий сел в трамвай. В вагоне было много военных, в их глазах можно было прочесть выражение какой-то безнадежности.

Торцовая мостовая, политая дождем, блестела и была чиста, как паркетный пол. По обе стороны проспекта, и главным образом по правой его стороне, беспрерывным потоком торопливо шли озабоченные люди. И хотя война взяла миллионы молодых людей, в толпе то и дело мелькали форменные пальто студентов с наплечниками горняков, путейцев, технологов, политехников. Проносились кареты, извозчицьи экипажи на дутых шинах.

На Аничковом мосту по-прежнему стояли четыре обнаженные фигуры со вздыбленными бронзовыми конями. Вымытые дождем, они блестели, и казалось, их только что вынесли из музея и поставили здесь на показ жителям города.

У чугунных ворот Аничкова дворца, у полосатой

(черное с белым) будки, стоял часовой-гвардеец ростом в сажень. Дворец казался необитаемым.

«Все как было», — думал Василий.

Только одно заметил он: более хмурыми стали петербуржцы, и злобы в глазах у простых людей прибавилось, да еще вот очереди всюду у магазинов.

«Это хорошо, — думал он. — Чем злее, тем лучше».

У городской думы часы показывали двенадцать.

На остановке у Адмиралтейства в вагон вошел представительный мужчина с большой поседевшей бородой и длинными волосами под серой шляпой. Он был в демисезонном пальто. Вместе с ним вошел господин с гладко выбритыми щеками, с эспаньолкой и длинными на обе стороны усами; на нем был котелок и короткое черное пальто с бархатным воротником. Василий слышал, как мужчина с поседевшей бородой сказал: «Надо воевать до победы».

Пробежав по Конногвардейскому бульвару, вагон трамвая свернул к набережной и полетел к мосту. Вот и Васильевский остров.

Сердце стало сильно биться в груди у Василия. На Первой линии он сошел с трамвая, так как вагон шел на Петроградскую сторону. Свернув в боковую улицу, Василий скоро достиг Пятой линии.

На втором этаже трехэтажного кирпичного, похожего на фабричный корпус, нештукатуренного дома была квартира отца Василия — Федора Ивановича Скворцова, потомственного наборщика. В этом доме Василий, тогда Михаил, родился, здесь он вырос и здесь женился. Здесь и жила его жена Надежда Николаевна, потерявшая всякую надежду увидеть когда-нибудь мужа, сосланного за революционные дела в Сибирь, бежавшего из ссылки и живущего теперь где-то за десять тысяч верст, у самого Тихого океана.

Вот они, окна квартиры, три окна с занавесками. Сердце стучало так сильно, что трудно было дышать. Ход в квартиру со двора. Дома, конечно, только мать. Отец и жена на работе.

Вошел в арку. Земля во дворе мокрая и скользкая. Василий поднялся на второй этаж по узкой темноватой лестнице с железными перилами. У двери, обитой черной клеенкой, — ручка звонка. Василий дернул, за дверью задребезжал колокольчик.

— Кто там? — услышался старческий голос.

«Мать», — подумал Василий, и сердце его заныло от жалости.

— Открой, мама.

Железный крюк с грохотом сорвался с петли, дверь распахнулась, Василий бросился к матери.

— Миша! Мишенька! Родимый! — причитала старушка, прижимая сына к груди.

— Мама! Мамуся! — шептал Василий, страшным усилием воли сдерживая слезы, подкатывавшиеся к горлу. Он целовал мать в дряблые щеки, обнимал ее, высухшую от тоски по единственному сыну.

Она увлекла его из кухни в комнату.

— Сейчас Надя придет на обед, — сказала она, взглянув на будильник. — Сейчас она... бедная... Ведь она исстрадалась...

В кухне прозвенел звонок.

— Я открою, — сказал Василий.

— Нет, что ты! Перепугаешь, — взволновалась еще больше мать. — Поди в комнату... Я открою, предупрежу.

В кухне снова прозвучал колокольчик.

— Иду, иду!

Открыла дверь. Вошла жена Василия.

— Замешкалась я, Надя, — оправдывалась свекровь.

— А что вы так взволнованы?.. Плакали?.. Что случилось?..

— Ох, и случилось такое дело...

— Что? Говорите скорей!

— Я и не знаю, как тебе сказать, только ты не пужайся.

— Боже! — воскликнула Надежда Николаевна. — Неужели?..

Василий не выдержал и крикнул:

— Я приехал!

Он не успел выбежать из комнаты, как Надежда Николаевна вскрикнула не своим голосом, ноги у нее подкосились, и она упала без чувств на пол.

Василий, бледный, поднял ее и положил на кровать.

— Доктора, скорее доктора, — говорил он матери. — Есть ли тут поблизости доктор?

— Не пужайся, сынок, обойдется... ничего, с ней это бывает... Надо дать ей нашатырного спирту. —

Мать достала из комода пузырек и кусочек ваты. — Вот, дай понюхать.

Василий намочил вату спиртом. Старушка расстегнула у невестки суконный жакет, голубую блузку. Молодая женщина лежала без кровинки в лице и без дыхания... Но вот лицо ее стало розоветь... Она открыла глаза, остановила свой взгляд на муже, краска вдруг залила ее лицо, она протянула руки, обняла Василия и прижала к себе.

КРАСНЫЙ ЗВОН

В полдень, когда Виктор и Женя, усталые, присели на камни у Ангара, чтобы отдохнуть, до их слуха донесся звон церковных колоколов.

— Слышишь? — спросил Виктор.

— Слышу, — ответила Женя.

— Это Иркутск.

— Неужели Иркутск?

— Безусловно Иркутск. Вслушайся, какой гул: звонит не одна церковь.

По Ангаре плыл торжественный звон множества колоколов.

Женя напрягла слух:

— Звонят, как на пасху.

— Так звонят, когда ждут едущих под венец жениха с невестой. Это они нас ждут.

Женя улыбнулась.

— Не было, наверно, такого случая, чтобы под венец шли в таком виде. — Она оглядела себя, посмотрела на Виктора. — Ты весь зарос, такой страшный, под глазами темные круги.

Виктор тоже посмотрел на Женю, но сказал не о ее измученном, далеко не подвенечном виде. Он сказал, что если их и ждут, то, конечно, не в церкви.

Между тем красный звон плыл и плыл по реке, рождая ощущение близости большого города, наполняя ожиданием чего-то необыкновенного, какой-то новой, еще неизведанной жизни. Казалось, вместе со звоном плыла жизнь, сверху, эта жизнь — неясная, манящая и пугающая.

— Какой сегодня день? — спросил Виктор.

— Сегодня? По-моему, сегодня воскресенье.

— Ну вот и звонят... Кончилась обедня.

Виктор предложил тронуться в путь.

— Идти осталось пустяки.

— Отдохнем еще немного, — возразила Женья. —
Надо привести себя в порядок.

Они отошли от реки, расположились в пади среди молоденьких сосен.

— А не обождать ли нам здесь до ночи? — сказала Женья. Она сидела под сосной разутая и очищала ботинки от грязи.

— До ночи?... Прежде всего надо узнать расписание поездов. — Виктор тоже чистил сапоги, приводя их в такой вид, чтобы нельзя было по ним узнать, что владелец их пришел издалека.

— Я думаю, что в Иркутске не следует садиться в поезд, — проговорила Женья.

— Да, конечно, лучше где-нибудь за Иркутском. Но расписание поездов надо все же узнать.

Приведя себя в порядок, они пошли к реке.

Под самым Иркутском, когда завиделись белые колокольни церквей, а за ними — серая громада Казанского собора, Виктор Заречный и Женья снова устроили привал невдалеке от реки, в небольшом лесочке. Женья осталась здесь, а Виктор отправился берегом Ангары в город на разведку.

Достигнув женского монастыря, расположенного в Знаменском предместье при впадении реки Ушаковки в Ангару, и перейдя по мосту через Ушаковку, Виктор пошел по Набережной. Вскоре показалась пристань, откуда отходили пароходы на Балаганск и где, как думал Виктор, он сможет узнать о времени отправления поездов в Забайкалье.

Пристань — плавающая баржа — была безлюдна. Виктор спустился по широким деревянным ступеням на пристань. Здесь, неподалеку от кассы, у расписания пароходов стоял в профиль к Виктору студент в светлой тужурке и в темно-синей фуражке с голубым околышем. Из-под носа его торчал черный ус.

— Федя! — крикнул Виктор на всю пристань.

Федя Угрюмов быстро обернулся и тоже закричал так, что, наверно, было слышно на другом берегу Ангары:

— Виктор!

И друзья бросились друг другу в объятия.

— Черт знает, что в жизни бывает, — говорил Федя Угрюмов, сжимая своими сильными руками Виктора. — Не выдумашь!

— Да, брат, действительно... — бормотал Виктор, в свою очередь обнимая дорогого друга.

— Ну, пойдем. — Федя потащил Виктора с пристани. — Я живу вот тут, в двух шагах.

— Постой! Постой! Я хотел узнать расписание поездов.

— Я знаю. Идем... — Федя потащил Виктора за рукав. — Ты понимаешь... я смотрел расписание пародов. Собрался к тебе ехать.

— Да не может быть! Как же ты узнал обо мне?

— Пойдем, пойдем. Расскажу.

Они поднялись на Набережную. Виктор в двух словах сказал, что привело его в Иркутск.

— Ну, тогда пойдем к твоей жене, — обрадованно сказал Федя. — Женился? Вот чудело! Ей-богу, чудело! Подумайте: женился!

По дороге они рассказали друг другу о себе.

В апреле 1912 года, после ленского расстрела, в одной из аудиторий Петербургского университета за профессорской кафедрой стоял рыжий, в форменном зеленоватом сюртуке, руководитель студенческой черносотенной организации «Союза русского народа» Шенкин. Он не спускал наглых глаз с Феди Угрюмова, сидевшего на скамье перед кафедрой вместе с Костей Сухановым и другими членами уссурийского землячества. Голосом, который тоже казался рыжим, Шенкин говорил:

— Вас хлебом не корми, только бы мутить воду. Зовете на демонстрацию, которая кончится пролитием крови...

— Долой! Вон! — пронеслось по аудитории. — Погромщик!

Федя Угрюмов, положив оба локтя на спинку скамьи, с брезгливостью смотрел на рыжего.

— Идите, идите! — кричал Шенкин. — Нагайка соскучилась по вашим спинам, давненько не гуляла по ним...

— Мерзавец! — крикнул кто-то, и вся аудитория снова точно взорвалась:

— Вон его! Громила!

Шенкин не успел сойти с кафедры, как на нее взбежал Федя Угрюмов. Черные глаза его сверкали гневом, слегка скуластое лицо было бледно, руки сжаты в кулаки.

— Перед нами сейчас выступал, — заговорил Федя, стараясь овладеть охватившим его волнением, — представитель той части людей, которые мало чем отличаются от горилл...

Раздался смех.

— ...и прозываются членами «Союза русского народа». Специальность их известна, — продолжал Федя Угрюмов, — избивать дубинкой революционную интеллигенцию и рабочих и просто убивать из-за угла.

— Врешь! — прозвучал зычный голос Шенкина.

Со всех сторон на Шенкина зашипели и зацыкали.

— С их рук, — продолжал Федя Угрюмов, — еще не смыта кровь жертв девятьсот пятого года. Они думают, что навсегда потопили в крови мечту народа о свободе. Жалкие подонки общества! Осиновый кол будет вбит им в могилу!

— Правильно!

— Долой Шенкина!

— Браво!

— Долой черную сотню!

Федя Угрюмов, уже вполне овладев собою, стоял на кафедре и с восторгом смотрел на бурлившее страстью море молодых бесшабашных голов.

Покончив с рыжим руководителем черносотенной университетской организации, Федя Угрюмов в страстной речи, не стесняясь в эпитетах, обрушился на министра внутренних дел Макарова, заявившего в Государственной думе, в связи с расстрелом рабочих на Ленских золотых приисках, что «так было и так будет».

— Так было, но так не будет! — гремел взволнованный голос Феди Угрюмова. — Кровью своей вы расплатитесь за кровь рабочих! — Федя Угрюмов кулаком своим угрожающе потряс в воздухе. Глаза у него были такие же страшные, как тогда, когда он вместе с Виктором Заречным смотрел, как казнили матросов после разгрома восстания. — За мной, на Невский! — крикнул он, и битком набитая аудитория зашевелилась, зашумела, как море, по которому пробежал тайфун.

У Казанского собора, протиснувшись в самую гущу

толпы студентов, Федя Угрюмов выкинул красный флаг. Но вот в толпу врезались конные жандармы. Засверкали лезвия сабель. Распикивая людей задами лошадей, размахивая шашками и ударяя плашмя по спинам, жандармы очищали площадь Казанского собора. Один из жандармов, нагнувшись, схватил Федю Угрюмова за ворот тужурки. Федя выронил из рук древко флага. Он видел отчетливо, как флаг взвился над чьей-то головой. Что было дальше, он не видел. Не видел он, как по Невскому проскакали казаки с малиновыми лампасами на шароварах и с пиками наперевес, как бесшумно промчался автомобиль петербургского полицмейстера Галле, — это означало, что демонстрация окончилась. С мостовой одной из боковых улиц подняли и увезли в больницу беременную курсистку с рассеченным саблей животом.

Федя Угрюмов просидел несколько месяцев в Крестах. О нем навели справки в Казани и во Владивостоке, припомнили его участие в «толстовских беспорядках» и «по совокупности преступлений» дали пять лет административной ссылки в Восточную Сибирь. Здесь, в Иркутске, он жил вот уже четыре года, работая в Сибирском отделении Русского географического общества как этнограф. Федя вступил в социал-демократическую организацию, которая состояла главным образом из ссыльных.

На этом закончился рассказ Феди Угрюмова. Добавим к этому, что он вел жизнь «вечного студента» (в те времена немало было «старичков», засидевшихся в университете или в каком-нибудь другом высшем учебном заведении, которых называли «вечными студентами»). Шел Феде Угрюмову уже двадцать восьмой год. В своей старой суконной тужурке с голубыми петлицами, в диагоналевых черных брюках, с медлительной походкой вразвалку, с привычкой покручивать ус Федя Угрюмов действительно напоминал «вечного студента». Женат он не был: два его «романа» окончились неудачно.

— А ты женился! Вот чучело! — сказал Федя Угрюмов, когда они подошли к лесочку, где находилась Женья. — Ей-богу, чучело!

Увидев Федю Угрюмова, которого Женья знала по Владивостоку еще гимназистом, она всплеснула руками:

— Боже мой!

Федя Угрюмов долго тряс руку Жени. Он смотрел на ее губы, такие розовые, и думал: «У нее удивительно красивый рот и приятная улыбка, глаза стали умнее. Она недурна собой, только сильно похудела, лицо вытянулось, должно быть, за дорогу».

— Подумайте, какое бывает! — говорил Федя Угрюмов. — Черт его знает!

— Действительно... как в романе, — вторил ему Виктор.

— Молодцы! — восторгался Федя Угрюмов. — Вот это да! Что и говорить!.. Ну, айда ко мне.

— Постой, надо обдумать, — возразил Виктор.

— А что думать?.. Впрочем, думай. — Федя Угрюмов осмотрелся, где бы присесть.

— За твоей квартирой слежки нет? — спросил Виктор.

— Во дворе у меня соседка — превосходная старушка. У нее можно день-два передохнуть. А билеты я возьму сам. Сядете в поезд на станции Михалево, это первая станция от Иркутска, а до Михалева на дачном, или пешочком; вам ведь не привыкать. — Федя рассмехался.

— Ну что ж, идемте, — сказал Виктор.

— Я предлагаю, — подала голос Женя, — подождать, пока совсем стемнеет, а то мы можем обратить на себя внимание в городе.

Федя Угрюмов взглянул на Женю, потом на Виктора и подумал: «А все-таки хорошо, когда об одном деле думают две головы». Свою голову он во внимание не принял, но сказал:

— Это верно, Евгения Павловна.

И добавил:

— Я заметил, что женщины куда осторожнее мужчин. Только перейдем поближе к реке. Люблю широкие горизонты.

Они взяли рюкзаки и приблизились к яру, под которым лежал берег Ангары. По самому краю яра вразброску стояли сосны. Невысокая луговая терраса противоположного берега уходила вдаль безлесной, подернутой маревом равниной. Над равниной висело большое остывшее солнце. Сверху Ангара казалась шире, могучей.

— Какая сила пропадает зря! — вздохнув, воскликнул Федя Угрюмов.

— Ангара здесь теплее, — сказала Женья.

— Это вы верно подметили. Чем ближе к Байкалу, тем вода в реке теплее.

— А какие здесь леса! — восторженно проговорила Женья.

— А сколько их гибнет от пожаров! — отозвался Федя Угрюмов.

— Рассказывай, что нового о войне, — попросил Виктор Заречный. — Ведь мы газеты читали редко.

— Нового? Злоба дня — арест и заключение в Петропавловскую крепость военного министра Сухомлинова. Об этом скандальном деле пишут открыто. Проникающие в печать материалы следствия говорят об измене в самом военном министерстве. Имя Сухомлинова связывают с именем австрийского подданного Альтшиллера, несомненного шпиона. Установлено, что Сухомлинов при его заграничных поездках постоянно останавливался в венской пригородной даче Альтшиллера. Этот Альтшиллер, как подданный воюющей с нами страны, подлежал высылке из Петрограда, но за него поручился Сухомлинов, и он не только проживал в столице, но еще и занимался, помимо шпионажа, поставками для армии. Когда его персоной заинтересовались, он бежал в Австрию. Правой рукой Альтшиллера были близкие родственницы мадам Сухомлиновой. Оказывается, и Мясоедов был в каких-то связях с людьми, близкими к Сухомлинову. Тут целая шпионская сеть. У Сухомлинова была кличка — Тысячный. После разоблачения Мясоедову удалось пробраться в действующую армию и получить ответственное назначение. Подумайте только, что творится! Сухомлинов отрицает, что он содействовал этому назначению, но врет, конечно, мерзавец. Вот какие дела творятся в тылу армии... Говорят, будто Алиса, эта коронованная ханжа, посетив военный госпиталь, «милостиво» расспрашивала раненых офицеров о войне. Один офицер, желая, по-видимому, угодить «ее величеству», стал рассказывать, как его солдаты обратили в бегство какой-то там, черт его знает, гессенский полк. Царица побледнела, топнула ногой и вскрикнула: «Неправда! Гессенцы никогда не показывают спин!...» Вот вам и

русская царица!.. Зимний дворец смердит! У самого трона стоит мошенник, проходимец, неграмотный развратный мужик. «Звездная палата», как называют в Петрограде кружок Распутина, состоящий из приближенных царицы, решает судьбу министров. Председатели совета министров слетают со своих высоких кресел, как марионетки. Министры внутренних дел меняются, как крахмальные воротнички. Говорят, что Хвостова Николай назначил министром внутренних дел потому, что о нем «хорошо» отзывался Распутин. Маклакова назначили на тот же пост потому, что он умеет кричать петухом и вообще подражать голосам разных животных. Как вам это нравится?

Женя искренне расхохоталась.

— Комедия!

— О какой же победе может идти речь! — воскликнул Федя Угрюмов.

— Дело, конечно, не в Алисе, и не в Сухомлинове, и не в Распутине, — заметил Виктор Заречный.

— А я и не говорю, что все дело в них. Отсталость всей социально-экономической системы России, бездарность и антинародность правительства — вот где зло.

Федя Угрюмов не пожалел красок, говоря о положении на фронте и в тылу.

— Армия не имеет в достаточном количестве снарядов, винтовок, патронов. Двадцать миллионов крестьян и рабочих, плохо вооруженных, голодных, съедаемых вшами, проливают свою кровь, не зная, собственно, за что. Тысячами солдаты бросают окопы и бегут с фронта. Целые полки отказываются идти в наступление. Известны случаи, когда солдаты, идя в наступление, убивали ненавистных им командиров. А в тылу? Разруха во всех отраслях промышленности, на транспорте. Доменные печи потухают. Заводы останавливаются. В городах не хватает продовольствия, топлива. Народ голодает, у магазинов — очереди. Вот, друзья мои, каковы дела. И при всем этом находятся люди, которые говорят об обороне во что бы то ни стало. Плеханов высмеивает идею превращения войны империалистической в войну гражданскую, обвиняет большевиков в «пораженчестве».

— Вряд ли популярна идея обороны, — усомнился Виктор Заречный.

— Отстал ты, брат Виктор, отстал от жизни...

В номере пятьдесят первом «Социал-Демократа» имеется статья, в которой говорится как раз о многочисленных противниках большевистской постановки вопроса о мире¹. В оборонческой газете «Рабочее утро» были опубликованы декларации московских и петроградских социал-демократов — шовинистов. Первые — сторонники «обороны», вторые — сторонники «самозащиты». А вообще, что в лоб, что по лбу. Те и другие говорят, что пролетариат должен встать на защиту своей страны, что оборона — кровное дело русского пролетариата. Вот, брат, как ставится вопрос.

— Вот как? — удивился Виктор.

— Да, так. Не думай, что вопрос очень прост.

— Да я не думаю.

— А что же ты удивляешься?

— Я полагал, что в рабочей массе...

— Да я не знаю, — перебил Федя, — кто писал декларации. Черт их знает! Факт остается фактом. Такие имена, как Каутский, Плеханов, чего-нибудь да стоят. К их голосу прислушиваются. Не так-то легко бороться с ними. К тому же декларации выдвигают лозунг мира без аннексий и контрибуций.

— Ну, а авторитет Бернской конференции заграничных секций РСДРП? — возразил Виктор. — Он чего-нибудь стоит? Ведь Бернская конференция развивает положения манифеста ЦК. Помнишь, как говорилось в резолюции? Пропаганда мира, не сопровождающаяся призывом к революционным действиям, способна лишь сеять иллюзии, развращать пролетариат внушением доверия к гуманности буржуазии и делать его игрушкой в руках тайной дипломатии воюющих стран².

— Сложный вопрос, Виктор. С того дня, как немецкие социал-демократы проголосовали за кредиты на ведение войны, пошел разброд в международном рабочем движении, затрещал Второй Интернационал. «Социал-Демократ» громит «оборонцев» всех стран. А что касается рабочей массы ты, конечно, прав. Деся-

¹ Речь идет о статье В. И. Ленина «О мире без аннексий и о независимости Польши, как лозунгах дня в России», опубликованной в № 51 «Социал-Демократа» 29 февраля 1916 года.

² Текст резолюции принадлежит перу В. И. Ленина. Резолюции конференции были опубликованы в «Социал-Демократе» № 40, 29 марта 1915 года.

января в Петрограде происходили многочисленные демонстрации под лозунгом «Долой войну». На Выборгском шоссе проезжавшие на автомобилях солдаты при красных знаменах снимали шапки и кричали: «Ура! И войну!»

Угрюм замолчали, углубившись в свои мысли. Перед ними Виктора Заречного, как мутные потоки реки, проносили картины жизни родной страны. Он потряхнул головой, будто хотел отогнать все то мрачное, что наводило рассказы Феда Угрюмова. Женя сидела, свесив голову над яром и положив руки между коленями. Смотрела на солнце, думая о чем-то. Возле нее — Федя, тихий человек, друг. Тепло стало на душе у Виктора, родилось ощущение близости чего-то прекрасного, какой-то необыкновенных встреч, какой-то безмерной радости.

Работая в Географическом обществе, — заговорил Угрюмов, — я много отдавал времени изучению Сибири. Богатейшая страна! Любопытно, что здесь ученые, начиная с декабристов, были главной научной силой. Вот, например, выдающийся геолог Черский, который подробно описавший побережье Байкала. Он был послан в Сибирь восемнадцатилетним юношей. Впоследствии был хранителем Иркутского музея. Вместе с ним в Географическом обществе работали ссыльные Левковский, Чекановский, Дыбовский, оставившие труды о флоре и фауне Байкала.

Сибирь для многих из них стала могилой, — закончил Виктор.

В иркутской ссылке умерло двадцать декабристов — сказал Федя Угрюмов. — В среднем каждый из них прожил здесь не более десяти лет; один скончался, прожив и года, трое не прожили и пяти лет. И так далее. Ужасны были условия иркутской ссылки. Григорий Глебов умер от побоев... А знаешь ли, Григорий, и в Малышевке были в ссылке декабристы — Тихонов и Дружинин?

Знаю. Таптыков и умер в Малышевке. В Балашихе сохранились могилы польских повстанцев. Кладбище польских ссыльных было и в Малышевке, но оно давно оно смыто наводнением, сейчас нет и следа.

А в Тулуне, — продолжал Федя Угрюмов, — по-

кончил с собой наш, можно сказать, земляк, матрос сибирского флотского экипажа Бринев.

— Как тебе удалось узнать обо всем этом?

— Многое я узнал от старых ссыльных, от старожил. Вообще, знаете, — горячо заговорил Федя, — история революционного движения в России — это такая увлекательная тема!

— А как дела в Иркутске? — спросил Виктор.

— Ты имеешь в виду партийные дела?

— Да.

— Иркутск — скопище политических ссыльных. Со всей России высылают сюда — из Питера, из Иваново-Вознесенска, из Польши, из Прибалтийского края. Говорят, что в Иркутской губернии около шести тысяч ссыльных. Что касается социал-демократов, то иркутская городская организация объединяет все течения в социал-демократической партии — большевиков, меньшевиков, бундовцев, польских и латышских социал-демократов, которые, впрочем, имеют и свои обособленные группы. Здесь в ссылке Церетели. Видел я и Дана. Была в Иркутске нелегальная газета «Товарищ пролетария» — орган «Союза сибирских рабочих».

— А что это за «Союз»?

— Это большевистская организация, состоявшая из иркутских и черемховских рабочих, занимавших резко пораженческую позицию. В июле прошлого года «Союз» провалился: в одну ночь было арестовано больше двадцати человек, взята типография.

— Дело рук провокатора, — заметил Виктор.

— Ясно! Тут одного подозревают. Рожа у него действительно не внушает доверия. После провала «Союза» притихла работа и в социал-демократических группах.

Пока друзья говорили, солнце ушло за горизонт, растворилось в марева.

Федя Угрюмов поднялся со своего места.

— Ну, пора, пора, идемте, а то совсем стемнеет.

И они двинулись в город.

Федя Угрюмов жил на Савинской улице, неподалеку от Набережной. Во дворе в малюсеньком домике с палисадничком жила та самая «превосходная старушка», о которой он говорил Виктору и Жене.

Старушка действительно оказалась превосходной. Она отвела беглецам одну из своих маленьких комнаток, предложила чаю с утренними шаньгами.

— Спать, спать, спать! — сказала Женья. — Только спать!

Старушка приготовила постель и спросила:

— Лампадка не помешает?

В углу перед иконой горела лампада, освещавшая комнатку голубым светом.

— Ничего, — ответила Женья, — не помешает.

— Смотрите, а то я могу и погасить, это как вам угодно будет.

— Нет, нет. Даже приятно. Я люблю, когда в комнате горит лампадка.

— Ну, смотрите.

Старушка ушла. Виктор и Женья разделись, легли в постель.

— Какое блаженство! — прошептала Женья. Она вытянулась во весь рост, мышцы напряглись, потом вдруг ослабли.

— Да, путь окончен, — вздохнув, отозвался Виктор. И они оба затихли.

Вместо двух-трех дней, как предполагали Виктор и Женья, они прожили в Иркутске целую неделю. На другой день утром Женья не встала с постели.

— Только сейчас я почувствовала, как я устала, — сказала она.

Попав под опеку «превосходной старушки», в квартиру с мягкой постелью, самоваром и шаньгами, Женья разболелась. Ни с того ни с сего у нее поднялась температура — утром 37,5, вечером 38. Такая температура держалась три дня — вторник, среду и четверг. Федя Угрюмов пригласил своего знакомого ссыльного врача; тот ничего особенного не нашел, прописал порбшки. В пятницу Женья проснулась здоровой.

Друзья стали обсуждать план дальнейшего пути. Виктор считал, что лучше всего, если он в воскресенье утром поедет с дачным поездом до Михалева (поезд отправлялся в 8.59) и там будет ждать Женью с пассажирским поездом, отходившим из Иркутска в 9.05 вечера.

— Садиться в пассажирский поезд в Иркутске не следует, — сказал Виктор.

Женя, как человек очень осторожный, предложила другой вариант:

— Мне тебя жалко, но лучше, если бы ты пошел до Михалева пешком...

— Хороша жалость! — шутливо воскликнул Виктор. — Опять пешком! Тридцать верст! Ты слышишь, Федя?

Федя Угрюмов покрутил свой черный ус и подумал: «Любит она его...»

— Нельзя тебе показываться на станции в Иркутске, — твердо заявила Женя.

— Жандармы рыщут не только на больших станциях, но и на маленьких и в поездах, — возразил Виктор. — Ищут не одних нас. Впрочем, прошло две недели, как мы с тобой ушли из Малышевки, нас уже, наверное, перестали искать.

В разговор вмешался Федя Угрюмов.

— Берегись бед, пока их нет, — сказал он. — Надо полагать, что тебя, Виктор, все-таки ищут. Поэтому следует принять некоторые меры предосторожности. На станции Михалево, конечно, есть жандарм, которому безусловно передаются телеграммы о лицах, бежавших из пределов места их ссылки. Уж там-то, Евгения Павловна, появление Виктора привлечет внимание жандарма. Можно сесту в поезд и в Иркутске, но надо прибегнуть к маскарადу. Надо взять на прокат хороший костюм, купить шляпу.

— Футляр для скрипки, — добавила Женя.

— Вы угадали мою мысль, — воскликнул Федя.

— Значит, вы хотите, чтобы я был похож на скрипача-гастролера?

— Ты вполне сойдешь за музыканта, — смеясь, сказал Федя.

— Но ведь тогда надо ехать по крайней мере во втором классе, а то — что это за гастролер, который едет в третьем классе.

— Ну что ж! Мобилизуем все средства.

— Для меня — билет в третьем классе, — заметила Женя.

— И прекрасно! — воскликнул Федя. — Будет лучше, если вы поедете в разных вагонах.

Так они и сделали.

Ночь на воскресенье Виктор Заречный провел у знакомых Феди Угрюмова, иркутян Бобровых, на Чудотворской улице, рядом с Савинской. Вечером в воскресенье, когда Женя уже садилась в поезд, к дому Бобровых подъехал иркутский лихач на дутых шинах. Виктор надел свое черное пальто с бархатным воротником, шляпу, взял в одну руку футляр от скрипки, в другую — небольшой кожаный чемодан и вышел из дома.

Экипаж выехал на Набережную и покатил по направлению к понтонному мосту.

Синим полукольцом бурная река омывала старинный сибирский город, основанный в семнадцатом веке и называвшийся тогда Иркутским острогом. В бревенчатых стенах острога были в те времена ворота Монастырские, ворота Мельничные, ворота Заморские. В эти последние в 1698 году, при Петре Первом, ушел в Китай первый русский торговый караван, и с той поры повелась у России торговля с великим китайским государством. Ничего не осталось от того города: ни стен, ни ворот, ни домов. Был он уничтожен начисто страшным пожаром. Сибирские купцы и мещане построили новый город. В нем много белокаменных церквей с высокими колокольнями, магазинов, богатых домов, еще больше деревянных домишек мещан и лачуг бедноты. На Набережной воздвигнут для генерал-губернатора дворец с коринфской колоннадой, а на Знаменской улице, за рекой Ушаковкой, — тюремный и пересыльный замки, откуда шли две дороги — одна в знаменитый Александровский каторжный централ, другая на не менее знаменитый и известный всей революционной России Якутский тракт. Название этого города вписано в историю освоения Восточной Сибири. Здесь имел резиденцию граф Муравьев-Амурский, основатель города Владивостока. Отсюда совершал свой путь Геннадий Иванович Невельской, исследователь Амура и Татарского пролива, доказавший, что Сахалин — остров, а не полуостров. Славен этот город и как один из революционных центров Сибири.

Раздумывая обо всем этом, поглядывая по сторонам, Виктор Заречный мчался на рысаке.

На берегу, усевшись на корточках рядом, четыре

женщины полоскали белье, крепко держа в посиневших руках простыни и рубашки.

Кучер обернулся к Виктору.

— Надясь одна бабонька полоскала белье, кувыркнулась в воду, понесло ее течением, и... больше ее никто не видал — ни живой, ни мертвой.

— Какой ужасный случай! — воскликнул Виктор.

— Нырнешь — и не вынырнешь, — заключил рассказ извозчик. — Больно студеная и быстрая вода. Страсть!

Мимо, с левой руки, проехал открытый широкий новенький, блестящий лаком экипаж, запряженный сытым черным рысаком. На козлах сидел важный, в синем кафтане и в таком же синем картузе, кучер — ни дать ни взять Александр Третий, а в самом экипаже — две мо-нахини. Виктор Заречный успел разглядеть и их. Одна — бледная и сухонькая; другая хотя и была бледновата, но вид имела значительный.

Извозчик обернулся к Виктору, мотнул головой в сторону экипажа.

— Игуменья Знаменского монастыря. Барыня, говорят, была.

Он завернул лошадь на понтонный мост. Конь пошел шагом. Под мостом ревели зеленые потоки Ангары.

По мосту в город с вокзала шли толпы людей с узлами, зелеными сундуками, деревянными чемоданчиками, перекинутыми через плечо.

— Войне скоро уж конец, — сказал извозчик, — а беженцы все идут и едут. Несчастный народ!

Да, это действительно были несчастные люди, потерявшие дом свой. Все их добро, нажитое долгим тяжелым трудом, пожрала война. Огнем уничтожены хижины, снарядами и окопами изрыты нивы. И русские, и белорусы, и украинцы, и поляки, и евреи — всех одинаково придавило горе.

— У нас их большие тыщи, — проговорил извозчик.

«Вот оно, дыхание войны! — подумал Виктор Заречный. — Вот она, жизнь!»

Съехав с моста и свернув в сторону вокзала, извозчик дернул слегка вожжи. Экипаж запрыгал на дутых шинах по булыжной мостовой и вскоре остановился у вокзала. Виктор расплатился с извозчиком, взбежал по ступенькам в переполненный вокзал, протискался через

шумную толпу пассажиров, вышел на перрон. Как раз против двери стоял единственный в составе поезда желтый вагон второго класса. Предъявив кондуктору билет, Виктор взошел в тамбур вагона. Через пять минут поезд тронулся.

В ОКОПАХ

Василий Рудаков уезжал на фронт. На перроне Варшавского вокзала пахло краской, мазутом и паровозным дымом. За время пребывания Василия дома жена его, Надежда Николаевна, расцвела, щеки слегка пополнели, и в углах рта образовались ямки. Василий любил целовать жену в эти ямки. Раскосые глаза ее были полны любви и счастья. Счастливой она себя чувствовала не только потому, что любила Василия и Василий любил ее, а и потому еще, что, кажется, она, наконец, станет матерью. О своем подозрении она сказала Василию. «Будет сын, — обрадовался Василий, — белокурый, в тебя». — «Нет, в тебя, я хочу, чтобы в тебя». — «А я хочу, чтобы в тебя. А как мы его назовем?» — спросил Василий. Они долго обсуждали этот вопрос и решили назвать сына, который обязательно должен появиться на свет, Алешей.

Надежда Николаевна сегодня была мила, как, впрочем, всегда; но что касается наряда, то товарки, с которыми она работала на карандашной фабрике, ни за что не узнали бы ее сегодня. Ей очень шла пикейная шляпка с голубой лентой. В этой шляпке ее еще не видели на фабрике. И блузка голубая с карманчиками на груди очень шла к ее голубым глазам и светлым гладким волосам, прикрывавшим розовые уши. Никто из товарок не видел на ней этой красивой блузки, подаренной мужем.

Она стояла у вагона с Василием и не отрывала глаз от него.

— Ты спокойна? — спросил ее Василий.

— Конечно. Ведь скоро вернешься. Не в Сибирь едешь.

— Да, да, я ненадолго. — Василий притянул ее к себе и шепотом добавил: — Я теперь от тебя никуда не уеду.

Она улыбнулась, ямки у рта углубились, и весь рот ее словно ожидал мужнего поцелуя.

Когда прозвучал третий звонок, Василий прижал ее к себе и не отрывался от ее горячих губ.

— Вася! — только и могла сказать Надежда Николаевна, когда поезд тронулся.

Василий вскочил на подножку, и поезд унес его.

Петроградский комитет партии предложил Василию Рудакову, когда он по приезде своем установил связь с большевистской организацией, не поступать на работу в типографию, как хотел Василий, а все свое время отдавать партийной работе, то есть стать профессиональным подпольным работником. Хотя комитет мог выдавать Василию очень скромную сумму денег, значительно меньшую той, на которую Василий, как высококвалифицированный печатник, мог рассчитывать, тем не менее он, конечно, с радостью принял это предложение. Ну какая другая работа может быть более нужной, более полезной, чем революционная, особенно в данный момент, когда — это было ясно для Рудакова — решалась судьба России?!

Перед его отъездом на одном из партийных собраний товарищ, приехавший из Цюриха, передавал содержание редакционной статьи «Социал-Демократа» — «Социалистическая революция и право наций на самоопределение», напечатанной в журнале «Vorbote» на немецком языке¹. В этой статье пророчески говорилось, что социалистическая революция может начаться в самом близком будущем, что перед пролетариатом встанет немедленная задача завоевания власти.

У Василия была задача повести работу в войсках Юго-Западного фронта, в районе города Сарны Волынской губернии.

Остановившись в дрянной гостинице, он пошел по городу искать комнату. На одной из улиц, деревянные дома которой были набиты еврейской беднотой (большой бедности и грязи Василий не видел за всю свою жизнь), он вошел в раскрытую настежь дверь дома, привлечшего его внимание квадратными листками бу-

¹ Статью писал В. И. Ленин.

маги на стеклах всех четырех окон, глядевших на улицу.

Веснушчатая женщина с рыжеседыми волосами и красными веками, со сковородкой в руке, устремила на него свой безразличный взгляд. Василий сказал о цели своего прихода.

— Пожалуйста, — равнодушно промолвила женщина, поставила сковородку на плиту и провела Василия через комнату, где стояли несбыкновенно высокая кровать с тремя перинами на ней, деревянный, ничем не покрытый стол и несколько табуреток, в смежную комнату, которая была обставлена всем необходимым.

Четверо мальчишек разного возраста — все они были рыжие, похожие на мать, — стояли у двери в ожидании решения вопроса о комнате: снимет господин комнату или не снимет; если снимет, думали они, будет хлеб, не снимет — хлеба опять не будет.

Договорившись о комнате, Василий присел на стул. Девтора радостно бросилась из комнаты во двор.

Василий решил поинтересоваться, что за люди, у которых он снял комнату.

— Чем вы живете? — спросил Василий хозяйку.

— Гм! Чем живем? — она пожала острыми плечами, на которых, как на деревянной вешалке, висела грязная кофточка. — Вот господин будет платить за комнату, будем жить.

— Ну, а до сих пор?

— А до сих пор мы ждали, когда господин снимет у нас комнату.

— У вас есть муж?

— Гм! Если есть дети, то, наверно, есть муж.

— На работе?

— На работе?! — удивилась женщина.

— Ну да.

— На какой же работе он может быть, вы не можете мне сказать?

— На какой? Я не знаю еще, какие у вас тут фабрики, учреждения... Где-нибудь да работают жители города.

— Гм! Работают?! — опять удивилась женщина. — Здесь, в Сарнах, никто не работает. Здесь негде работать.

— Позвольте, чем же живут люди?

Хозяйка только пожала худыми плечами, удивляясь

наивности приезжего господина, хотя было действительно непонятно, каким способом люди в этом местечке добывали себе средства к жизни.

В комнату вбежал муж веснушчатой женщины. Он вертел головой и тряс длинной черной вьющейся бородой с седой полосой во всю длину бороды. На затылке у него была фуражка с вздутым и засаленным верхом, которую он носил со дня женитьбы (тогда она была совсем новенькая). Он сел на стул, расставил ноги, уперся руками в колени и уставился на Василия соболиными глазками. Вид у него был такой, будто он только что узнал о том, что выиграл двести тысяч. На самом же деле он с утра, размахивая бородой, бегал по городу в поисках хоть какого-нибудь дела и весь день ничего не имел во рту.

— Зачем приехал сюда господин? — спросил он Василия.

— Я — корреспондент.

— Корреспондент?

— О войне пишу.

Хозяин скептически скривил губы.

— Долго, господин будет жить? — спросил он.

— Да как понравится.

— Ну, живите себе на здоровье. — Он вскочил со стула и бросился к двери. Борода его разделилась пополам и развеялась по всей груди.

Василий стал жить в Сарнах как военный корреспондент петроградской газеты «Речь» под фамилией Владимирского, Семена Ивановича (он был снабжен таким удостоверением).

Василий часто выезжал на фронт. Однажды с разрешения штаба полка он посетил окопы, длинной извилистой линией тянувшиеся через березовый лесочек. Поздоровавшись с солдатами, Василий присел на чурбачок и для первого знакомства повел беседу о сражениях. Обросшие бородами, в полуистлевших, выцветших летних гимнастерках и брюках, в рваных ботинках, с обмотками на ногах, солдаты недобро поглядывали на Василия.

— А какой газеты вы будете корреспондент? — спросил его вдруг живой, веселый, себе на уме солдат с тремя лычками. Он держал в руках изношенный, с

железной подковой на каблуке, грязный ботинок и вдевал бечевку в дырки для шнурков.

— Газеты «Речь», — ответил Василий.

— Значит, война до победного конца? — вызывающе спросил солдат.

Василий и смутился от такого неожиданного замечания и обрадовался явной иронии, с которой был задан вопрос. Десятка три солдатских голов с большими бородами и хмурыми глазами повернулись в сторону Василия, ожидая, что он скажет. Положение Василия было щекотливое. Открыть свои карты сразу перед всей ротой он не мог, не должен был. Кто знает, что таится в душе у каждого из этих неизвестных еще ему людей.

— Меня интересует в войне стратегия, — ответил Василий.

— Это как надо понимать? — спросил «солдат себе на уме» и перестал вдевать бечевку. Умные глаза его внимательно смотрели на Василия.

— Это надо понимать так: есть корреспонденты, которые своими статьями поднимают солдат на войну, а есть корреспонденты, которых интересует только техника войны. — Василию самому казалось, что он говорит туманно, но мысли приходили сами собой, и он продолжал: — Вот меня интересует, например, такой вопрос. Идет ваша рота в наступление, ротного командира убивают, помощника ротного убивают. Кто поведет роту? Есть ли среди вас знающие стратегию войны? Поняли меня?

— Понял, — нерешительно ответил «солдат себе на уме», хотя он и не совсем понимал Василия.

Другие солдаты недоверчиво смотрели на корреспондента, интересующегося стратегией войны.

— Я такими вот вопросами интересуюсь, — добавил Василий. — Вот вы, например, — обратился он к «солдату себе на уме», — не знаю, как ваша фамилия...

— Кутузов, — ответил «солдат себе на уме».

— Кутузов? — переспросил Василий и стал вглядываться в солдата.

— Да, Кутузов. — Кутузов прищурил глаз, услышав в голосе Василия какую-то странную интонацию, характера которой он не мог разгадать.

«Может быть, где-нибудь встречались, — подумал он. — Да нет, не припомню что-то».

«Неужели это он?» — в свою очередь подумал Василий.

— Фельдмаршал! — вдруг раздался голос откуда-то издалека. — В штаб полка!

Кутузов надел на ногу ботинок, вскочил и побежал по окопу.

Теперь уже Василий не сомневался, что это был тот самый Кутузов, которого Виктор Заречный привлек в полковую тройку, когда вел пропагандистскую работу на берегу реки Уссури.

И действительно, полк, в котором сейчас находился Василий, пришел на фронт из лагерей со станции Муравьев-Амурский¹. Сельский учитель Фома Кузьмич Цветаев, тоже член большевистской тройки, был убит, а рабочий Тульского ружейного завода Николай Сидорович Кутузов, которого прозвали Фельдмаршалом, и студент Иван Александрович Петровский, бывший в другой роте этого же полка, здоровствовались. Старый состав полка сильно поредел, полк все время пополнялся маршевыми ротами запасных.

Поблизости от Василия, подстелив под себя березовых веток, сидел солдат лет сорока. Он медленно разматывал желтые, как его борода, обмотки на худых ногах.

— А вас, господин, — обратился он к Василию, — не интересует, к примеру сказать, то, что мы вот сегодня еще ничего не жрали? — В его голосе слышалось презрение к «корреспонденту», который интересуется стратегией войны и, по-видимому, совершенно равнодушен к такому большому вопросу солдатской окопной жизни, как недоедание; звучала в его голосе и злоба на тех, кто послал его умирать неизвестно за что и вдобавок не кормит.

Вопрос солдата с желтой бородой был неожиданным не только для Василия, но и для самих солдат. Все сначала глянули на задавшего вопрос, а потом устремили оживившиеся злорадством глаза на «корреспондента».

Василий опять обрадовался.

— Вчера вечером, — продолжал желтобородый сол-

¹ Ныне станция Лазо, Дальневосточной железной дороги.

дат, — помазали чечевицей по губам, и с того часа сидим и ждем жратвы.

— А газета «Речь» вшами интересуется? — раздался злобно иронический голос.

Солдаты одобрительно зашумели. В глазах у них, чередуясь со злобой, поблескивали ядовитые смешки.

И этот вопрос порадовал Василия.

— Мы можем сотни две набрать газете для развода, — со смехом пропел издали приятный тенорок.

— Го-го-го! — захохотали солдаты.

Василий выжидал. Перед ним был русский народ, представителем которого он себя считал. Для народа и вместе с народом он добывал свободу, и сейчас Василий с особой силой почувствовал, что война кончится крахом для царизма. Здесь, в окопах, ценой страданий и крови русский народ завоевывал свое освобождение от рабства. Много горя хватили солдаты, много злобы накопилось в них; злоба эта искала выхода. «Вот когда, — думал Василий, — подходит момент осуществления ленинского лозунга превращения войны империалистической в войну гражданскую».

— Стратегия! — зло заговорил опять желтобородый солдат (он теперь наматывал на ноги свои обмотки). — А продавать Россию — это тоже стратегия? — Гнев вспыхнул в его глазах.

Вернулся Кутузов. Он повидал Петровского и рассказал ему о странном корреспонденте, сидящем в окопе в их роте и интересующемся стратегией. «Наверно, свой, — сказал Петровский, — надо присмотреться. Скажи, чтобы приходил». — «Ладно».

Василий поднялся с чурбачка, на котором сидел.

— Ваши вопросы справедливы, — обратился он к солдатам, — они меня очень интересуют, и мы поговорим насчет всего... Я еще приду к вам.

— Приходите, приходите, — весело приглашал Василий Кутузов.

— Спасибо, приду. — Василий заметил какую-то перемену, происшедшую в настроении Кутузова.

Бывший тульский рабочий пошел за Василием. Солдаты провожали «корреспондента» недоумевающими взглядами.

У земляной лестницы, которая вела из окопов в лес, Василий, оглядевшись по сторонам, спросил Кутузова:

— Вы не с Дальнего Востока?
— Нет, я тульский, а на Дальнем Востоке был.
— Стояли в лагерях в Муравьеве-Амурском?
— Ребята рассказывали?
— Нет, не ребята. Мне рассказывал Виктор За-
речный.

— Виктор Григорьевич? — Глаза у Кутузова засвер-
кали. — Да не может быть? Где же он? Когда же вы
его видали? — Кутузов забросал Василия вопросами.

— Да это было еще там, на Дальнем Востоке. Он и
сейчас в Приморье. Недавно я получил от него письмо.

— Ах ты, вот какая встреча!

— Я друг Виктора Григорьевича, — сказал Василий.

— Понятно... Понятно... Теперь ваша стратегия
понятна. Откровенно скажу, когда вы заговорили о
стратегии, я сразу вспомнил Виктора Григорьевича. Вот
даю честное слово. Прямо — его вспомнил. Он нам тоже
о стратегий говорил.

— Приятная встреча, — сказал Василий. — Удиви-
тельная встреча! Напишу Виктору Григорьевичу.

— Привет от меня и от Петровского. Цветаев, на-
пишите, убит.

— А как у вас в полку? — спросил Василий. — Ка-
ково настроение?

— Такое, как у пороха: поднеси спичку — и все
взлетит к чертовой бабушке.

— Устали от войны?

— Измучены, не только что устали.

— Не верят в победу?

— Ни во что не верят.

— Об аресте Сухомлинова знают?

— Это же у нас козырь.

— Что говорят солдаты?

— Лютуют. Для русского солдата измена в ар-
мии — это... Как ваше имя, отчество?

— Семен Иванович.

— Измена, Семен Иванович, для русского чело-
века — самое страшное преступление.

— А о Распутине знают?

— Это тоже наш козырь.

— Ну, конечно, и насчет царицы?

— Лютуют.

— Факты измены в самом сердце армии, развал тыла

и тому подобное — все это, конечно, аргументы против войны. Но главное: как кончить войну? Кончить ее можно по-разному.

— Понятное дело.

— Можно побросать винтовки и уйти из окопов. Так делают сотни тысяч солдат. Это — дезертирство.

— Понятное дело.

— Надо не выпускать из рук винтовок. Сохранить полк как боевую единицу.

— Понятное дело.

— Сейчас очень популярен лозунг: мир без аннексий и контрибуций.

— Да, да, это верно.

— Вредный лозунг!

— Вредный?

— Разумеется. Что значит мир без аннексий и контрибуций? Это значит — кончить войну вничью и разойтись по домам. Так ведь?

— Так.

— Ну, а правильно это?

— Я так понимаю, Семен Иванович...

— Как?

— Мир без аннексий и контрибуций, а потом революция.

Василий улыбнулся.

— Не выйдет так, товарищ Кутузов. Мир сразу настроит людей на мирный лад. Начнется демобилизация, и заряд пропадет. Идею мира надо пропагандировать одновременно с идеей революции. Долой войну, да здравствует революция — вот наш лозунг.

— У нас в полку всякий народ: рабочие, крестьяне, ремесленники, разный служилый народ. Многие боятся поражения. Возьмет, говорят, немец Украину, Польшу, Финляндию, прибалтийские губернии, а то и всю Россию.

— Подавится.

Кутузов улыбнулся:

— Я им как раз и говорю — подавится.

— Ну вот, у нас с вами одни мысли. Главное, товарищ Кутузов, держать полк в своих руках.

— Понятное дело. Нам бы листовочек.

— Я привез.

— Вот это хорошо. Народ любит печатное слово. Любит слушать, когда читаешь.

Послышался стук колес.

— Кухня приехала, — сказал Кутузов. — Чечевицу привезли.

— Ну, до свидания. Я вижу, товарищ Кутузов, что мне у вас делать, собственно говоря, нечего. — Понизив голос, Василий добавил: — Прокламации я вам передам, только не для распространения, а для чтения. Смотрите, чтобы не попали в руки офицерам: начнется слежка, и ваша группа может провалиться. Я начну действовать в других частях. Как корреспондент, буду бывать у вас. На всякий случай запомните мой адрес в Сарнах: Гомельская улица, дом номер восемь.

— Гомельская, номер восемь, — повторил Кутузов.

Кутузов и Василий дружески расстались, условившись о следующей встрече.

Так Василий Рудаков в девятьсот шестнадцатом году установил связь с полком, в котором Виктор Заречный начал работу в тысяча девятьсот тринадцатом.

СНОВА У ТИХОГО ОКЕАНА

Виктор и Женя сошли с поезда — каждый из своего вагона — на стайции Седанка, расположенной у берега Амурского залива, в шестнадцати верстах от Владивостока. Вагон, в котором ехала Женя, был вторым от паровоза, вагон Виктора — шестым. Выйдя из вагона не на перрон, а к заливу, Женя сбежала с железнодорожной насыпи и медленно пошла по берегу в сторону Владивостока. Виктор следовал за ней. Наконец он нагнал ее.

Они остановились у воды. Виктор замер, очарованный красотой широко раскинувшегося, спокойного в этот час, с детства любимого им залива.

— Ну что может быть прекраснее? Во мне все дрожит от счастья, что я снова вижу его!

— Ты его любишь больше, чем меня, — сказала Женя не то шутя, не то серьезно.

— Я вас обоих люблю больше жизни. — Виктор коснулся рукой воды, будто приласкал ее, взял отполированный водой белый камень. Снял шляпу. — Давай блины печь. — Он потрянул своей шевелюрой, нагнулся и с силой запустил камень. Камень побежал по воде,

пыряя и подпрыгивая над водой. Виктор считал, сколько раз камень подпрыгнет.

— Восемь! Ну, теперь ты.

Женя бросила камень, и он сразу же, булькнув, утонул.

— Эх, ты! Совсем не умеешь печь блины.

— Не умею, — Женя виновато улыбнулась.

Они пошли дальше по берегу. Скоро дорога круто повернула влево, пересекла полотно железной дороги и поползла по сопкам.

Солнце клонилось к огромным белым облакам, застывшим, как снежные вершины гор, над сопками по ту сторону залива.

— Будет чудесный закат, — сказал Виктор. — Облака уже розовеют... Но к кому мы направимся? — задал он вопрос, адресуя его скорее к себе, чем к Жене.

— В самом деле... Идем и не знаем — куда.

Охранное отделение безусловно знало о побеге Виктора — из Балаганска, наверное, была прислана телеграмма, — и филеры, вероятно, следили за домом матери Заречного в надежде, что он, в случае приезда во Владивосток, придет к ней повидаться.

— Не пойти ли к Косте Суханову? — подумал вслух Виктор. — Костя каждое лето приезжает на каникулы во Владивосток. Может быть, уже приехал. И дом у него, мне кажется, вне подозрений.

— Решай сам, тебе виднее.

Было часов десять вечера. Город горел разноцветными огнями иллюминации по случаю победы, одержанной русскими войсками под командою генерала Брусилова на Галицийском фронте. Потоки оживленных людей текли по улицам.

— Как празднично! — заметила Женя.

— Да... Победа! Удивительно! — отозвался Виктор,

Кости не оказалось в городе, он еще не приехал из Петрограда.

— В таком случае пойдем к Уссурийцевым, — предложил Виктор.

— Я никого из них не знаю.

— Я знаю всю семью.

— Сам Уссурийцев, кажется, сидел в тюрьме?

— Сидел.

— Значит, на счету у охраны?

— Ну, сидел он давно, в девятьсот шестом году. Одну-то ночь переночевать у них можно.

— Смотри!

Николай Петрович Уссурийцев был колоритной фигурой в городе, одним из аборигенов Владивостока: журналист, поэт, редактор газеты, общественный деятель радикального направления, краевед. Двери дома Уссурийцева на Абрекской улице всегда были открыты для политических ссыльных, живших во Владивостоке до 1905 года; здесь не раз бывала Волкенштейн, на смерть которой Уссурийцев написал и опубликовал в журнале «Природа и люди Дальнего Востока» одно из задушевных своих стихотворений; в кабинете у него сжививали Николай Морозов, известный исследователь туземных народностей Сахалина Штернберг и другие народо-вольцы.

Сюда наши путники и направили свои стопы.

В гостиной у Николая Петровича Уссурийцева — на втором этаже кирпичного дома, — которая в то же время служила ему и кабинетом, помимо хозяина, находился неизвестный Виктору человек. Человек этот, одетый во все черное, покачивался в венской качалке, стоявшей в углу. При появлении Виктора человек снял пенсне с носа, покрытого синими прожилками, протер стекла цветным носовым платком и посмотрел на Виктора. Его щупающий взгляд неприятно поразил Виктора. Руки у него слегка дрожали. Какое-то нервное возбуждение не давало ему спокойно сидеть в кресле; он ерзал и порывисто поворачивался то в одну сторону, то в другую.

Присутствие постороннего человека не позволило Виктору сразу сказать об истинной цели его прихода.

— Я, Николай Петрович, пришел к вам с просьбой помочь мне выяснить один вопрос.

— Пожалуйста, присаживайтесь. — Уссурийцев указал на черные венские стулья у круглого стола. Стол стоял в углу между двумя окнами: одно выходило на Абрекскую улицу (наискосок стоял дом Пляскина, где в девяностых годах жил лейтенант Шмидт), другое — на Золотой Рог.

Виктор и Женья сели по обе стороны стола.

Николай Петрович подошел к своей конторке в противоположном углу, прислонился к ней, скрестил руки на груди и приготовился выслушать вопрос Виктора.

Уссурйцев был невысокого роста, коренастый, в длинном сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Нижняя часть лица его скрывалась в темной бороде и усах, которые он носил с молодых лет. Когда-то довольно густые пышные волосы теперь поредели, он стал стричь их короче и зачесывал ото лба назад. Большой открытый лоб стал еще шире и выше, потому что лысеть Николай Петрович начал со лба. И в глазах у него уже нет прежнего выражения душевной свежести: взгляд потускнел. Вокруг глаз — мелкие морщинки; сильно заметный прежде косой разрез глаз, переданный ему по наследству матерью-камчадалкой, теперь казался почти совсем горизонтальным. Физически однако он по-прежнему чувствовал себя бодрым и был неиссякаемо деятелен.

— Слушаю вас, — сказал Николай Петрович негромким, несколько приглушенным голосом очень приятного тембра.

Виктору был действительно не ясен один вопрос, связанный с историей основания Владивостока. Он знал, что в 1860 году в бухте Золотой Рог впервые высадились русские и основали здесь военный пост. Но как они проникли в эту бухту, кто, собственно, руководил этой экспедицией, он не знал. Об этом Виктор и спросил Николая Петровича.

— Это заслуга Муравьева-Амурского, — ответил Николай Петрович. — Это он послал сюда экспедицию контр-адмирала Казакевича. Недаром же полуостров, на котором расположен Владивосток, называется Муравьев-Амурский.

— В вашем очерке истории Владивостока об этом ничего не сказано, — заметил Виктор. — Напротив, вы считаете инициатором устройства здесь порта, хотя и отчасти, адмирала Завойко.

— Ваше замечание справедливое. Я не располагал тогда материалами, свидетельствующими о том, что граф Муравьев-Амурский еще в июне тысяча восемьсот пятьдесят девятого года на пароходе «Америка» в сопровождении нескольких корветов обследовал все бухты залива Петра Великого, от мыса Поворотного до Посьета. Заходил он и в Амурский залив, прошел до устья

Суйфуна. Он дал название всем бухтам. В ноябре же года Муравьев-Амурский приказал командиру морской флотилии и портов Восточного океана контр-адмиралу Казакевичу занять берега бухты Золотой Рог и Посыета. Будущий военный пост в бухте Золотой Рог Муравьев-Амурский назвал Владивостоком, значит «Владей Востоком». На следующий год в бухту Золотой Рог вошел военный транспорт «Ильжур» и высадил сорок солдат четвертого линейного батальона под командою прапорщика Комарова. Вот и был основан наш город.

Рассказывая дальнейшую историю Владивостока, Николай Петрович то и дело вспоминал о каком-нибудь происшествии из его личной жизни, которая тесно была связана со всей жизнью любимого им края.

Он был привезен во Владивосток трехлетним ребенком в 1868 году, когда самому Владивостоку было всего семь лет. Его отец Петр Матвеевич по окончании курсов в Кронштадтской морской школе в Кронштадте был назначен для службы в русское императорское консульство в городе Хакодате в Японии. По дороге в Японию женился на камчадалке Февронии Николаевне Кривошеиной. Тут-то, в японском портовом городе, в следующем году и родился Николай Петрович. Грудью кормила его няня — миловидная худенькая японочка Иёсико, носившая своего молочного сына за спиной и напевавшая на бамбуковой флейте японские мелодии. В городе Хакодате это был первый русский ребенок, когда Иёсико гуляла со своим Никорашкой, как называла она его, не выговаривая букву «л», то за нею шли толпы японок, любовавшихся белолицым, с большими глазами красивым русским кодомо¹. Петр Матвеевич никак не мог разобраться, у кого же больше любви к ребенку: у жены его Февронии Николаевны, или у няни, кормившей его своей смуглой, совсем еще девичьей грудью, или у сосок, из которых бежало в рот его сыну такое теплое японское молоко. Иёсико стыдливо закрыла грудь от взоров Петра Матвеевича, а он — ему было тридцать пять лет — испытывал странное чувство

¹ Кодомо — по-японски ребенок.

к ней. Это была вторая его жена. Первая родила ему сына, вторая выкармливала его своей грудью. Когда маленького Никорашку отняли от груди Иёсико, Петр Матвеевич захотел от нее ребенка. И это случилось бы, потому что и Иёсико хотела от Петра Матвеевича черноглазого ребенка с русско-японской кровью в тонких розовых жилках. Но этого не произошло потому, что Петра Матвеевича неожиданно откомандировали для службы в Николаевск-на-Амуре. Когда пароход уходил из Хакодате, Петр Матвеевич не отрывал глаз от берега, от хуленького личика, глядевшего на него из толпы японцев, провожавших русский пароход. А когда пароход ушел, и люди ушли, и опустела пристань, Иёсико спряталась за желтые кадки, стоявшие друг на друге, и закрыла лицо руками...

Николай Петрович пробивал дорогу в жизнь крепким лбом и большим умом, не кончая университета.

— Но я глубоко раскаиваюсь, — говорил он, — что в жизни не поставил себе определенной цели. Разбрасывался я, хватался за то, за другое — за стихи, за журналистику... Лучше сделать немного, но сделать хорошо. Я вот присматриваюсь к своим ребятам: повторяют они мои ошибки. «Не гонитесь за суетной славой, — говорю я им. — Поменьше чужого, побольше своих мыслей». Козьма Прутков говорил: «Многие люди подобны колбасам: чем их начиняют, то они и носят». Самое страшное — быть подобным начиненной колбасе.

Пока Николай Петрович рассказывал, человек в качалке, не переставая, курил сигару; дым сизыми волнами ходил вокруг него. По-видимому, человек этот хорошо знал жизнь Николая Петровича и слушал его рассеянно, интересуясь больше гостями его и рассматривая их.

Разговор перешел на тему о войне, о положении на фронте, о развале тыла.

— Однако вот на Галицийском фронте победа, — сказал человек, сидевший в качалке. — Наши казаки были в ставку командующего английским Месопотамским корпусом. Высадка русских солдат в Марселе — это доказательство твердой воли союзников победить Германию. Знамя России развевается рядом со знаменами Франции, Великобритании, Италии, Бельгии.

— России нужна очищающая революция, — сказал Николай Петрович.

— Что значит очищающая? — спросил небрежно человек, слегка покачиваясь в качалке.

— Революция, которая бы очистила авгиевы конюшни наших министерств, департаментов и самого Зимнего дворца.

Уссурийцев не был революционером, хотя и читал Чернышевского, Герцена (имел полный комплект «Колокола»), преклонялся перед такими народовольцами, как Николай Морозов, Людмила Волкенштейн. Революцию он представлял как вихрь, который должен смести самодержавие, не тронув всего прочего, с чем связаны были быстротекущие дни жизни как его личной, так и всего общества. Городская дума, где он был гласным, конечно, должна остаться на своем месте; собственный дом его так и должен остаться собственным его домом; фанерный завод Скидельского на Океанской, разумеется, по-прежнему должен принадлежать этому богачу, а кожаный завод — Зильгалву. Другого порядка в городе, в крае и вообще в России он не представлял.

«Как в этом человеке, — думал Виктор, — с его умом, идейностью, его любовью к представителям самой крайней революционной практики, с его борьбой в стихах и в журнальных статьях за свободу и счастье народа, уживается такая межеумочная идеология? Это непонятно».

Виктор не стал заводить разговора на эту тему. Он почему-то отвратительно себя чувствовал в присутствии неизвестного человека, сидевшего, слегка покачиваясь, в качалке и смотревшего на него шупающими глазами.

— Однако мне пора, — сказал неизвестный человек, поднимаясь с качалки. — Очищающая революция, — пробурчал он. — Очищающая!.. Вы не собираетесь на лекцию Бальмонта? — спросил он Николая Петровича. — В понедельник в «Чашке чая» он будет читать о грузинском поэте Руставели и поделится впечатлениями о своей поездке в Японию.

— Обязательно буду, — ответил Уссурийцев.

— Ну, тогда до понедельника.

— До свидания.

Выкидывая слегка вперед колени длинных своих ног в узких касторовых брюках, человек попрощался и

направился в прихожую. Здесь он набросил на плечи черную накидку без рукавов, надел на голову котелок, взял трость и не торопясь вышел на улицу, где была уже ночь.

— Кто этот господин? — спросил Виктор.

— Это журналист Сикорский Андрей Васильевич. Читали фельетоны за подписью «Сэр Кий»? Это он.

— Не читал и не знаю его.

— Почему вы спрашиваете?

— Да так.

Николай Петрович уловил во взгляде Виктора недоверие.

— Он часто бывает у меня, — сказал Николай Петрович. — Ну, пойдёмте чай пить.

За длинным во всю комнату столом собралась почти вся семья Уссурийцевых. У большого медного самовара сидела жена Николая Петровича Мария Даниловна, необыкновенно полная женщина, в дружбе с которой находилась мать Виктора. Серафима Петровна гуляла на свадьбе у Марии Даниловны. Это было каких-нибудь тридцать лет назад, на заре Владивостока, но за это время Мария Даниловна успела родить пятнадцать человек детей, десять из которых сидели сейчас за столом и пили чай.

— Прошу садиться, — проговорила Мария Даниловна.

Виктор и Женя сели. Уселся и Николай Петрович.

— Чаю с балыком, — сказал он. — Любите кетовый балык? Пища богов.

Утром Виктор послал с одним из детей Уссурийцева записку матери. Вздвигнутая неожиданным приездом сына, Серафима Петровна даже в присутствии чужих людей не могла сдержать слез. Виктор обнимал ее (мать была ему как раз по подбородок), и что-то похожее на угрызение совести больно шевельнулось у него в груди. Не видела мать от него радостей. Одно горе и слезы — слезы при расставании, слезы тоски в разлуке; даже радость при неожиданных встречах, и та омрачалась горечью от сознания, что встреча эта так непрочна, так недолга; тут же ее охватывал страх за его судьбу.

«Как же я виноват перед ней! — думал Виктор, при-

жимая к себе совсем состарившуюся мать. — Чем испить свою вину?.. Милая ты моя, старушечка...»

Женя понимала, что происходило в душе и у Виктора и у Серафимы Петровны, и вспомнила она о своей матери, о своем отце.

— Хватит тебе, Витя, — сказала она наконец. — Вы совсем забыли обо мне. Дай мне обнять маму.

Услышав из уст Жени слово «мама», Серафима Петровна восторженно и протянула руки к невестке.

Ушла Серафима Петровна с тревогой на сердце: пока Виктор был в ссылке, спокойнее было на душе; теперь опять не будет сна.

«Что же он будет делать, где жить?» — думала она, идя по Абрекской улице, потом по Маньчжурской, поднимаясь в гору, к себе, в Рабочую слободку. А сын-то какой! Сколько в его глазах любви, покорности. Волосы-то у него какие: тонкие, мягкие. Такой и характер — мягкий. Никогда он ей не перечил. Даже в детстве она не слыхала от него грубого слова; десяти лет, после смерти отца, бывало помогал он ей мыть полы, ездил за сто верст в Никольск, к крестной своей матери за курами (там они были очень дешевы). И жена ему досталась, дай бог ей здоровья и счастья, хорошая. Впрочем, какое уж тут счастье! Ни дома, ни хозяйства, ни детей. Давно бы уж Серафиме Петровне надо быть бабушкой, но и в этом нет ей отрады: не знает она бабушкиных радостей. Видно, уж судьба такая; положено, знать, жить такой жизнью.

Положение Виктора и Жени не было таким тяжелым, как думала Серафима Петровна. От Уссурийцева они на другой день перебрались в Голубиную Падь, где сняли комнату на улице Тургенева. Женя была свободным человеком и скоро устроилась на работу в городскую больницу, а Виктор возобновил свою деятельность журналиста.

Так началась их новая жизнь у Тихого океана.



Часть вторая
ТЕНЬ ИУДЫ

НА МЫСЕ ЧУРКИНА

Сдав зачеты, получив от Петроградского комитета социал-демократической организации литературу и явку к рабочему владивостокского военного порта Антониюку, Костя Суханов вместе с женой своей поехал на родину, в Приморье. Через тринадцать дней они были во Владивостоке.

Магдалина Леопольдовна встретила дочь в дверях со слезами. Она прижала к себе плачущую Александру Александровну, и у нее не было слов утешения. Она чувствовала себя виновницей смерти Марка: взяла на себя ответственность за жизнь ребенка и не оправдала доверия дочери и зятя, хотя и знала, что Марк умер не потому, что она плохо ходила за ним, а потому, что был он слабым ребенком.

Печально было возвращение дочери из Петрограда. На Покровском кладбище, где похоронили Марка, было тихо, как на всех кладбищах мира, и только шумели деревья, но шум их не был похож на тот, каким шумит зеленая листва в лесу, особенно весной, когда пробуждается жизнь. Здесь, на кладбище, в шелесте деревьев слышалась жалоба на кого-то, кто не дал пожить на этой прекрасной земле, увел во мрак, в небытие...

Костя, его жена и Магдалина Леопольдовна шли молча по дорожке, прислушиваясь к горестному шелесту деревьев.

Могилка Марка была заботливо обложена дерном; из травы глядели нежноглубые незабудки. Они были трогательны, и Александре Александровне казалось, что это глаза Марка, что это он глядит на нее своими нежно-

голубыми глазками. Она опустилась на колени, припала лицом к незабудкам и зарыдала. Стайка воробьев, сидевших на рябине в ограде соседней могилы, с шумом поднялась и улетела. Костя с обнаженной головой стоял в глубоком молчании, опустив голову...

Поздно вечером к Виктору Заречному в Голубиную Падь пришла Серафима Петровна. Виктора удивил приход матери, и особенно странным показался необыкновенный наряд ее: на ней было чье-то чужое пальто и соломенная шляпка с цветами (сколько Виктор помнил свою мать, никогда она не надевала шляпы).

— Что случилось, мама?

— Ничего, сынок, не пугайся.

— Вас не узнать в этом наряде, — сказал он.

— Я и нарядилась для того, чтобы не узнали меня... чтобы не привести за собой сыщика. И пришла я сюда не из дома. Ты, Витенька, будь покоен.

Виктор поцеловал мать.

— Вы, мама, умница.

— А где Женя-то?

— На дежурстве в больнице. Сегодня у нее ночное дежурство.

— Вчера, — почти шепотом сказала Серафима Петровна, — ко мне приходил Константин Суханов, студент, сын старика Суханова, спрашивал про тебя.

— Да? Ну, и что вы сказали?

— Я сказала, что ты в ссылке. Я, говорит, знаю, что в ссылке. Мне бы, говорит, его адрес. Я просто не знала, что ответить. Придите, говорю, дня через два. Так неловко было. Можно дать ему твой адрес?

— Можно, мама, можно. Скажите, что я буду ждать его в среду, в девять часов вечера.

— Хорошо, в среду... Ну, как ты тут, сынок? — Серафима Петровна оглядела комнату.

— Хорошо, мама.

— Порядок у тебя в комнате, все прибрано, чистота. Видать, Женя-то хозяйственная. Да и ты любишь аккуратность. Это у тебя от меня. Страсть не люблю нерях. — Она выглянула в окошко. — Палисадничек у вас хороший, цветы. Хозяйки-то нет дома?

— Ушла куда-то.

— А как она?
— Очень хорошая женщина
— Как звать?
— Фелицата Даниловна.
— Одна она?
— Одна.
— Чем же живет?
— Сын присылает, он работает машинистом на Пограничной, да вот комнату сдает.
— Так, так... Ну, я пойду, Витенька.
— Что вы, что вы! Не успели прийти и уже уходить.
Посидите. Чаю поьем.
— Ну, чашечку выпью.
Виктор и Серафима Петровна пошли на кухню ставить самовар.

В назначенное время Костя Суханов пришел к Виктору Заречному в Голубиную Падь.

— Здорово, Виктор.
— Здорово. Давно приехал?
— На днях.
— Из Питера?
— Из Питера.
— Ну, как там?
— Тебе привет.
— От кого?
— Никогда не догадаешься. От большого друга.
— От большого друга? Ты, брат, заинтриговал меня.
Говори. Не могу догадаться.

— От Василия Рудакова.
— От Василия? — Виктор был изумлен. — Расскажи, расскажи, как же ты встретился с ним? Ведь вы не были знакомы. Чудеса, честное слово!

Костя Суханов подробно рассказал о своем свидании с Василием Рудаковым на Большой Разночинной улице, о своих связях с петроградской социал-демократической организацией и дал Виктору адрес Василия.

— Ну, спасибо тебе, Костя, за такое сообщение. Ведь мы с Василием большие друзья.

— Он говорил.
— Говорил? — живо переспросил Виктор.
— Из его рассказов я понял, что он очень привязан к тебе.

— Да? — Виктор приходил все в большее возбуждение.

— Это чувствуется.

Виктору было приятно слышать это. Он питал к Василию не только дружбу. Он любил его, как родного брата. Да что брата! Не у всяких братьев такие братские отношения, какие сложились у Виктора Заречного и Василия Рудакова. Это редкий случай, когда учитель превращается в простого друга, когда ученик становится ровней учителю. Виктор Заречный вообще отличался особенностью быстро сходитьсь с людьми, привязываться к ним и был постоянен в своих привязанностях. Да и Василий Рудаков не из тех, кто чуждается людей. Поэтому-то рассказ Кости Суханова о встрече его с Василием Рудаковым взволновал Виктора.

— Просил тебя написать ему, — сказал Костя.

— Сегодня же напишу. Не говорил, какие у него планы?

— Рвется сюда.

— Да что ты?!

— Да, с такой любовью говорил о Владивостоке. Он просто влюблен в наш город.

— Приедет Василий! — сказал, задумавшись, Виктор. — Обязательно приедет.

Виктор в свою очередь рассказал о встрече с Федей Угрюмовым.

Когда закончились их взаимные рассказы о друзьях, они перешли к делу.

Костя Суханов сказал, что получил явку к рабочему порта Антонюку и что на 17 июля на мысе Чуркина назначено собрание группы портовых рабочих.

— Примешь участие? — спросил Костя.

— Что за вопрос?

— Приходи. — Костя подробно описал место, где назначено собрание. — А завтра давай встретимся у Антонюка, обсудим повестку собрания.

На этом они расстались.

В воскресенье 17 июля Виктор Заречный спускался мимо городского сада к пристани. В углу сада вертелась карусель с ребятами на деревянных лошадках; весело насвистывала шарманка. На парусиновой занавеске

веске, скрывавшей шарманку и человека, приводившего в движение карусель, болталась афиша:

ТЕАТР «ЗОЛОТОЙ РОГ»

ИЛЛЮЗИОН

В воскресенье 17 июля 1916 г.

Русский шедевр

«ВЧЕРА Я ВИДЕЛ ВАС ВО СНЕ»

У пристани стояли в ряд, кормой к берегу, десять шампунков с поднятыми мокрыми парусами (утром был дождь, а сейчас сияло солнце, и паруса сохли). Лодочники — все, как один, в летних белых, хотя и не первой свежести, костюмах, с круглыми черными пуговками на куртках и в европейских фетровых шляпах — сидели в своих лодках, покуривали длинные трубки, разговаривали между собой; один из них пиликал на хуцире. Завидя Виктора идущим к пристани, они бросились к нему навстречу, крича на всю пристань:

— Капитана! Моя ходи! Моя ходи!

— Капитана!

— Моя первый миндроса! ¹ Моя первый!

Лодочники окружили Виктора, и каждый старался заманить его в свою шампунку. Знакомая, родная картина! Виктор улыбался и готов был сесть сразу в десять шампунков, но он прыгнул в одну из них, в которой скамья и крышка люка над «спальней» лодочника были покрыты одеялом с изображенным на нем большим, во все одеяло, полосатым тигром. Обрадованный пассажиру, лодочник выбил табак из трубки, положил трубку на полочку в кормовом отделении, обмотал вокруг головы косу и оттолкнул багром лодку от пристани. Шампунка поплыла.

— Миноносец! — похвалил Виктор лодочника

Китаец добродушно засмеялся:

— Моя первый!

В бухте Золотой Рог не стояли, как бывало прежде, военные корабли Тихоокеанской эскадры. «Рюрик» погиб в бою во время русско-японской войны. «Аскольд» отправлен в начале войны с Германией в Средиземное

¹ Это означало, что его шампунка самая лучшая, ходит быстро, как миноносец.

море для совместных действий с англо-французским флотом. Судьба других судов Виктору была неизвестна. Сейчас одиноко стояли вспомогательный крейсер «Печенга», транспорт «Шилка» да остатки первой и второй Тихоокеанских эскадр — миноносцы «Бравый», «Грозный», «Лейтенант Малеев» и другие. Зато повсюду чернели плоскодонные шаланды и шампунки — китайский коммерческий «флот» в русских водах.

Виктор велел лодочнику пристать на Чуркине неподалеку от цинковых пакгаузов. Справа от пакгаузов начиналась дорога в бухту Диомид. В стороне от этой дороги, в лесу, и было назначено собрание, на которое ехал Виктор.

Виктор вспомнил, что как раз в этом лесу девять лет назад были арестованы Гриша Доколе и группа матросов, выданные предателем Дятловым. Пробираясь сквозь мокрые кусты и деревья, он вспоминал имена многих провокаторов, при помощи которых правительству удавалось раскрывать подпольные организации. Иуда, наверно, не думал, что с его «легкой руки» предательство на земле расцветет таким махровым цветком и что имя его на тысячи лет будет служить синонимом самого тяжкого преступления человека против человека.

Поплутав по лесу, Виктор нашел место собрания. Трава была мокрая, и никто — было человек десять, в том числе и Костя Суханов, — не садился, все стояли.

Присутствие студента Марка, облеченного полномочиями Питера, придавало торжественность собранию. Марк стоял под черемухой, у которой уже завязались плоды, держась одной рукой за ствол.

— Центральный Комитет Российской социал-демократической рабочей партии, — говорил он, — призывает рабочих, крестьян и солдат превратить происходящую между капиталистическими странами войну в войну гражданскую. Этот лозунг был выдвинут еще полтора года назад, в самом начале войны. Военные события этих полутора лет, полный развал тыла показали, что другого пути, как только революция, у русского народа нет. Перед организацией, которую мы сегодня создадим, главной задачей будет стоять агитация против войны, пропаганда идеи превращения этой войны в войну гражданскую; то есть в революцию. В сентябре прошлого года в Швейцарии, в городе Циммервальде, состоялась

интернациональная социалистическая конференция. Читал ли из вас кто-нибудь манифест этой конференции?

Оказалось, что никто из присутствующих не только не читал Циммервальдского манифеста, но и ничего не слышал о нем.

— Разрешите, я зачитаю его, — сказал Марк.

— Просим, — раздалась дружно голоса, и все стихло. Слышно было только, как стучал дятел о дерево.

— «Пролетарии Европы! — торжественно прозвучали слова знаменитого манифеста, под которым среди подписей социалистов многих стран мира стояла подпись и русского социалиста Ленина. — Более года длится война. Миллионы трупов покрывают поля сражений, миллионы людей превращаются на всю жизнь в калек. Европа превратилась в гигантскую человеческую бойню. Трудami многих поколений созданная культура отдана на расточение. Самое дикое варварство торжествует ныне свою победу над всем, что составляло гордость человечества... Мы, немцы, французы, итальянцы, русские, поляки, латыши, румыны, болгары, шведы, норвежцы, голландцы и швейцарцы, собрались для того, чтобы вновь восстановить порванные международные связи и призвать рабочий класс вспомнить о своем долге по отношению к самому себе и приступить к борьбе за мир. Никогда раньше в мировой истории не было более настоящей, более высокой, более благородной задачи, выполнение которой должно явиться нашим общим делом. Нет таких жертв, нет таких тягот, которые были бы слишком велики для достижения этой цели: мира между народами...»

Глубокое молчание сопровождало чтение манифеста. Каждое слово его едва ли не для большинства присутствовавших было неожиданно.

Закончив чтение манифеста, Марк сказал:

— К сожалению, многие видные социал-демократы и социалисты, как у нас в России, так и за границей, не внемлют словам этого манифеста, забыли лозунг, выдвинутый еще Базельским международным конгрессом в тысяча девятьсот двенадцатом году: «Война войне». Вы, вероятно, читали в газетах, что французский социалист, видный деятель Второго Интернационала Альбер Тома недавно посетил Петроград. Но он приезжал к нам не для агитации против войны. Как това-

рищ министра военного снабжения Франции, этот «делец» Второго Интернационала сговаривался с русским царем Николаем насчет посылки на французский фронт русских солдат для защиты интересов французских буржуа.

Возгласы негодования прервали речь Марка:

— Значит, Россия будет снабжать Францию пушечным мясом?

— Погонят русских солдат, как скотину на бойню! Марк ответил:

— Выходит, что так.

Говоря о распространявшейся в рукописном виде резолюции группы русских социал-демократов о задачах революционной социал-демократии в европейской войне, которую называли тезисами Ленина, Марк с большим ораторским мастерством показал вредность лозунга «защиты отечества».

Слушая его, Виктор Заречный думал о том, что за этот год, что они не виделись, Костя сильно вырос духовно. Виктор угадывал в нем политического деятеля высокого полета, и Костя Суханов действительно был молодой орел, расправлявший свои крылья.

— Социал-шовинисты во главе с Плехановым, — закончил свою речь Марк, — стараются доказать разницу между войной оборонительной и войной наступательной. Они за войну оборонительную, за «защиту отечества», за защиту самого реакционного правительства, царя, капиталистов и помещиков. А мы, революционные марксисты, во имя защиты отечества от царя, от капиталистов, от помещиков говорим: долой войну, да здравствует социальная революция!

Марк снял с головы фуражку с голубым околышем и отошел от черемухи.

Наступило молчание. Речь Марка у большинства из присутствующих вызвала противоречивые чувства. С одной стороны, надо было действительно кончать с войной; с другой, страшно было подумать: поражение родины! Россия стремительно катилась к военной и экономической катастрофе. Положение страны было столь трудное, что крупные политические умы, революционеры с безупречным прошлым и те колебались в выборе тактики, а многие становились на ложный путь. Надо было освободиться от груза того «патриотизма», той ложной

любви к родине, которые всасывались с молоком матери, о которых твердили в школе и звонили во все колокола со страниц газет и журналов. Надо было иметь мужественное сердце и прозорливый ум, чтобы не побояться поражения в войне своей родины. Поэтому-то речь Марка и была встречена глубоким молчанием, лишь для немногих этот вопрос был решенным.

— Говори, — обратился Костя к Виктору Заречному.

Виктор Заречный не отличался пламенностью речи, подобно Марку, но он привлекал слушателей простотой изложения своих мыслей. Все, что он говорил, было понятно людям самого разнообразного склада ума, самого различного образования. Ни один из слушателей не терял нити его речи. Вывод был ясен каждому еще до того, как Виктор делал его.

— Сейчас, как никогда, — сказал он, — надо помнить указание центрального органа нашей партии — «Социал-Демократа», что вооруженное восстание в России будет успешно, если в нем примет активное участие армия. Вооруженное восстание должно преследовать ближайшую цель превращения войны империалистической в войну гражданскую. Эти два требования: участие армии в революции и превращение войны империалистической в войну гражданскую, тесно связаны друг с другом. Без участия армии не может окончиться победоносно революция; без армии войну империалистическую не превратить в войну гражданскую.

Дальше Виктор напомнил три печальных факта из истории революционного движения в Приморье, когда армия и флот принимали не только самое активное участие, но были главной силой в революции, а между тем выступления войск и флота потерпели поражение. В памяти присутствующих он воскресил яркие, но и столь же горестные картины солдатских и матросских восстаний во Владивостоке.

— Поэтому, — сказал он, — для победы революции нужно еще одно, третье условие: большевистское руководство и армией и самой революцией.

Речи Марка и Виктора на этом собрании были главными и по существу единственными. После их выступления состоялся обмен мнениями. Марк, как посланец Петроградской социал-демократической организации, был избран председателем комитета группы. И никто не

думал, что собрание это войдет в историю революционного движения в Приморье и будет связано с именем Марка. После многих лет перерыва здесь, где девять лет назад была предана большевистская военная группа, рождалась новая подпольная организация социал-демократов.

Но терниста была дорога, по которой шли Виктор Заречный, Марк и другие, примкнувшие к молодой организации владивостокских социал-демократов. Много подводных камней скрывалось на пути у них. Удачи редко радовали их. Каждый день приносил разочарования. Тень Иуды следовала за ними.

ПОСПЕЛОВСКИЕ ОГНИ

Двадцатого июня 1916 года Россия и Япония подписали соглашение, которое рассматривалось как политическая конвенция, почти союз этих государств. Подписавшие соглашение взаимно гарантировали неприкосновенность того и другого государства от посягательств с чьей бы то ни было стороны. России надо было обеспечить тыл, а Японии — условия, при которых она могла продолжать ловить рыбу в мутной воде. Конвенция усыпила бдительность России на Дальнем Востоке. Со многих батарей и портов крепости Владивосток были сняты орудия. Разоружены были батареи Иннокентьевская, Куперовская, Саперная, Тигровая, форты на Первой Речке и Океанской. Говорили, что была снята береговая артиллерия на Русском острове — этом дальневосточном Кронштадте, охраняющем вход во Владивосток. В полном составе со штабом отправлены на фронт пехота, горно-артиллерийские дивизионы, подвижные части. Во Владивостоке остались, да и то не полностью, первый, второй и третий крепостные артиллерийские полки. Лишь один четвертый полк нес сторожевую службу по охране территории порта и железной дороги. Приходи и бери Владивосток, а с ним и все Приморье голыми руками.

В случае поражения России на германском фронте Япония, по предположению Виктора Заречного, должна была предпринять шаги к аннексии Приморья, как она это сделала в отношении Кореи после поражения России в войне с Японией. В 1906 году Япония проглотила

Корейский полуостров, не подавившись, и стала соседкой России на суше: за несколько дней можно было дойти пешком от Владивостока до русско-японской границы, протянувшейся недалеко от Посьета, куда Виктор Заречный в 1907 году ездил с целью исследовать возможность перехода через нее политических эмигрантов.

Но не эти политико-стратегические соображения руководили Виктором Заречным в его поездке на Русский остров. Тут играли роль все те же указания «Социал-Демократа» о значении армии в революции. Овладеть во время революции Русским островом — это значило обеспечить победу революции в Приморье. «Если Владивосток, — рассуждал Виктор Заречный, — форпост революции на Дальнем Востоке, то Русский остров — ключевая сопка этого форпоста».

Виктор Заречный стоял у борта небольшого парохода «Инженер» и вглядывался в туман, стараясь разглядеть берега. Непрерывно гудел колокол на мысе Голдобина. Вот и безлюдный мыс показался слева в узком выходе из бухты Золотой Рог.

Бум-бум-бум! — предупреждал мореплавателей об опасности скрытый в тумане голдобинский колокол.

Вход в бухту Диомид закрыт туманом. Не виден и выход в открытое море. И оттуда плыл густой туман.

Но вот обрисовались два маяка, так называемые Поспеловские створные огни. «Инженер» подошел к пристани — узкому каменному молу.

У самого берега, между маяками, стоял домик смотрителя, или «младшего служащего Поспеловских огней», как официально именовалась должность Максима Андреевича Дубравина.

Дубравин — человек среднего роста, с густой черной шевелюрой, рыжей бородой и тихими глазами, говорившими о спокойном нраве этого человека. Он сидел на скамье в палисаднике. Перед ним на столе, с трудом держась на ножках, то и дело присаживаясь на замаранный зад, стоял хилый пестрый индюшонок. Дубравин кормил его мелко изрезанным крутым яйцом. Перед окном, выходящим в палисадник, росли волчьи ягоды. На одной из клумб, тщательно обложенной дерном, синели анютины глазки.

— Максим Андреевич? — спросил Виктор Заречный, входя в калитку палисадника.

— Я.

— Смотритель маяков?

— Он самый.

— Меня к вам направил Михаил Яковлевич Крюков.

— Михаил Яковлевич? А! — Дубравин посмотрел на Виктора веселыми, добродушными глазами.

— Мне бы переночевать у вас одну ночь.

Дубравин бросил на Виктора пытливый взгляд, но сказал:

— Да хоть и больше. Место найдется... Присаживайтесь... Вот захирел индюшонок... Который день выхаживаю. Главное — не ест. Что ты будешь делать!.. А вы по какому делу на Пospelов?

— У меня тут приятель-солдат.

— А! — Дубравин опять с недоверчивой искоркой в карих глазах посмотрел на Виктора.

— Я вам, Максим Андреевич, объясню все потом.

Тут уж Дубравин заметно насторожился, но, не глядя на Виктора Заречного, а поднося к клюву индюшонка мелкие кусочки яичного желтка и белка, сказал:

— Да нет, вы не сумлевайтесь. Мне все равно, по какому вы делу. Я рад гостю. Место найдется... Вот беда: не ест. Пропадет! Что ты будешь делать!

— Да, — сказал Виктор. — Чем-то он болен.

Индюшонок то закрывал, то слегка открывал мутные, ничего не видящие глаза. Он был ко всему равнодушен. Только изредка издавал жалобный писк.

— Жалуется, — сказал Дубравин. — Издохнет, — с сожалением добавил он.

Максим Андреевич Дубравин любил разводить домашнюю птицу: кур, уток, гусей, индюшек. Часами возился с ними. И огород у него был превосходный. Однажды с пристани в госпиталь возили картофель, и он подобрал клубень необыкновенного, не известного ему сорта: с фиолетовой кожурой. Он разрезал клубень по глазкам и посадил. Картофель выдался чудесный. Максим Андреевич развел его и потом снабжал всех пословских жителей. Картофель этот называли дубравинским. Любил он сельское хозяйство. Пробовал даже разводить арахис, или, как его называют на Дальнем Востоке, китайские бобовые орехи.

Родом Максим Андреевич Дубравин из Владимирской губернии, в 1890 году приехал новобранцем во

Владивосток, отслужил здесь действительную, полюбит край, и стало Приморье второй его родиной. С 1895 года находился он на службе по управлению маяков и лоции; несколько лет работал на голдобинском колоколе, а с 1908 года — на Пospelовских маяках. Пospelовские маяки были сооружения примитивные, дощатые, но содержал их Максим Андреевич в образцовом порядке. Снаружи они были побелены, издалека были видны две пирамиды, увенчанные как бы домиками с окошками и с балкончиком вокруг всего домика. На рефлекторы он наводил блеск, ламповые стекла начищал так, что на них не было ни одного мушиного пятнышка; фитили подрезаны, несколько раз в ночь вставал он с постели и шел посмотреть, не коптят ли они. На свою работу смотрел, как на дело большой важности. Оно и было большим государственным делом: Максим Андреевич охранял корабли от бедствий, от аварий. Любил он свое дело и был на хорошем счету у начальства, приезжавшего проверить, как работают маяки.

— Ну, пойдѣмте в дом, — сказал Максим Андреевич и взял со стола индюшонка.

Они вошли по ступенькам на крылечко. Одностворчатая, отворенная настежь дверь вела в коридорчик, а потом в кухню. В кухне Максим Андреевич положил индюшонка в корзинку, дно которой было устлано сеном.

— Сиди тут... Пожалуйте, — сказал он, указывая Виктору на раскрытую дверь.

Виктор Заречный вошел в небольшую, чисто прибранную комнату. Максим Андреевич появился вслѣд за ним. Он высунулся в окно и сказал:

— Туман пропадает. Будет хорошая погода.

Виктор тоже посмотрел в окно. Туман над водой действительно порозовел, почувствовалась близость солнца.

— Надоел, — проговорил Максим Андреевич. — Морсит и морсит каждый день.

— Я недавно вернулся во Владивосток, — сказал Виктор Заречный, — и мне, как здешнему уроженцу, приятны даже туманы.

В комнату вбежала со связкой еще живых ершей в руке черноглазая, с необычайно густыми, черными, туго заплетенными в косы волосами девочка на вид лет десяти — двенадцати.

- Смотри, папка, каких я... — Уви
ого, она смутилась и потупилась.

- Это моя меньшая, — сказал Мак
лов!

Девочка — ее звали Галей — посме

- Каких я больших ершей налови
приподняла нанизанных на беч
й. — Один желтый, вон какой...

- Хороши ерши, — похвалил Викт

- Вот ты нам этих ершей и
зим Андреевич. — Я люблю ершей
я к Виктору Заречному.

- Я всякую рыбу люблю, — ответ
и, обратившись к Гале, спросил ее
половить? Я тоже рыболов.

— Свожу. Теперь уже вечером или
не уедете?

— Завтра уеду.

— Тогда утром надо рано встать. В

— Очень рано?

— В шесть часов — самый клев.

— Ну, это не так рано.

— А меня разбудите?

— Разбужу.

Большие черные глаза у Гали забл

— Все лето ловит рыбу, — замети
евич, — а каждый раз, как идти на
столько, будто первый раз берется за
лов! Право слово!

— Да... — оправдывалась Галя, —
вить...

— Я об этом и толкую. Ну, поди п
чисти ершей и зажарь их нам.

— А мамка где?

— Мать с Надей ушла на Ларио
Там заночуют, а утром в город поеду
Девочка ушла на улицу чистить ер
любила чистить их. Ерши и после
ершисты, колют руки; пока чистишь и
лешь. Но сознание, что гость, — а В
Гале, — будет есть наловленных ею и
ных и поджаренных ершей, вызвало
радость. Обычно мать говорила: «Ну

мне некогда с ними возиться, чисть сама». На этом кончалась рыбная поэзия и начиналась горькая проза. А отец так деловито, серьезно сказал: «Почисти и зажарь нам ершей». Это подняло настроение у Гали. Она с усердием вспарывала животы у ершей, вынимала внутренности, мыла рыбу в жестяном тазу и складывала в глубокую тарелку.

Тем временем Виктор Заречный рассказал Максиму Андреевичу о цели своего приезда. А цель у него была: организовать группы среди солдат на действовавших батареях, главным образом на Русской горе, и в других воинских частях, расположенных на Русском острове. Надо было создать здесь сильную боевую организацию, которая могла бы в нужный момент захватить укрепленные пункты на острове. Предполагалось снабжать воинские части регулярно литературой.

— Как же вы думаете наладить это дело? — спросил Максим Андреевич.

— Вот я и хотел посоветоваться с вами, — ответил Виктор.

— Посоветоваться?

— Да.

Максим Андреевич задумался. Он был человек из народа, сочувствовал революции и готов был помочь Виктору.

— Дело это серьезное, — сказал наконец он.

— Да, конечно, дело серьезное. Я это учитываю. Вы знаете местные условия и дайте такой совет, чтобы меньше было риска. Только совет. Хотел бы я знать, какие тут батареи, какие воинские части.

— Это все известно. Это я вам скажу. А насчет совета: вам самому не стоит ходить по острову. Сразу обратят внимание.

— Есть здесь у нас один солдат... — сказал было Виктор.

— Какой части? — перебил его Максим Андреевич.

— Васильевской батареи.

— Ну, это дело другого рода. Только мало одного солдата на весь Русский остров, — Максим Андреевич серьезно посмотрел на Виктора.

— Понятно. Будем расширять связи.

Дубравин оживился:

— Я укажу вам хорошее место, где вы можете пря-

тать литературу, а люди ваши будут приходить туда и брать ее.

— Прекрасно! — воскликнул Виктор.

— Тут недалеко, за мысом, скала есть, в скале углубление такое, что и не видно и дождь не будет мочить.

— Папка! — послышался голос девочки из кухни. — Готово!

— Молодец она у меня.

— Действительно молодец!

— Трудолюбивая.

— Это хорошо.

— Рабочий класс! — весело воскликнул Максим Андреевич, и его темные глаза добро засмеялись. — Подай на стол, — приказал он дочери.

Галя вошла в комнату. Глянула на Виктора Заречного большими черными глазами и принялась накрывать на стол.

Сели к столу.

— А скумбрию вы любите? — спросила Галя Виктора.

— Люблю.

— Хотите, я вам наловлю скумбрии?

— Пойдем вместе.

— Пойдемте. Ершей весь день можно ловить, а скумбрия придет стаями и сейчас же уйдет. Только успевай ловить.

— Да ты действительно просто знаток этого дела.

Виктор в детстве был страстным рыболовом, но он не мог припомнить ни одной девочки, которая бы увлекалась рыбной ловлей. А эта — дочь смотрителя маяков — была просто удивительным рыболовом.

— Когда же идет скумбрия? — спросил Виктор.

— И утром и вечером, — ответила Галя. — Только она недолго бывает. Успевай дергать удочку. Пойдемте вечером. Я приготовлю удочки.

После обеда Максим Андреевич повел Виктора показывать скалу. Место действительно было и укромное и удобное. Оставалось только повидать солдата Васильевской батареи. Это дело казалось сложным. И Виктор и Максим Андреевич долго не могли придумать способа повидать солдата. Солдат этот, Семен Гвоздев, призванный из запаса (он и в русско-японскую войну служил

артиллеристом на Русском острове), был канониром на Васильевской батарее; вызвать его с батареи можно было только черед дневального.

— Разве Галю послать? — подумал вслух Максим Андреевич.

— Галю?! — с удивлением и вместе с тем как будто с одобрением переспросил Виктор.

— Да, Галю. Она отнесет Гвоздеву булки и записочку вашу.

— Это идея!

— Галя у меня девочка понятливая. Завтра как раз поскресенье. Гвоздев может взять увольнительную записку.

На этом они и остановились.

Перед вечером Виктор и Галя пошли ловить рыбу. На море все еще был штиль. Погода стояла чудесная.

До пристани — рукой подать. Берег усыпан галькой и ракушками. Подальше от берега галька крупная, плоская; чем ближе к воде, тем она мельче, у самой воды берег усыпан разноцветным бисером.

На пристани, с двух сторон, сидели, свесив ноги, рыбаки — поспеловские ребята и больные из госпиталя в халатах, в кожаных туфлях.

— Уже народу-то сколько, — забеспокоилась Галя и ускорила шаг. — Все хорошие места заняты.

Они пошли по пристани. По лицу Виктора блуждала счастливая улыбка. На душе у него было легко и светло. Все вызывало в нем восторг: и голубой Босфор, и кудрявые горы напротив, где укрылись бухты Диомид и Улисс; и морское дно в прозрачной воде с розовыми и сиреневыми звездами на камнях, поросших темно-зелеными водорослями; и глупые ерши, толпившиеся возле пристани, у свай, и хватавшие наживку; и Галя с таким озабоченным видом выбиравшая место, где бы присесть; и все эти двадцать человек рыболовов, забывших обо всем на свете, охваченных одним желанием поймать ерша величиной с палец — этой необъяснимой страстью, которая, должно быть, идет от древнего человека.

Галя наконец нашла местечко.

— Юрий Федорович, идите сюда, — сказала она шепотом, чтобы не спугнуть ершей.

Они сели на каменные плиты, поставив ноги на балки, которыми была обшита пристань.

Ершей было так много, что не было наловности в удилищах. Опускали леску и смотрели, как ерши хватали приманку.

— Так ловить неинтересно, — сказал Виктор.

— Неинтересно? — удивилась Галя.

— Я люблю ловить с удилищем, с поплавком или опускать леску глубоко, не видеть, рыбы а чувствовать ее руками. Ты меня понимаешь?

— Понимаю. А я люблю смотреть, как ерши подходят к удочке. Они дерутся, отталкивают друг друга от приманки и хватают... Смотрите, смотрите, какой крупный! — лицо у Гали приняло напряженное выражение. Она замахала рукой на Виктора, встала на балку и начала медленно подводить крючок к носу ерша. Ерш был длиной с карандаш. Он стоял почти неподвижно, будто спал, лишь изредка шевеля плавниками и не обращая никакого внимания на наживку. Сначала Виктору показалось это просто забавным, потом он уже не глядел на свой крючок, а стал смотреть на ерша: что же будет дальше? А ерш все стоял неподвижно, будто все, что происходило в воде и на пристани, его не касалось. Галя — вся внимание. Поднесла наживку к самому носу ерша. «Любопытно», — подумал Виктор. Губы у него улыбались. Прошло минут пять. Галя и Виктор не спускали глаз с ерша. Вдруг ерш повел хвостом и, открыв рот, схватил наживку с крючком, и тут был конец его жизни.

Надо было видеть лицо Гали, когда она снимала с крючка несчастного ерша: она точно спасала его от неминуемой гибели.

— Юрий Федорович! — вдруг крикнула она шепотом. — Ерш!

Виктор посмотрел в воду. К пристани лениво подплывал большой желтый ерш. Виктор быстро надел на крючок кусочек чилима, опустил леску в воду и стал осторожно подводить ее к носу ерша. Ерш, так же, как и тот, Галин, приняв безразличную позу, замер. «Интересно, — подумал Виктор. — Как они одинаково ведут себя! Должно быть, все большие ерши ленивы. Или это они от важности? Вон как мелкота носится в воде! А этот...» Ерш повел плавниками, как ушами. Виктор затаил дыхание. Все ближе и ближе подводил он крючок с наживкой к носу ерша. Он не видел, как Галя, держа

своего ерша в руке, стояла возле него, замерев, не смея двинуться с места... Повторилась прежняя история: неожиданно желтый ерш бросился к наживе, и... теперь уж Виктор спасал его от смерти, снимая с крючка. У Гали глаза засияли от радости. Подумать только: не успели прийти — и два таких крупных ерша!

— Скумбрия пошла! — сказал кто-то из рыболовов.

Галя схватила удилище.

— Юрий Федорович! Закидывайте!

Виктор Заречный закинул удочку. Тут уже началась настоящая рыбная ловля. Внимание было приковано не к рыбе, а к поплавку.

Клев скумбрии был великолепный. За пять минут Виктор и Галя наловили десятка два скумбрии, впрочем довольно мелкой.

Солнце уже повисло над Токаревским маяком, белой колокольной поднимавшимся, словно из воды, на конце длинной косы полуострова Шкота. Начинался изумительной красоты закат. Такого красивого заката Виктор Заречный еще не видал. Как нет в природе ничего повторимого, ничего похожего друг на друга, кроме, может быть, молекул одного и того же вещества, так не бывает за Амурским заливом одинакового сочетания форм и окраски облаков, прячущих в себе заходящее солнце. Сотни и тысячи раз за свою жизнь Виктор Заречный любовался закатом солнца, и всегда закат был неожиданно красив, всегда он вызывал у Виктора новые чувства, навевал новые мечты, вызывал новые образы. Даже в течение тех минут, пока длился закат, пронесется бывало столько мыслей!

Галя повела Виктора Заречного на маяк, стоявший ближе к пристани.

Они поднялись по внутренней лестнице на площадку, потом по второй лестнице еще выше, открыли крышку, бывшую у них над головой, влезли в камеру, где посредине стоял стол с большой лампой и рефлектором. Окно из камеры смотрело в сторону Токаревского маяка. Они вышли через двери на балкон, устроенный вокруг маяка.

Между мысом Шкота и Русским островом, отделенными друг от друга проливом Восточный Босфор, вода

золотилась бликами, как иногда золотятся от лучей солнца перистые облака в небе. Как дворцы, построенные то из белого, то из красного, то из розового, то из фиолетового мрамора, громоздясь друг на друга, протянулись по всему горизонту облака.

Виктор и Галя, облокотившись на перила, замерли, очарованные красотой заката солнца.

— Ты любишь закат солнца? — спросил Виктор Галю.

— Люблю, — ответила Галя и вздохнула.

— А почему ты любишь закат?

— Красиво потому что, — ответила Галя, удивляясь вопросу Виктора. Она родилась здесь, у самого Тихого океана, и с раннего возраста почувствовала красоту и моря и неба.

— Всмотрись хорошенько вон в то облако, которое стоит прямо над Токаревским маяком. Что ты там видишь?

— Тройка мчится, — ответила Галя.

Виктор был изумлен ответом девочки. Он сам думал именно о тройке вороных коней, запряженных в огненную колесницу.

— А вот там, в стороне от маяка?

— Где?

— Влево. С левой стороны. Видишь, золотые разорванные края вокруг белого облака?

— А! Вижу.

— Ну, что ты видишь?

— Девушки в красных сарафанах играют в хоровод, а в середине — дед-мороз.

Ответ опять изумил Виктора, хотя в его воображении возник совсем другой образ.

«Какая у нее богатая фантазия!» — подумал Виктор. Послышались шаги на лестнице.

— Папка идет заправлять лампу, — сказала Галя.

Действительно, крышка в полу приподнялась, и показалась курчавая черная голова Дубравина.

— Любуется? — сказал он, высунувшись в окно. — Погода — красота!

Он налил в лампу керосина, opravил фитиль, протер стекло и вышел на балкон.

— Хороша погодка! — Посмотрев вокруг, Максим Андреевич заговорил, обращаясь к Виктору: — На Голдо-

бине я на колоколе служил. Вот тяжелая должность: звонить в туман и день и ночь через каждые одну-две минуты! С женой, бывало, не отходили от колокола: то она звонит, то я. Тут ведь довольно узкий вход в Золотой Рог. Налетит корабль на мыс — и готово дело: авария. Вот и звонишь! Кроме домишка, где мы жили, да сторожки возле колокола, не было ни одной постройки на всем мысу. Кругом лес. Рядом бухта Диомид.

— В тысяча девятьсот седьмом году вы на Голдобине служили? — спросил Виктор.

— На Голдобине.

— Восстание минеров помните?

— Помню. Очень хорошо помню. Как не помнить! Прятал даже одного минера.

— Прятали? — Виктор заинтересовался.

— Дело было так. Утром, должно быть часов в шесть, еще совсем темно было, жена моя сидела в сторожке. В ту ночь густой туман окутал все кругом, не видно было ни Русского острова, ни Крестовой горы. Даже воды под скалой не видно было. Так... Сидит она. Света в сторожке нет. Сидит, отсчитывает в уме каждую минуту, чтобы звонить. Вдруг...

Галя вздрогнула.

— Ты чего это? — отец ласково посмотрел на дочь. — Не пугайся. Давно ведь это было. Теперь чего же пугаться? Да... Вдруг дверь в сторожку распахивается, вбегает человек. Жена видит, что не я, и задрожала всем телом. Она тогда еще молодая была. Что за человек? И в такую пору. Заходили к нам часто солдаты из минного батальона, посидеть, попечалиться о своей военной подневольной службе, но не в такой час. «Кто тут есть? — шепотом, запыхавшись, спросил человек. — Не бойтесь меня». Человек дышал тяжело, видно было, что бежал откуда-то. «Что здесь?» — спросил он опять. «Голдобинский колокол», — отвечает жена. «А!» — сказал человек. Смотрит жена, а это — солдат. «Я, значит, не в том направлении побег», — говорит солдат. В это время я вхожу в сторожку. А надо вам сказать, слышал я сквозь сон, будто где-то стреляют. Проснулся. Что, думаю, за история? Обулся и пошел в сторожку. И вот вижу — солдат. «Ты что, дружище, — спрашиваю его, — в неурочный час в гости пожаловал?» Тут он нам и рассказал про восстание. «К нам, говорит, в первую роту из

города приехали под утро на лодках члены боевой организации, чтобы поднять восстание и не допустить суда над содержащимися под стражей минерами. Мы разобрали в пирамидах ружья и всей ротой вышли на улицу. Туман — ни зги не видно. Построились. Человек сто нас было. Командуют какие-то штатские, одна женщина. Никакого порядка. Повели наступление на казармы десятого полка, чтобы захватить у них пулемет. Вижу я, наступление вести не могут. Военного дела не знают. Началась пальба. Мы стреляем. В нас стреляют. Там убитый. Тут убитый. Кричим солдатам десятого полка: «Не стреляйте! Свои». Поем «Марсельезу». Стрелки перестали стрелять, а потом как застрочит пулемет. Мы на него и с той стороны, и с этой. Куда там! Строчит, пули свистят: взз, взз, — шелкают об деревья. Одного командира нашего — штатского, долговязого, в шапке — убили. Дрогнули наши ребята — и кто куда. Я бросил винтовку и бежать. Вот и забежал к вам».

— Как страшно-то! — сказала Галя.

— Да ведь это было давно. Чего теперь-то страшиться? Страшно было тогда, а теперь уж ничего страшного нет. Много страшных дел на земле деется, да всё, дочка, потом забывается, только в книжках остается... Да... — продолжал Максим Андреевич. — Повел я его к себе в домишко, накормил, чем бог послал, и на сеновале спрятал. Днем приходят ко мне два вооруженных солдата охотничьей команды. Пришли они будто без всякой цели: то да се, кто здесь живет, смотрели на все как-то подозрительно... Потом-то я узнал, что по всему Чуркину с раннего утра шныряли, искали восставших... Да... Ушли охранники. Ну, думаю, надо моему молодцу уходить. Ночью он и ушел. «Спасибо, говорит, брат, никогда не забуду твоей услуги». Ушел. Так я до сих пор и не знаю, куда он ушел, жив ли остался. Верил я, что он жив. Не хотелось думать, что такой молодец, — а он был таки мужественный человек, — да сгинет с этого света. Впрочем, как знать. Время наше жестокое. Вот какие дела, дочка, деются на свете... Ну, пора и лампу зажигать. Токаревский зажегся.

Максим Андреевич пошел зажигать лампу. Давно уже погасли краски в небе. Дрогнули редкие звезды. Чуть слышно набегали на берег мелкие волны.

Галя не спускала глаз с Токаревского маяка.

— О чем ты думаешь, Галя? — спросил Виктор.
— О солдате. Куда он ушел?
— Я вот тоже думаю о нем. Не приходил ли он ко мне?

— К вам?

— Да, ко мне.

Галя не понимала.

— Как-нибудь я расскажу тебе, почему я так думаю.

Галя впиалась в Виктора черными глазенками.

Из окна вырвался сноп яркого света, упал на воду и побежал навстречу огню Токаревского маяка.

— Ну, пойдемте ужинать, — сказал Максим Андреевич.

Он поднял крышку в полу.

— Спускайтесь.

Спустилась Галя, за ней Виктор, а потом уже сам Максим Андреевич.

Утром Максим Андреевич послал Галю в лавку за булками.

— А теперь, — сказал он, когда Галя вернулась с французскими булками, — сходи на Васильевскую батарею, вызови канонира Семена Гвоздева. «Это, скажи, вам прислал Михаил Яковлевич». И отдашь записочку вот эту. Ни с кем ни о чем не говори.

Галя смотрела на отца испуганными глазами.

— Ты не гляди на меня, как на удава, — сказал Максим Андреевич.

Галя улыбнулась.

— Так-то вот лучше. Я тебе все объясню. Надо, чтобы канонир сюда пришел по делу важному и чтобы об этом никто не знал. Поняла?

Галя закивала головой.

— Беги.

Виктор посмотрел вслед Гале и сказал Максиму Андреевичу:

— Самое молодое поколение подпольщиков, какое только мне пришлось видеть. Это останется у нее в памяти на всю жизнь.

Галя вернулась возбужденная:

— Прочитал записку при мне и велел передать, что скоро придет.

Виктор отправился к скале, а Максим Андреевич стал

поджидать Семена Гвоздева. Действительно, Гвоздев скоро явился. Дубравин свел его к Виктору.

Канонир — это был очень серьезный человек лет сорока, — выслушав Виктора, сказал:

— Трудно будет вести здесь работу.

— Конечно, трудно.

— Очень трудно, — повторил канонир.

Тем не менее они договорились обо всем: и о том, что два раза в месяц, по воскресеньям, Виктор будет привозить и прятать в скале литературу, и о том, что работа должна вестись в строжайшей конспирации, и о многом другом, связанном с агитационной и пропагандистской работой, договорились Виктор и канонир Семен Гвоздев. При этом Виктор передал Семену Гвоздеву пачку прокламаций.

Виктор уезжал с острова в каком-то необыкновенном настроении. Казалось, будто он узнал здесь, на Поспеловских маяках, что-то очень важное для себя.

НА ХУТОРЕ СУХАНОВКЕ

У самого устья реки Чам-ча-гоуза, впадающей в бухту того же названия, на пологом, поросшем кустарником берегу расположилась заимка Григория Суханова, старшего сына Александра Васильевича.

Берег, на котором в строгом порядке стояли постройки заимки, когда-то был берегом моря. Теперь он стал берегом реки, так как образовавшаяся от наносного песка длинная коса, преградив реке выход в море, заставила ее круто повернуть и потечь вдоль заимки. Таким образом, заимка была отделена от моря рекой и косой — превосходным морским пляжем.

Кто и когда дал название реке и бухте Чам-ча-гоуза, не известно. Аборигены здешних мест переводили это искаженное китайское название, как Ясная долина. И действительно, в отличие от многих мест приморского побережья, здесь круглый год не было туманов, солнце ярко светило, небо яснило голубизной, и бухта, вдавшаяся в материк между двумя мысами — Азарьева и Теляковского, сливалась с Уссурийским заливом и вместе с ним уходила в синие бесконечные дали.

Место было прекрасное. Находки в глубоких слоях земли каменных топоров и стрел, черепков гончарной посуды с орнаментом, костей диких зверей говорили о том, что долина Чам-ча-гоуза еще сотни и тысячи лет назад привлекала внимание человека и на месте заимки он не раз селился. Несомненно здесь жил древний человек, человек каменного века.

Понравилось это место и Григорию Суханову, и он арендовал у государства землю, до того находившуюся в аренде у лесопромышленника Стрелецкого, наголо вырубившего вокруг весь лес.

Синее море, голубое небо, зеленая долина среди сопкок, живописная излучина реки, белый дом с обращенными к морю крылечком и застекленной террасой, беленький флигелек за домом, такая же беленькая сепараторная справа от дома, скотный двор и конюшня слева, неподалеку от дома, бродящее поодаль стадо коров голландской породы — такова заимка Григория Суханова, получившая официальное название — хутор Сухановка.

Здесь-то в белом флигелечке нынешним летом жила семья Александра Федоровича Солиса. В одной из комнат флигелька помещался Марк с женой.

Проснувшись рано, когда на хуторе многие еще спали, Марк сидел за столом и писал. В открытое окно был слышен утренний прибой, кричали чайки. С моря тянуло свежим запахом соленой воды и водорослей. Жена Марка, Александра, спала под простыней, положив обе руки под щеку; на стуле лежала книга — пьеса Зудермана «Огни Ивановой ночи», на книге — пенсне, в пепельнице — окурки и спички.

Марк писал:

«Вот уже третий год, как русский народ проливает...»

Он зачеркнул последние три слова и сверху написал:

«Россия объята...»

И эту фразу он зачеркнул, написав:

«...вся Европа охвачена пламенем войны...»

Марк вынул из ящика стола тетрадь в черном клеенчатом переплете с протоколами собраний студенческого землячества Уссурийского края. В ней лежали отчет студенческой организации Красного Креста и манифест Циммервальдской конференции. Марк пробежал манифест — уже двадцатый раз он читал его; знал чуть ли

не наизусть. Прочитав, снова вложил в тетрадь, взял чистый лист бумаги, карандаш и стал писать:

«Товарищи рабочие!»

Надо было сказать что-то новое, а по существу приходилось повторять то, что уже не раз говорилось, что было сказано Марком в лесу на Чуркине. Но не в этом дело. Угнетала мысль, что то ничтожное количество экземпляров прокламаций, которое можно напечатать на гектографе, было каплей в море, а типографии не было, и не было надежды на то, что удастся организовать ее в ближайшее время.

Возродить подпольную работу в Приморье было не так-то легко. От прежней социал-демократической организации, окончательно разгромленной в 1908 году, не осталось никакого наследства — ни средств, ни типографии. А главное, истреблены были и сосланы на каторгу люди — революционные кадры, руководители освободительного движения в крае. Чтобы солидно поставить подпольную работу, нужны были и люди и средства. По неволе приходилось ограничиваться малыми делами.

Владивостокской группой социал-демократов одна прокламация, направленная против войны, была выпущена, но тема войны оставалась главной в пропагандистской работе, которую группа пыталась наладить.

Через двор прошел поднявшийся спозаранку Григорий — в парусиновом пиджаке и в кепке, сидевшей у него на самом затылке. Он ни при каких обстоятельствах не менял своей спокойной размеренной походки. Вот и сейчас он шел не спеша отдать распоряжения по хозяйству.

Григорий Суханов окончил владивостокскую гимназию, а затем естественный факультет Казанского университета и занялся сельским хозяйством. Это был один из культурнейших сельских хозяев Приморского края, отдававший всего себя работе на любимом хуторе. У него была хорошо поставленная молочная ферма с чистопородным голландским скотом и небольшое земледелие. Он был заботливым хозяином, состоял членом Уссурийского общества любителей сельского хозяйства, где одно время председателем был отец его Александр Васильевич, и вводил у себя различные агрономические и зоотехнические усовершенствования.

Живших летом на заимке сестер своих и братьев Григорий привлекал к работе по хозяйству.

— Приехали отдыхать, извольте и поработать, — говорил он.

Анна Васильевна думала, что любимый ее младший сын по окончании университета будет вместе с Григорием заниматься на хуторе сельским хозяйством. Время от времени она давала Григорию некоторые суммы денег и говорила: «Это Костин пай». А у Марка были совсем другие мысли. Он действительно хотел получить агрономическое образование (учился он на естественном отделении физико-математического факультета), но применить его намерен был в другом месте. Его интересовала общественная агрономия — новая наука, возникшая в результате освободительного движения, когда во весь рост встал крестьянский вопрос. Работа земского агронома привлекала его. Однако судьба уводила его в другую сторону.

Составив прокламацию, Марк сложил лист бумаги в несколько раз и положил его в замшевый серый бумажник китайской работы, на котором был изображен дракон.

Проснулась жена его. Не поднимая головы с подушки, она посмотрела близорукими глазами на мужа: — Ты что так рано поднялся?

— Поработал немного. — Марк подошел к кровати. — Вставай, пойдем коров доить. — Он взял жену за полные руки и потянул к себе.

Александра Александровна надела широкие черные сатиновые шаровары. Она была вообще женщина крупная, а шаровары еще больше полнили ее, и когда она их надевала, ее называли Тарасом Бульбой.

Они вышли из флигеля. Со скотного двора донеслось мычание коровы.

— Красотка мычит, — сказал Марк.

Красотка — одна из лучших коров сухановского стада, черная с белым брюхом и белыми ногами, дававшая более трехсот сорока ведер молока в год, — повернула в сторону Марка голову и строго, как показалось ему, посмотрела на него большим карим глазом. Это была его любимая корова, которую он доил. Марк дружелюбно похлопал корову по гладкому крупу и стал надевать халат.

По существу на хуторе брата Марк — будущий агроном — проходил хорошую сельскохозяйственную прак-

тику. Помимо доения коров, он научился сепарировать молоко, под его наблюдением находился инкубатор, небольшой фруктовый сад, любимым его занятием была посадка черенками тополей. Кроме того, здесь для Академии наук он собирал коллекции бабочек и жуков. Долина Чам-ча-гоуза была живым энтомологическим музеем. Сбор жуков и бабочек для Марка представлял и особый практический интерес: студенты и курсистки, собиравшие насекомых для Академии наук, пользовались большой скидкой при проезде по железной дороге.

Управившись с дойкой и отсепарировав молоко, Марк позвал жену купаться.

Они спустились к речке, где у мостков была привязана лодка, и переехали на другой берег, на песчаную косу. За косой лежал пляж. Волны нехотя набегали на берег. Над водой кружились чайки, охотясь за рыбой. Из воды торчала коричневая с белым пятном на лбу голова нерпы. Нерпа смотрела умными глазами то на Марка, то на его жену, раздевавшихся у воды.

— Знаешь, — сказал Марк, — уже который раз я вижу здесь эту нерпу.

— Почему ты думаешь, что это одна и та же нерпа? — скептически спросила Александра Александровна.

— У нее на лбу белое пятно. Я не сомневаюсь, что это одна и та же нерпа.

— Может быть, — флегматично согласилась Александра Александровна.

Нерпа эта действительно каждый день приплывала близко к берегу. Она любила смотреть, как голые молодые люди — часто их было много на берегу — играли на песке в чехарду, бегали, шумно бросались в воду, обдавали друг друга зеленоватыми брызгами. Однажды она видела, как один из них — это был тот самый, который сейчас стоял на берегу совсем голый, — нырнул (нерпа тогда тоже опустилась под воду) и, подплыв под водой к другому, схватил его за ногу. Этот другой был тот самый, который сейчас тоже стоял на берегу голый и скреплял волосы на голове гребенкой. Они были постоянно вместе. Один всегда плавал вокруг другого. В это время он был особенно весел и сверкал зубами.

— Я боюсь нерпы, — сказала Александра Александровна.

Марк засмеялся:

— Глупости.

И они пошли в воду. Нерпа с любопытством смотрела на них — молодых, сильных, загорелых.

— Поплывем к нерпе, — сказал Марк, — я тебя познакомлю с ней.

— Я боюсь.

Марк рассмеялся:

— Вот трусиха! Плыви за мной!

Он бросился в воду, через несколько секунд вынырнул, тряхнул мокрой головой, крикнул жене:

— Плыви! — и поплыл вразмашку к нерпе. Он очень хорошо плавал.

Нерпа испугалась и скрылась под водой.

— Она тоже боится! — крикнул Марк. — Плыви! Как хорошо-то! Ого-го-го! — кричал он от избытка чувства радости, которое наполняло его сердце.

ДОНЕСЕНИЯ ФИЛЕРОВ

Начальник охранного отделения полковник отдельного корпуса жандармов Гинсбург, сменивший того полковника, который допрашивал Виктора Заречного и Василия Рудакова в прошлом году, сидел у себя в полутемном кабинете в доме № 19 по Лазаревской улице. Было в его лице, на которое падал зеленоватый свет от электрической лампы, что-то надменное, барское. Такие лица были у породистых дворян и богатых людей, поколениями холивших свою внешность и презиравших «простых» людей. Перед ним на ярко освещенном темно-красном сукне письменного стола лежала зеленая папка с донесениями совершенно секретных сотрудников по политическому розыску и дневником агентурных сведений по городу Владивостоку.

Гинсбург открыл папку и взглянул на лежавшее сверху донесение филера, в обязанности которого входило давать охранному отделению общую информацию.

Донесение это имело заголовок: «Общественные на строения».

«Какой у него отвратительный почерк!» — подумал Гинсбург.

У филера был действительно отвратительный по-

черк. Мелкие, трясущиеся — именно трясущиеся — буквы стояли нестройно в кривых рядах. Такой почерк бывает у людей с темной, злой, эгоистической, двуличной душой.

Филер писал:

«Политическое состояние в городе стоит на точке замерзания. Никаких внешних проявлений революционной жизни! Война наложила свою печать на всю жизнь. Настроение у интеллигенции подавленное. Н. П. Уссурийцев, являющийся ярким представителем радикальной части интеллигенции города, говорит, что России нужна очищающая революция. Он, конечно, дальше слов не пойдет, но революционный микроб прочно обосновался в его доме. Один из его сыновей, зараженный этим микробом, сидит сейчас в тюрьме (в Москве).

На днях у Н. П. Уссурийцева был весьма подозрительный господин с молодой дамой по фамилии Некрасов, интересующийся историей города. Возможно, что интерес к истории города только ширма для его истинных намерений.

Среди врачебного мира особенно революционными настроениями отличается военно-морской врач Эразм Леопольдович Гедговд. А морской врач Павел Иванович Гомзяков, владивостокский поэт, прислал Уссурийцеву из Ниццы с могилы Герцена дубовый лист. Уссурийцев свято хранит этот засушенный лист и даже посвятил ему стихотворение.

У адвокатов и в других слоях населения — без перемен. Общее настроение может быть охарактеризовано как подавленное.

О ль н е м

Владивосток, 8 июня 1916 года»

Под донесением «Ольнема» лежало сообщение, в котором говорилось:

«Информирую, что по добытым мною в семье Уссурийцевых сведениям один из сыновей Уссурийцева, студент юридического факультета Московского университета, Николай, арестован за причастность к революции.

онным делам. Его жена, будучи возмущена мужем, предъявила ему ультиматум: «Или я, — сказала она, — или революция». Он ответил: «Революция».

Васька Курчавый

3 мая 1916 года»

В другом своем донесении «Васька Курчавый» писал:

«Информирую, что при частной прогимназии Сибирцевой организован кружок самообразования, в котором принимают участие гимназисты и гимназистки. В кружке читаются и обсуждаются произведения разных русских писателей, был устроен литературный суд над героем рассказа Горького «Варенька Олесова». Кроме того, при той же прогимназии организован кружок любителей сценического искусства. Сибирцева предоставила в распоряжение кружка все здание своей прогимназии и дает мебель из квартиры. Спектаклями руководит сам Сибирцев — преподаватель гимназии. Ничего недозволенного в деятельности кружка пока не обнаружено.

Васька Курчавый

12 мая 1916 года»

Филер «Субботин» — владелец аптекарского магазина на Светланской улице Васильев — писал о какой-то крамоле в малороссийском кружке. «Серж» — бывший офицер Приморского драгунского полка Савельев — тоже доносил что-то. Но ни «Ольнем», ни «Васька Курчавый», ни «Субботин», ни «Серж», в общем довольно «полезные» агенты охранного отделения, сейчас не интересовали Гинсбурга. Он был занят просмотром чрезвычайно важных агентурных донесений филеров «Северова», «Камчатского» и «Гануля», чтобы принять наконец решение.

Гинсбург выдвинул из письменного стола ящик, достал коробку с папиросами «Зефир» и закурил.

Совершенно секретный сотрудник по политическому розыску «Северов» в течение трех месяцев — июня, июля и августа — представил двенадцать донесений.

В первом из них он писал:

«5 сего числа вечером в квартиру рабочего порта Антонюка, который у нас на примете, приходил неизвестный: небольшого роста (правое плечо приподнято) в студенческой фуражке с голубым околышем, в тужурке с петлицами, в синей косоворотке, из-под тужурки видны синие кисти пояса. Брюки — черные, диагональные. Бритый. Пробыв около часа у Антонюка, студент вышел из квартиры. Я последовал за ним. Дойдя до дома помощника вице-губернатора Суханова, означенный студент зашел в этот дом. Проходив несколько часов неподалеку от дома, студент так и не вышел из квартиры.

Северов

5 июня 1916 года»

Прочитав последнюю фразу донесения, Гинсбург вспомнил «Жалобную книгу» Чехова и усмехнулся:

«Подъезжая к станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа».

— Осел! — громко сказал он по адресу филера и взял в руки второе донесение.

«Удалось установить, что неизвестный студент, приходивший к Антонюку и зашедший в квартиру старшего советника Областного правления Суханова и не вышедший оттуда, оказался сыном статского советника А. В. Суханова. Зовут Константином. Приметы те же.

К сему Северов

6 июня 1916 года»

«Приметы те же». Гинсбург усмехнулся и громко произнес:

— Осел!

Полковник взял третье донесение «Северова»:

«11 сего июня вечером в квартиру рабочего порта Антонюка приходили двое: студент Константин Суханов и неизвестный лет 28-ми, выше среднего роста, бритый, с длинными темными волосами, в черном костюме, в крахмальном воротничке, в шляпе. Вид значительный.

Пробыв около двух часов у Антонюка, студент Суханов и неизвестный вышли от него. Я последовал за ними. Был сильный туман, и скоро я потерял их из виду.

Северов

11 июня 1916 года»

В четвертом донесении «Северов» писал:

«Удалось установить, что студент Константин Суханов женат на курсистке Петроградских курсов Лесгафта Александре Сухановой, урожденной Солис, дочери корабельного смотрителя. Приметы: выше среднего роста, блондинка, полная, в пенсне с металлической оправой. Кофточка носит с галстуком, на галстук брошка. Вид подозрительный. Живут они на хуторе старшего сына советника Областного правления Суханова — Григория Суханова, часто приезжают в город и останавливаются на квартире корабельного смотрителя Солиса, что на пристани.

Северов

13 июня 1916 года»

Другой совершенно секретный агент охранного отделения, по кличке «Гануль», с некоторым опозданием и без всякой осторожности писал:

«В начале этого месяца во Владивосток прибыл студент Константин Суханов. Он вызвал меня из помещения телеграфа и сказал, что обращается ко мне по поручению одного из видных политических работников с просьбой сообщить, какие есть в городе демократические партии. Я сообщил ему, что здесь пролетариат не имеет организации, если не считать маленького течения под названием «Юная Россия», которое, как говорят, создал Поздняков. У Суханова имеются большие материалы. Мы приступили к организации с.-д. группы.

Гануль

15 июня 1916 года»

«Гануль?.. Гануль?..» Гинсбург не мог вспомнить фамилии этого филера, редко писавшего свои донесения. Он нажал кнопку электрического звонка. Вошел человек в штатском, в высоком крахмальном воротничке.

— Как фамилия «Гануля»? Я все забываю, — сказал Гинсбург.

— Мостипан.

— Немудрено забыть: Мостипан! Фамилия! Кто он?

— Телеграфист станции Владивосток.

— Что ему поручено?

— Народный дом и малороссийский кружок.

— Хорошо.

Человек в штатском ушел.

Когда полковник Гинсбург прочитал — это было еще в июне — первые донесения «Северова», касающиеся наблюдения за студентом Константином Сухановым, он подумал: «Этому ослу «Северову» везде мерещатся революционеры. Даже сына старшего советника Областного правления Суханова он заподозрил в подпольных делах. Правда, рабочий Антонок давно на подозрении, но это не значит, что всякий заходящий к нему обязательно должен заходить по революционному делу». Но донесение «Гануля» уже не оставляло сомнения, что студент Константин Суханов действительно пошел по преступному пути.

Гинсбург взял пятое донесение «Северова»:

«Сообщаю, что неизвестный выезжал на Русский остров. Цель поездки — пропаганда в войсках.

Северов

6 июля 1916 года»

С особым вниманием (уже который раз!) Гинсбург стал читать шестое донесение «Северова» от 17 июля 1916 года:

«Под руководством студента Суханова организовалась местная группа партии с.-д. 17 июля за бухтой Золотой Рог, в лесу, на мысе Чуркин, состоялась сходка, на которой присутствовали: Суханов, в организации «Марк», Мостипан, Антонок, Кузьмин, Мандриков, Полуэктов...»

«Полуэктов! — усмехнулся Гинсбург. — И себя вписал. Хитрая бестия!»

В самом деле, никому бы в голову не пришло, если бы донесение это попало в руки подпольщиков, что «Северов» — это и есть Полуэктов Семен Никифорович, рабочий военного порта, предатель.

Перечисляя в своем донесении других участников собрания, «Северов» упомянул также имя Бодянского, вероятно не зная о том, что Бодянский был таким же провокатором, как и он.

«Трое в одной организации! — подумал Гинсбург. — Идеально!»

«Суханов, — писал «Северов», — предложил именовать группу «Владивостокская единая с.-д. рабочая партия» или «Владивостокская инициативная группа партии социал-демократов», но вопрос этот пока остался открытым. Сухановым был прочитан манифест интернациональной социалистической конференции в Циммервальде и передан кому-то из присутствующих. Кроме того, у Суханова есть еще литература Петроградской с.-д. партии: «Воззвание к женщинам» (женам заводских) и декларация Петроградской группы социал-демократов «большевиков». Всю эту литературу Суханов намерен перепечатать пока на пишущей машинке в нескольких экземплярах, передать членам группы для подробного ознакомления и распространения среди товарищей».

Седьмое донесение «Северова» гласило:

«Вчера, 18 июля, в одной из комнат помещения Переселенческого управления (Алеутская улица, дом № 48) состоялось собрание группы социал-демократов города Владивостока. Студент Константин Суханов огласил повестку заседания, напечатанную на машинке, каковую при сем прилагаю...»

Булавкой к донесению был приколот листок со следующими пунктами повестки дня заседания социал-демократической группы: 1) о средствах, 2) о собрании комитета, 3) о принятии новых лиц в группу, 4) о практической деятельности группы и комитета, 5) о комитете, 6) о квартире, 7) о конспирации.

Прочитав повестку заседания, Гинсбург углубился в чтение донесения:

«... На заседании Константин Суханов говорил, что в работе группы встречаются большие трудности. Главное — нет денег и типографии...»

Далее «Северов» подробно, на трех страницах, сообщал, кто и что говорил по всем пунктам повестки, и закончил донесение следующими словами:

«Упоминавшийся ранее в донесении неизвестный тщательно скрывает свою фамилию и местожительство. Он нигде не служит. Чем занимается — неизвестно. Это крупный подпольный работник, большевик. На собрании присутствовала одна женщина со следующими приметами: красивая, небольшого роста, глаза карие, волосы золотистые, в белом платье. По всем видимостям неизвестный и эта женщина — муж и жена. По окончании собрания они вышли из Переселенческого управления вместе. Выяснить их местожительство покамест не удалось, так как они, придя к бухте Золотой Рог, взяли шампунку и поехали кататься.

Северов

19 июля 1916 года»

Гинсбург взял в руки восьмое донесение «Северова», в котором тот сообщал:

«Удалось установить местожительство указанных в прежних донесениях неизвестного и его жены: Голубиная Падь, улица Тургенева, дом № 8. Дом скрыт в зелени, так что наблюдать за тем, что происходит в доме, трудно.

К сему Северов

25 июля 1916 года»

«Полуэктов самый ценный наш сотрудник, — подумал Гинсбург, — ценнее, пожалуй, Сикорского».

Он достал из стола папиросу, закурил, и у него стало складываться решение.

В девятом донесении «Северов» писал:

«Удалось выяснить, что упоминавшийся мною ранее неизвестный прописан в доме № 8 по улице Тургенева под фамилией Юрия Федоровича Некрасова, тридцати лет. Жена его прописана под фамилией Уварова Евгения Павловна, двадцати семи лет от роду.

Северов

27 июля 1916 года»

«Надо дать Полуэктову награду», — подумал Гинсбург.

Он протянул руку к звонку. Вошел человек в штатском.

— Сколько у нас получает «Северов»? — спросил Гинсбург.

— Пятьдесят рублей.

— Со следующего месяца выписывайте семьдесят пять и выпишите ему единовременное пособие — награду — двадцать пять рублей.

— Хорошо. — Человек в штатском вышел из кабинета.

Гинсбург снова погрузился в чтение донесений своих усердных агентов.

Совершенно секретный филер по кличке «Камчатский», информировавший охранное отделение о том, что происходило в Народном доме, писал:

«При Народном доме организованы вечерние общеобразовательные курсы для портовых рабочих, матросов и солдат. На курсах ведется вполне дозволенная работа, но сюда идут революционно настроенные солдаты, матросы и рабочие. Владивостокская группа социал-демократов намерена использовать Народный дом для своих целей — революционной пропаганды. Этот участок работы поручен служащему конторы Кацман-Бодянскому, за которым мною установлено наблюдение...»

«Этот Бодянский умнее Полуэктова, — подумал Гинсбург. — Как хорошо пишет!»

«На днях, — писал дальше «умный» филер, — председатель комитета владивостокской организации социал-демократов студент Константин Суханов подробно рас-

спрашивал Бодянского о деятельности Народного дома. Он говорил: «Надо взять Народный дом в наши руки». Ведется дальнейшее наблюдение.

К а м ч а т с к и й

28 июля 1916 года
Владивосток»

«Удалось выяснить, — писал «Северов» в десятом своем донесении, — что жена Юрия Федоровича Некрасова Уварова Евгения Павловна работает фельдшерницей в городской больнице. Нахожу полезным завербовать кого-нибудь из работников больницы для наблюдения за ней.

Северов

29 июля 1916 года»

«Умница этот «Северов», — подумал Гинсбург.

В одиннадцатом донесении «Северова» говорилось:

«Вчера в прогимназии Сибирцевой состоялось нелегальное собрание учащихся — гимназистов и гимназисток. Студент Константин Суханов выступил с речью, в которой он говорил то же самое, что и на Чуркине, разъяснив «идею пораженчества». Это его слова. Защита отечества, сказал он, может принести только вред России...»

Гинсбург подумал: «Суханов в своей преступной деятельности зашел далеко. Страшное несчастье ожидает отца его».

«Учащиеся, — писал дальше «Северов», — среди которых был младший сын Сибирцевых Игорь Сибирцев, окончивший в этом году гимназию, гимназистки «зеленой» гимназии Тамара Головнина, Иогансон, гимназисты Василий Дятлов, Михаил Балашов, Петр Бандейкин и другие, слушали Константина Суханова с необыкновенным возбуждением. После собрания участники долго не

расходились, между ними происходила беседа. Игорь Сибирцев спросил Тамару Головнину: «Как вы считаете, землю безвозмездно или с выкупом надо отнять у помещиков?» Она не успела ответить, как он сам сказал: «Конечно, безвозмездно». Такие разговоры слышались со всех сторон.

Северов

2 августа 1916 года»

Двенадцатое донесение, все строки которого были подчеркнуты красным карандашом, гласило:

«Юрий Федорович Некрасов («Приморец») в воскресенье 6 августа снова ездил на Русский остров. Цель поездки та же — пропаганда в войсках.

Северов

7 августа 1916 года»

К этому донесению «Северова» были пришиты три отношения. В первом из них командир Васильевской батареи на Русском острове доносил коменданту Владивостокской крепости: «В районе вверенной мне батареи 6 сего августа были обнаружены листовки антивоенного содержания, подписанные «Группа социал-демократов города Владивостока». Два экземпляра листовок при сем прилагаю». Во втором отношении комендант крепости писал военному губернатору Приморской области: «При этом препровождаю донесение коменданта Васильевской батареи на Русском острове и две листовки антивоенного содержания». Третье отношение было подписано военным губернатором Приморской области генерал-лейтенантом Толмачевым на имя начальника охранного отделения. «Препровождаю при сем, — писал военный губернатор, — отношение коменданта крепости Владивосток за № 415/сс от 11 августа сего года, с приложением к нему рапорта командира Васильевской батареи на Русском острове и одного экземпляра упомянутой в рапорте листовки преступного содержания для сведения и принятия мер по наблюдению за преступными лицами, разбрасывающими означенные листовки в расположении войск».

Прокламацию, пришитую к делу, Гинсбург читать не стал, он уже читал ее раньше.

Отложив прочитанное донесение «Северова», Гинсбург снова закурил. В этот момент раздался стук в дверь.

— Войдите! — крикнул негромко Гинсбург.

Вошел человек в штатском. Молча положив на стол пакет с сургучной печатью и тринадцатое донесение «Северова», он удалился.

Гинсбург вскрыл пакет. Это был ответ из Петрограда на запрос Владивостокского охранного отделения о Константине Суханове. В нем говорилось, что, по сведениям Петроградского охранного отделения, студент физико-математического факультета Петроградского Государственного университета Суханов Константин Александрович, рождения 1894 года в городе Благовещенске, Приамурской области, имеющий постоянное местожительство в городе Владивостоке, Приморской области, состоит членом петроградской организации Российской социал-демократической рабочей партии и имеет кличку «Марк». В конце мая сего года студент Суханов выехал во Владивосток на каникулы.

Под письмом стояла неразборчивая подпись.

«Все ясно», — подумал Гинсбург и взял в руки тринадцатое донесение «Северова»:

«Послезавтра, 27 августа, в 8 часов вечера, на Орлином Гнезде назначено собрание двух организаций: с.-д. и «Юная Россия», на котором с речью выступит студент Суханов, уезжающий 28 августа в Петроград. Недавно Суханов и его жена переехали с хутора в город. Местожительство их в настоящее время: Пристань, таможенно-корабельная контора, квартира корабельного смотрителя Солиса.

Северов

25 августа 1916 года»

«Ну что ж, — подумал Гинсбург. — Момент подходящий». Он нажал кнопку электрического звонка.

Весной будущего года Марк должен был держать государственные экзамены. Для получения выпускного свидетельства осталось сдать пять экзаменов и выполнить практические работы по зоологии беспозвоночных и по качественному анализу. И тогда прощай Питер навсегда! Да здравствует кипучая деятельность в родном Приморье!

Лето прошло, и молодые супруги собрались в дорогу. На полу стояли уложенные чемоданы.

Накануне отъезда — это было двадцать седьмого августа, часов в семь вечера, — снимая фуражку с вешалки, Марк сказал жене:

— Я, Шура, не скоро вернусь, ты не жди меня.

По тону его голоса жена поняла, что Марк идет по делу, а никаких других дел, кроме подпольных, у него не было. В таких случаях она не расспрашивала: если надо, сам скажет.

На этот раз у Марка было такое дело. Вскоре после приезда из Питера он узнал (от телеграфиста станции Владивосток Мостипана) о существовании в городе подпольной группы, которая называлась «Юная Россия». Первого мая группа эта выпустила прокламацию, носившую ярко пораженческий характер. Марку удалось установить связь с этой группой. Оказалось, что это была организация без определенной политической платформы. В нее входило человек сорок — были там портовые рабочие, студенты Восточного института, был один матрос Сибирского флотского экипажа. Марк предложил организаторам этой группы объединиться с группой социал-демократов. Разговоры об этом тянулись все лето. И вот только сегодня было наконец назначено собрание обеих групп для обсуждения вопроса о слиянии их в единую социал-демократическую организацию.

Александра Александровна, лежа в постели, читала «Нору» Ибсена. Часов в десять она стала прислушиваться, не идет ли Костя. С одиннадцати часов она уже не смогла сосредоточиться на книге. В двенадцать встала с кровати, прильнула к окну. Как раз против дома стоял японский пассажирский пароход «Хозан-Мару», заслонивший собою бухту. На склонах гор и

вдоль Золотого Рога сверкали огни. Александра Александровна вышла из комнаты, прошла через гостиную, потом через столовую, приоткрыла дверь в спальню родителей.

Прямо против двери стояли рядом две деревянные дубовые кровати. Свет от лампы под розовым абажуром на высоком столике у кровати Магдалины Леопольдовны ярко освещал ее красивую, покоившуюся на большой подушке голову с темными волосами. Магдалина Леопольдовна читала журнал «Природа и люди». Александр Федорович спал на своей кровати, отвернувшись от света.

— Кости все нет, — сказала Александра Александровна, войдя в спальню.

— Я не понимаю, что ты беспокоишься? — положив журнал на одеяло, спросила Магдалина Леопольдовна.

— Никогда не было, чтобы он так задерживался. Тем более, что ведь завтра мы едем.

— Успокойся, успокойся, Шура. Ложись и спи.

Александра Александровна пошла к себе в комнату, легла, не раздеваясь, в кровать, раскрыла опять Ибсена.

Около трех часов ночи она незаметно заснула, и так крепко, что не слыхала, как в течение трех минут на парадной лестнице не переставая барабанили в дверь, как потом в комнату вошел взволнованный Александр Федорович. Он тряс дочь:

— Вставай, Шура! Да проснись — полиция пришла!

Только эта фраза: «Полиция пришла» — и разбудила жену Кости. Она вскочила с постели.

В дверь постучали.

— Открой, папа. — Александра Александровна оправила волосы, скрепив их сзади гребенкой.

Александр Федорович распахнул двери. В комнату вошел начальник охранного отделения полковник Гинсбург, за ним целая свита жандармов и человек в штатском.

— Разрешите, сударыня, произвести обыск в вашей комнате, — произнес Гинсбург с подчеркнутой вежливостью, предвкушая удовольствие, которое, он был в этом уверен, доставит ему обыск.

— А по какому поводу, разрешите вас спросить? — в тон ему сказала Александра Александровна.

Гинсбург удивленно поднял брови:

— Повод останется при мне.

— В таком случае я не могу позволить вам произвести у меня обыск.

— Вот как?! — иронически произнес Гинсбург, и глаза его засмеялись. — А мы сделаем это без вашего разрешения.

— Тогда к чему ваша галантность? — Александра Александровна подошла к стоявшему в углу письменному столу, взяла коробочку папирос «Лаферм № 6» и закурила.

Александр Федорович смотрел на дочь во все глаза. Он знал ее нрав, но в данном случае, как ему казалось, лучше было бы сдержаться.

Начался обыск. Александр Федорович вышел в гостиную и в сильном волнении стал ходить из угла в угол. Ни зятя, ни тем более дочь он никогда не подозревал ни в каких революционных делах. Ему это и в голову не приходило. Но Петербург — это такой город! Студенчество — это такая среда! Ничего удивительного! Однако неизвестно, чем кончится обыск. Может быть, у них там черт знает что хранится! Кроме того, завтра в корабельную контору хоть не показывайся. Весь город узнает. Черт знает что такое!

— Чемоданы заперты? — спросил Гинсбург.

— Нет, — ответила Александра Александровна, не выпуская изо рта папиросу. Она стояла спиной к письменному столу, слегка присев на него. Вид у нее был если и не вызывающий, то во всяком случае совершенно независимый.

Человек в штатском открыл чемодан. Гинсбург взял стул, придвинул его к чемодану, сел и устремил в него свои глаза.

Человек в штатском стал выкладывать из чемодана женские рубашки, лифчики, кальсоны, косоворотки, чулки, носки, зубной порошок, щетки — словом, имущество, которое необходимо всякому человеку, в том числе студенту и курсистке.

Открыли второй чемодан. Здесь под простынями и наволочками были уложены книги, футляр с пинцетами и ланцетами для препарирования лягушек, две коробки с коллекцией жуков, аккуратно уложенных между слоями ваты. Взор Гинсбурга приковался к книгам. Но

это все были больше учебные пособия: зоология, неорганическая химия, физиология растений, почвоведение.

Человек в штатском тщательно перелистывал книги, Гинсбург следил за тем, как он это делал.

— А это что? — спросил Гинсбург.

В руках у штатского человека была клеенчатая толстая тетрадь. Он раскрыл обложку тетради и прочитал вслух:

— «Дела землячества Уссурийского края».

Гинсбург протянул руку к тетради:

— Дайте сюда.

Человек в штатском подал Гинсбургу тетрадь, из нее выпал и лег у самых ног начальника охранного отделения печатный листок, на котором, не поднимая его, Гинсбург прочитал: «Манифест международной социалистической конференции в Циммервальде (Швейцария)».

— Тэк! — удовлетворенно произнес Гинсбург.

Он наклонился, поднял листок, положил его к себе на колено и стал перелистывать тетрадь, вчитываясь в текст протоколов собраний студенческого землячества. В середине тетради он обнаружил пакетик, сложенный треугольником. Гинсбург развернул пакетик. Это была прокламация, выпущенная группой социал-демократов города Владивостока.

— Тэк-с! — опять довольно тэкнул Гинсбург и пробежал прокламацию. — Это мы уже имели удовольствие читать, — сказал он.

Наконец в тетради были и кассовый отчет студенческой подпольной организации Красного Креста. Гинсбург в третий раз тэкнул.

Тем временем человек в штатском пересмотрел все книги.

— Больше ничего нет? — спросил Гинсбург.

— Нет, — коротко ответил человек в штатском, не выказывая никакого почтения к начальству. Он был очень сосредоточен, челюсти у него были крепко стиснуты, как у человека, погруженного в напряженную работу. Жестом руки он дал понять Александре Александровне, чтобы она отошла от стола.

Четыре боковых ящика в столе на четырех толстых точеных ножках были пусты. Выдвинув средний ящик, человек в штатском обнаружил там пачку газет «Наш

голос». Это была самарская социал-шовинистическая газета; поэтому она и лежала в столе без всякого дела.

После осмотра письменного стола человек в штатском тщательно осмотрел гардероб, ночной столик и постель (он снял одеяло, простыню, прощупал подушки, матрац). Больше осматривать нечего было.

— А здесь что? — Гинсбург указал на высокий глиняный сосуд, стоявший на полу, возле гардероба.

— Бомба, — издевательски ответила Александра Александровна.

— Прошу, сударыня, не шутить, — угрожающе сказал Гинсбург.

Он велел жандарму открыть сосуд. Человек в штатском, отстранив жандарма, наклонился над сосудом, развязал бечевку, снял клеенку, вынул большую пробку, заглянул в сосуд.

— Варенье, — произнес он значительно и заткнул пробку. И само слово «варенье», и тон, которым произнес это слово человек в штатском, и звук затыкаемой пробки — от всего этого производившим обыск стало неловко, каждый сам себе показался глупцом.

— Может быть, варенье только сверху? — процедил сквозь зубы Гинсбург. Он стал оглядываться и соображать, как бы проверить это. — Сударыня, могу я попросить вас перелить варенье в другую посуду?

— Переливайте, если вам надо.

— Однако вы, сударыня, не отличаетесь вежливостью, простите за откровенность.

— А то, что вы делаете здесь, как называется: вежливостью?

— Это мой долг.

— Ну, и продолжайте выполнять его.

— Сидоренко! — обратился Гинсбург к жандарму, стоявшему у дверей. — Посмотри, что там. — Он указал глазами на глиняный сосуд.

Жандарм открыл пробку, заглянул в сосуд и сказал:

— Так что на самом деле вишневое варенье, ваше высокоблагородие.

Александра Александровна хихихнула и шмыгнула носиком.

— Разве так смотрят? — укоризненно воскликнул Гинсбург.

Жандарм догадался, что надо было сделать. Он об-

нажил шашку, сунул стальной клинок в глиняный сосуд до самого дна и поворачивал там. Затем вынул клинок. С него текло варенье, и несколько капель его, как капли густой крови, упали на пол. Опять всем присутствующим стало неловко.

— Глупо и смешно, — не удержалась Александра Александровна.

— Пишите протокол, — зло сказал Гинсбург человеку в штатском.

Тот сел к письменному столу, за которым стояла пальма в большой кадке, и стал писать протокол обыска. Гинсбург также подсел к столу.

На столе, рядом с чернильницей, лежал замшевый серый бумажник китайской работы с рисунком дракона. Гинсбург уставился на него.

— Какой интересный бумажник, — сказал он.

Его так и потянуло к бумажнику. Он взял его в руки, повертел и осторожно, будто между прочим, стал открывать. Открыл. В бумажнике лежал какой-то листок бумаги. Гинсбург потянул его двумя пальцами — указательным и большим. Листок был сложен в четыре раза. Гинсбург развернул листок, и лицо его просияло от удовольствия.

Александра Александровна внимательно и настороженно следила за всеми его движениями.

— Так-с! — сказал Гинсбург. — Вот это-то нам и нужно.

Сердце у Александры Александровны замерло: «Что же это могло быть?»

— Подождите писать протокол, — приказал Гинсбург человеку в штатском. — Это чей почерк? — обратился он к Александре Александровне, передавая ей листок.

Александра Александровна взяла в руки листок, и все пошло у нее перед глазами кругом, как на карусели. Рукой Кости было написано в верхнем правом углу листа бумаги: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ниже, посередине, стояли слова: «Товарищи рабочие!» А дальше шел текст: «Вот уже третий год, как вся Европа охвачена пламенем войны...» Это был оригинал той прокламации, которую Марк составил на хуторе.

Гинсбург заметил, что его находка произвела тяжелое впечатление на Александру Александровну. Это обрадовало его.

— Узнали почерк? — спросил он ехидно.

Александра Александровна справилась с охватившим было ее волнением и ледяным голосом ответила:

— Почерк этот мне неизвестен.

— Это не вашего мужа почерк? — удивленно переспросил Гинсбург.

— Нет, это не его почерк, — твердо сказала Александра Александровна, и у нее мелькнула мысль съесть бумажку (она слыхала от мужа, как в подобном случае один революционер изжевал во рту и проглотил компрометирующую его записку). Гинсбург, будто прочитав ее мысль, вырвал листок из ее рук.

Повертев в руках текст прокламации, он вновь обратился к Александре Александровне:

— Так это не его почерк?

— Нет, не его.

— Чей же?

— Откуда я знаю? Понятия не имею.

— Тэк-с! Ну, пишите, — сказал Гинсбург человеку в штатском, — включите и этот... по-видимому, проект... или даже готовый текст антивоенной прокламации.

Протокол был составлен. Человек в штатском сложил все найденное в свой черный кожаный портфель. Гинсбург поднялся со стула, потер руки, как человек, хорошо выигравший в карты.

— А где мой муж? — вдруг спросила Александра Александровна, взглянув на Гинсбурга. Голос ее прозвучал сурово, как обвинение.

На один момент Гинсбургу стало не по себе от этих решительных, с ненавистью глядевших на него синих глаз. Такие глаза, наверное, были у террористок восьмидесятых годов.

«От нее всего можно ожидать», — подумал он (как потом оказалось, Гинсбург страдал манией преследования, от чего и сошел с ума), но он быстро пришел в себя, стал таким же галантным, как в начале обыска.

— Муж ваш, сударыня, в спокойном месте, — ответил он. — Но мне жаль вас.

— Я уж как-нибудь обойдусь без вашей жалости, — мрачно сказала Александра Александровна.

— Честь имею кланяться. — Гинсбург звякнул шпорами, надел фуражку и направился к двери.

У Александры Александровны чуть не сорвалось с языка: «Скатертью дорога».

Жандармский унтер-офицер Сидоренко, уходивший из комнаты последним, пробормотал:

— Ядовитая баба.

Жандармы прошли через гостиную, где все еще нервно ходил из угла в угол Александр Федорович. Магдалина Леопольдовна, пролежав в постели за журналом «Природа и люди» до двух часов ночи, крепко заснула и проспала весь обыск.

— Я вам сочувствую, — сказал Гинсбург. — Честь имею кланяться.

Жандармы пошли в переднюю. Сидоренко чуть не опрокинул стоявший на черном круглом столике в углу у двери граммофон с огромной голубой трубой.

В эту ночь многие не спали. Не спала и Женья Уварова.

Виктор, так же как и Марк, вышел из дому ровно в семь часов. Женья дежурила в больнице, поэтому не могла пойти с ним на собрание, хотя ей и хотелось. Из Голубиной Пади Виктор пошел по сопкам к Орлиному Гнезду, где было назначено собрание.

Чудесный вид открылся с сопки на бухту Золотой Рог, на Амурский залив. С детства осталась в душе Виктора любовь к родному городу с его неповторимым колоритом, с его воздухом, пропитанным запахом моря, сине-голубыми просторами залива, необыкновенными багряно-золотыми закатами солнца в кучевых облаках на вершине сопки. Всю, должно быть, жизнь Виктор Заречный будет нести в сердце своем любовь к родному краю, навсегда останется в его памяти ни с чем не сравнимый аромат родного города.

Не успел Виктор Заречный взобраться на Орлиное Гнездо и присоединиться к большой группе людей — тут был и Марк, — как заметил цепь полицейских, окружавших гору...

Немногим удалось бежать. Более двадцати человек, в том числе Виктор Заречный и Марк, оказались в кольце городских и жандармов.

Полковник Гинсбург давно не был в таком ажио-таже. Сидя у себя в кабинете, он торжествующе потирал руки, беспрестанно курил свои папиросы «Зефир», думал: «Вот так улов!» — и собственноручно строчил донесение по начальству:

«Петроград Дирпол 9 вечера 27 августа сопках рай-оне города задержана сходка 22-х лиц рабочих военного порта местных групп с.-д. и «Юной России» организа-торами студентом Петроградского университета Кон-стантином Сухановым и рабочим Дмитрием Поздняко-вым Результаты обысков Суханов привлекается следствию четырнадцать рабочих охранной переписке подробности почтой +/ Генгру району донесено 518 +/ Иркутск Начжанд Дирпол Генгру донесено 519 +/ Хабаровск Генгру 520 Полковник Гинсбург».

МОЛЧАНИЕ

Тюремный надзиратель с тремя золотыми нашивками угольничком на рукаве, с очень тонкими сжатыми губами, острым подбородком, острым носом и черными усами выбрал один из висевших на кожаном ремешке ключей, сунул его в замочную скважину, повернул два раза, открыл дверь и, не делая никакого движения, не говоря ни слова, на одно мгновение застыл. Ребенок и тот понял бы, что надо войти в камеру.

Виктор Заречный вошел, сделал два шага и остано-вился. Дверь за ним сейчас же затворилась, замок щелкнул, и наступило молчание.

Виктор как стоял, так и остался стоять спиной к двери, не снимая шляпы. Он даже не оглядел камеру, погруженную в полумрак. Что ее смотреть: стены как стены, железная кровать как кровать, железный столик как столик, табурет как табурет; высоко — небольшое квадратное окно с толстой железной решеткой; под потолком — лампочка в двадцать пять свечей с метал-лическим, окрашенным в белый цвет, плоским абажуром.

Виктор еще не пришел в себя после ареста. В душе у него было смешанное чувство удивления и досады. Удивляла полная неожиданность ареста.

«Кто-то из своих донес, — думал он. — Это ясно. Опять предательство. Тень Иуды следует по пятам».

Досадно было, что так скоро после побега из ссылки провалился. Пожил на воле всего три месяца.

— Фу, черт! — громко произнес он и после этого только двинулся с места. Снял шляпу, бросил ее на железный столик, сел на табурет.

До него донеслись отдаленные, неясные звуки, шаги, вздохи, звон ключей.

— Черт! — снова с досадой произнес он и погрузился в думы.

Нужно ли говорить, о чем думал Виктор Заречный? Ясно и без того, о чем он думал.

На Орлином Гнезде были арестованы почти все члены немногочисленной группы социал-демократов города Владивостока и несколько настроенных революционно рабочих, которые не сегодня-завтра были бы членами организации. Вместо объединения с «Юной Россией» полный провал. Усилия всего лета уничтожены в течение десяти минут. Нет никакого сомнения, что это работа провокатора. Но кто?.. Узнай, кто! Залезь в душу! Ах, черт возьми, какая катастрофа! А Женья? А мать? При возникновении их образов сердце Виктора заныло, точно к нему присосались пиявки. Опять разлука, снова они одни! И он опять в одиночестве. Жизнь все менее и менее весела. Сейчас это он почувствовал как-то особенно остро. Неужели это оттого, что он перешагнул рубикон, на одной стороне которого остается юность с ее розовыми очками, а на другой встречает зрелость с ее холодным рассудком, угасающим пылом? Нет, не потому. Такие люди, как Виктор Заречный, сохраняют свежесть души до глубокой старости. Жизнь и в самом деле стала менее весела. Война и политическая реакция давили, как давят серые тучи осенью, когда они плывут над городом, где нет ничего, кроме тоски. Чему же радоваться? Жизнь Виктора все чаще стала наткаться на препятствия. И это понятно. Его личную жизнь трудно отделить от его общественной жизни. Многие из его товарищей по гимназии, окончив высшее учебное заведение, нашли себе хорошие места в государственном механизме: кто устроился судьей, кто помощником присяжного поверенного, кто помощником прокурора. Они не знают в жизни препятствий. Виктор Заречный связал свою жизнь с рево-

лющей, с борьбой за освобождение родины от самодержавия и капитализма, а самодержавие и капитализм боролись с революцией, боролись с такими, как Виктор Заречный. Поэтому-то на жизненном пути Виктора Заречного и стояли препятствия. Давно ли он вернулся из ссылки, и вот — снова в тюрьме!

Тут Виктор Заречный оглядел свою камеру.

«...Как подстреленный сокол из поднебесья упав на землю — я стал озираясь», — вспомнил он слова декабриста Михаила Бестужева, заключенного в Алексеевский рavelин страшной Петропавловской крепости.

Камера точно такая же, как и в прошлом году, только не на третьем этаже, а на втором. Кроме того, она была последней в коридоре; наружная стена ее выходила к горе, под которой стояла тюрьма.

Недолго Виктор Заречный находился в таком удрученном состоянии. В тюрьме главное — бодрость духа, режим и непрерывная деятельность. Максим Горький за какой-нибудь месяц сиденья в Трубецком бастионе Петропавловской крепости написал пьесу «Дети солнца». Чернышевский в ожидании суда в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости за год десять месяцев написал три тысячи печатных страниц, в том числе роман «Что делать?». Николай Морозов вышел из Шлиссельбургской крепости ученым. Наконец, Виктора ожидала, по-видимому, лишь новая высылка, а это — чепуха, как он мысленно выразился.

«Куда бы ни сослали, все равно убегу, — подумал он. — Завтра же надо взяться за работу. Женя, наверное, первым делом передаст бумагу и карандаши».

Откуда-то издали донеслась вечерняя молитва: «Отче наш, иже еси на небесех...»

Молитву пели уголовные.

После молитвы звуки, которыми была полна тюрьма, стали затихать, только где-то кто-то рыдал — так рыдает человек с расшатанными нервами в последнюю ночь перед казнью.

Виктор сел на табурет.

«Может быть, Гриша Доколе перед казнью сидел в этой самой камере. — Виктор оглядел стены и углы, где уже прятался сумрак надвигающейся ночи. — Гришу привезли сюда с гауптвахты, чтобы здесь задушить его. Сколько злодеяний совершено в этих стенах!»

Виктор опустил голову. Долго сидел неподвижно, уйдя весь в себя.

«Снести бы с Марком», — подумал наконец он.

Достав из кармана толстый красный карандаш, не отнятый у него при обыске, Виктор подошел к стене и стал выстукивать имя Марка по тюремной азбуке, изобретенной еще декабристом Михаилом Бестужевым и упрощенной последующими поколениями революционеров:

«Костя... Костя... Костя...»

Но знает ли Марк тюремную азбуку? Может быть, и слышит, да не умеет ответить?

«Костя... Костя... Костя...»

Вдруг раздалось глухое характерное постукивание не то в стену, не то в пол, не то в потолок. Кажется, в потолок. Заклоченный стучал, по-видимому, в пол своей камеры.

Виктор Заречный прислушался. Он ясно расслышал: «Кто стучит?»

Виктор ответил: «Некрасов».

Последовал вопрос: «Какому делу?»

Виктору стало ясно, что стучал не Марк.

«Политика», — ответил он.

«Я — уголовный».

Помолчав, Виктор вновь стал выстукивать: «Костя... Костя... Костя...»

Стены молчали, и вся тюрьма молчала в ночной тишине, только где-то все еще рыдал человек.

ОПЯТЬ ОДНА

Женя Уварова возвращалась домой из больницы в двенадцатом часу ночи. Она не любила вечерних часов своего дежурства — так неприятно было идти ночью! И такая даль! Чтобы сократить дорогу, она ходила не по центральному, довольно оживленному даже в полночь улицам, а окраинной города, по Комаровской, пересекала Суйфунскую площадь, потом шла по Нагорной. На всех этих улицах было довольно глухо в ночной час. Женя да и Виктор уже давно подумывали о переезде из Голубиной Падь куда-нибудь поближе к больнице, да все как-то не могли собраться осуществить свое намерение.

«На этой неделе надо поискать комнату, — подумала

Женя, — приду домой и поговорю с Виктором. Не забыть бы».

Часто бывало, что Женя, возвращаясь домой ночью, принимала решение, как только войдет в дом, сейчас же скажет Виктору, чтобы он дал объявление в «Далекой окраине» о комнате в районе Набережной (и близко от больницы и прекрасный вид на Амурский залив), но, увидя сквозь листву деревьев свет в окнах своей комнаты, войдя в дом, в свою уютную, довольно просторную комнату, она или сразу же забывала о своем намерении, или говорила Виктору, встававшему ей навстречу из-за рабочего стола:

— Витя, я опять хотела просить тебя дать объявление о комнате, но... как увижу наш сад, так станет жаль расставаться с ним. В городе мы не найдем такой прелести. — Она подходила к открытому окну. — А воздух какой! Иди сюда!

На клумбы падал свет из окон; белели цветы табака, слышен был их запах; золотые шары, покачиваясь, кланялись.

— Садик хорош, — отвечал Виктор, — но я хотел бы, чтобы вид из окна у нас был на Амурский залив. Здесь никакого горизонта.

— Ну, дай объявление, — говорила Женя.

Однако проходили дни, недели, а они все жили и жили в Голубиной Пади...

Подойдя к дому, Женя удивилась, что в окнах не было света.

«Неужели Виктор еще не вернулся с массовой? Может быть, спит? Нет, это на него не похоже».

Она постучала в дверь со двора.

— Кто там? — послышался голос хозяйки.

— Откройте, Фелицата Даниловна.

Хозяйка открыла. Вид у старушки был встревоженный.

— Что случилось, Фелицата Даниловна? — спросила Женя.

— Несчастье, Евгения Павловна.

— Что такое? — Сердце у Жени сжалось до боли. — Юрий Федорович...

— Арестованы.

— Здесь?

— Прибегал рабочий... как его?..

— Старостин.

— Да, да.

— Ну?

— Ну, и сказал, что на Орлином Гнезде митинг был и всех захватили. Ему удалось убежать. Порывшись в столе, забрал бумаги какие-то, газеты. Обыск, говорит, может быть. Только вы, говорит, Фелицата Даниловна, не бойтесь, я все взял. А вы, говорит, скажите, что Юрий Федорович все дома сидит, занимается, никто у него не бывает.

— Ну?

— Никто пока не приходил.

До рассвета в страшной тревоге Женя просидела в комнате у открытого окна, не дотронувшись до ужина. Запах цветов мучительно напоминал Виктора; тоска, ужасная тоска лежала на сердце. Когда стало светать, она увидела в саду полицейских, затем раздался стук в дверь. Прятать и уничтожать нечего было, и Женя, подавив волнение, пошла в кухню, открыла дверь. Вошли пристав, околотовичный и несколько человек жандармов и городских.

Обыск продолжался около часа. Он был настолько безрезультатен, что пристав смущенно мялся, оглядывал комнату и долго не приступал к протоколу.

— Пишите, — сказал он наконец околотовичному надзирателю.

Женя подписала протокол, в нем было сказано: «Ничего предосудительного обнаружено не было». Полиция удалилась.

В комнату вошла хозяйка:

— Нашли что-нибудь?

— Да нет, конечно, ничего.

Хозяйка покачала головой.

— У меня есть к вам, Фелицата Даниловна, просьба.

— Слушаю, Евгения Павловна.

— Сходите, пожалуйста, к Старостину.

— Схожу, Евгения Павловна, схожу, милая.

Женя подробно рассказала хозяйке адрес рабочего военного порта Старостина, передала записку, чтобы он по дороге на работу зашел в аптеку на Афанасьевской улице.

Обе, и Женя, и хозяйка, вышли из дома, как только

поднялось солнце. Хозяйка к Старостину; Женя — в аптеку.

Жене пришлось ждать недолго. Скоро прибежал Старостин в синем рабочем костюме.

Аптека была пуста. За стойкой дежурный фармацевт, Женин знакомый, растирал в фарфоровой чашке мазь.

Старостин и Женя сидели на дубовой скамье и тихо разговаривали.

— Понимаете, окружили фараоны Орлиное Гнездо, — рассказывал Старостин. — Мне удалось вырваться. Издали видел, как схватили Юрия Федоровича. Кажется, и Марка.

— Несчастье! — упавшим голосом промолвила Женя.

— Да, это, конечно, большое несчастье, потеря для революции.

Старостин говорил так, будто Виктор и Марк были по меньшей мере уже на том свете.

— Что же это вы, товарищ Старостин, хороните их? Право, просто похоронная речь. «Потеря для революции». Даже смешно.

Жене и в самом деле стало смешно, что ее Виктора, не кого-нибудь, а Виктора... хоронят. «Потеря для революции!»

— Я, может быть, не так выразился, — оправдывался Старостин. — Потеря в том смысле, что их оторвали от работы.

— Это другое дело.

— Вот я и хотел сказать.

— Вы говорите, что и Марк арестован?

— Кажется.

— Плохо, очень плохо.

— Да уж куда хуже.

— Ну, до свидания, товарищ Старостин. Пойду к жене Марка. Спасибо вам.

— То, что я взял у Юрия Федоровича, все спрятал.

— Хорошо. Спасибо.

— А вы не волнуйтесь, Евгения Павловна.

«Потеря для революции!» — вспоминала Женя слова Старостина по дороге к Александре Александровне Сухановой. «Чудак! Все это не так уж страшно. Виктор удачлив, убежит... Ему везет... Хотя, собственно в чем

ему везло? Бесконечные обыски, аресты. Да, но все аресты кончались пустяками. Он сам говорил, что родился под счастливой звездой. Как я люблю его!.. Но... у революционеров не должно быть слез. У них должно быть стальное сердце. Когда Софье Перовской надевали на шею петлю, она не плакала. Людмила Волкенштейн была приговорена к смертной казни, на руках у ее матери оставался пятилетний сын ее, и она не плакала. Когда смертную казнь без всякой ее просьбы заменили ей каторгой и повезли на пятнадцать лет в ужасные казематы Шлиссельбургской крепости, не дав даже проститься ни с сыном, ни с мужем, ни с матерью, она не плакала... Это были люди со стальным сердцем. А я?.. Смешно, как будто Виктору угрожает смертная казнь! Даже если бы и каторга! Ну и что ж? Я пойду за ним, куда бы его ни сослали. У меня тоже... стальное сердце. А сейчас нельзя терять время. Надо действовать».

Женя застала Александру Александровну в большой растерянности и тревоге.

— Вы знаете больше, чем я, — говорила Александра Александровна, волнуясь. — Я до вашего прихода не знала даже, где и за что арестован мой муж. На мой вопрос, где он, начальник охранного отделения ответил: «В спокойном месте». Я поняла, что в тюрьме.

— При обыске было что-нибудь найдено?

Александра Александровна перечислила все, что было обнаружено.

— Будут судить, — сказала Женя.

— Судить?

— Конечно.

— И к чему же могут присудить?

— Зависит от состава суда и вообще... ведь у вашего мужа отец в городе занимает большое положение.

— Это вряд ли может иметь какое-нибудь значение, так как между ним и моим мужем плохие отношения.

— Это другое дело, а то он мог бы повлиять на решение суда. Мне за два номера заграничной нелегальной газеты «Социал-Демократ» дали три года восемь месяцев ссылки.

— Три года восемь месяцев! — ужаснулась Александра Александровна.

— Да, три года и восемь месяцев.

— И вы отбыли этот срок?
— Отбыла.
— Что же грозит моему мужу?
— Могут дать тюрьму. — Женя подумала хуже, но не сказала.

Александра Александровна побледнела. Дрожащими руками она вынула из коробки папиросу и закурила.

— Я вас расстроила? — сказала Женя. — Вы, вероятно, впервые сталкиваетесь со всем этим?

— Да, впервые... Сегодня ушел наш поезд... Весной у мужа государственные экзамены... Как это все ужасно!

— Я вас понимаю.

— Что же делать?

— Прежде всего надо обратиться к адвокату. Добиться свидания.

Две молодые женщины, потрясенные арестом мужей, не могли говорить ни о чем другом, как только о мужьях. И весь час, который Женя пробыла в квартире у Александры Александровны, они говорили все об одном и том же...

В это утро в студенческом вагоне скорого поезда Владивосток — Петроград отсутствие Кости Суханова и его жены Шуры Солис вызвало недоумение. Прозвучал первый звонок, второй, а Кости и Шуры все не было. Большая компания студентов и курсисток владивостокцев, членов землячества Уссурийского края, любивших Константина Суханова как своего председателя и просто как чудесного товарища Костю, волновалась.

— Что бы это могло значить? Где он запропал?

Вокзальный сторож в третий раз ударил в колокол.

— А Кости все нет! — восклицали его друзья, смотревшие из всех окон вагона.

Так поезд и ушел без Константина Суханова.

ГОРЕ СТАРИКА СУХАНОВА

В углу на обитом коричневатым гобеленом диване, поставив локти на стол, покрытый такого же цвета бархатной скатертью, и обхватив руками большую, коротко стриженную серебристо-черную голову, сидел старик

Суханов. В гостиной и во всем доме было тихо, как бывает тихо при покойнике.

О чем загоревал старик? Ему ли при его положении в городе, достатке и домашнем уюте тужить и кручиниться? В гостиную лился свет чудесного августовского утра. Всюду стояли цветы. Слева у окна раскинула свои темно-зеленые листья пальма. У стены чернело лаком пианино. С потолка свешивалась люстра. Два больших трюмо отражали стоявшие перед ними изящной работы японские черные столики с бронзовыми канделябрами на них. Когда Александр Васильевич ездил в Японию полечиться и отдохнуть, много прекрасных японских вещей и вещей привез он с собой. Альбомы с перламутровыми аистами, лежащие перед ним на столе, он купил в Токио. Великолепную маленькую, тонкой резной работы ширмочку, что стоит перед камином, он купил также в столице Японии. Александр Васильевич был большим любителем изделий японских кустарей (да кто их не любит!). Какие только статуэтки не стояли на камине и на этажерке! Но ни на что не глядел сейчас Александр Васильевич. Он был убит горем. Сын его арестован и посажен в тюрьму. Сын его пошел против того, кого он почитал превыше всего после бога. В проезд по Южно-Уссурийскому краю его императорского величества Николая Александровича, когда он был еще наследником, в мае 1891 года (Александр Васильевич в это время занимал должность начальника Южно-Уссурийской округи), при отправлении с четвертого поста на пароходе «Ингода» наследник цесаревич соизволил лично выразить Александру Васильевичу милостивую благодарность за порядок в округе и отличное состояние дорог. Вот тут, на камине, среди статуэток, стоит кабинетный портрет венценосца в серебряной рамке с выгравированной надписью «Александру Васильевичу Суханову». На портрете в правом углу внизу собственноручно его императорским величеством написано «Николай». В кармане у Александра Васильевича лежат массивные золотые часы с инициалами его императорского величества. И он, Константин, пошел против него! И он, сын его, сейчас в тюрьме. В тюрьме! Боже мой! Растил его, двенадцать лет учил, и вот тебе — отблагодарил отца. Как же он теперь покажется в Областном правлении? Что скажет

Гондатти? Начальник края, шталмейстер двора его императорского величества, и без того недолюбливает старика за его непокорный характер, а тут такой ужасный...

Александр Васильевич не додумал. В гостиную вошла Анна Васильевна. Она не шла, а тихо, без всяких звуков, покачиваясь, скользила, как тень, по ковру в своей длинной юбке. Она вся высохла и почернела. Села в кресло рядом с мужем и робко тронула его за рукав зеленого сюртука. Старик не шевельнулся.

— Отец!

Старик молчал.

— Отец! Ты можешь...

— Что тебе надо от меня? — грубо спросил Александр Васильевич.

— Надо похлопотать за Костю...

— И не подумаю! И не подумаю! И не приставай ко мне с этим! Слышишь? — Александр Васильевич грозно посмотрел на жену, будто она была виновата в их несчастье.

Анна Васильевна не выдержала его взгляда, опустила глаза, закрыла лицо руками и заплакала.

— Он не стоит того, чтобы хлопотать о нем, — сердито сказал старик. — Ты знаешь, какие бумаги у него нашли? Его собственной рукой написано: «Долой самодержавие! Долой войну!»

Ужас еще больше объял бедную Анну Васильевну. Ну, война действительно надоела, надо бы ее прикончить, но самодержавие... подумать только: «Долой самодержавие!» И это написал Костя. Ее любимый младший сын, такой ласковый, такой веселый, с такими ясными глазами!

Анна Васильевна зарыдала.

— За пять лет, пока Константин учился в университете; — говорил между тем старик, — он не написал мне ни одного письма. Все тебе писал. Пять лет я не слыхал от него слова «папа». За время каникул он ни разу со мной не поговорил, не подошел ко мне...

— У него твой характер, — осмелилась возразить Анна Васильевна,

Старик сначала не нашелся, что сказать. Это верно, у Кости характер был отцовский; он пошел не в мать —

женщину со слабеньким сердцем. Но во всяком случае... Александр Васильевич подумал и сказал:

— Пусть он свой характер показывает на детях своих, когда они будут, а не на мне.

Он замолчал и опять обхватил серебристо-черную голову смуглыми морщинистыми руками. Пять лет уже прошло, как он впервые почувствовал отчужденность сына, понимал причину этого, но не мог примириться с тем, что произошло с Костей. Это были два мира: старый, отживавший мир и новый, грядущий.

— Отец! — опять умоляюще посмотрела на мужа Анна Васильевна.

— Ну?

— Если ты не хочешь ради Кости, сделай ради себя.

Старик понял, о чем она говорит.

— Вздор ты говоришь. Ничего нельзя сделать. Политическое преступление! — Он произнес эти слова — «политическое преступление» — так многозначительно, что у Анны Васильевны мороз по коже побежал. — Ты понимаешь, наш Константин — государственный преступник!

Сердце у Анны Васильевны сжалось болью.

Старик взял в руки палку, лежавшую у него на коленях, и поднялся, опершись на нее.

— Отец! Может быть, ты похлопочешь... хоть взять его на поруки. Ведь ты можешь...

Александр Васильевич удивленно посмотрел на жену. Сегодня она какая-то особенная. Никогда не бывало, чтобы она высказывала мысли, которых не было у него самого в голове, а сегодня она говорит такие вещи, которые совершенно не приходили ему на ум.

— На поруки? — переспросил он.

— Ну да, на поруки, — повторила Анна Васильевна, уловив в голосе мужа какую-то мягкую нотку, давшую ей надежду.

— Об этом я подумаю, — Александр Васильевич поправил под галстуком орден святой Анны и вышел из-за стола, опираясь на палку и сильно хромая. — Впрочем, — остановившись посреди гостиной, сказал он, — не буду я хлопотать. Не буду! Не стоит он. — И старик пошел к выходу в переднюю.

Был в городе еще один дом, где арест Кости Суханова должен был вызвать тревогу. Дом этот — довольно угрюмого вида — стоял под самым Орлиным Гнездом, на Последней улице. Он взобрался так высоко, что из окон его был виден раскинувшийся на десятки верст Амурский залив, коммерческая часть бухты Золотой Рог, Русский остров, Эгершельд.

Верхний, кирпичный этаж этого дома занимала гимназия Сибирцевой, в нижнем, сложенном из серого камня, жила сама семья Сибирцевых.

В этот дом направилась жена Кости Суханова за сочувствием и советом.

Был послеобеденный час. За столом оставались Мария Владимировна и Михаил Яковлевич. Отставив от себя тарелку, Мария Владимировна раскладывала пасьянс и покуривала. Михаил Яковлевич читал газету. Дочь Сибирцевых Вероника, или Ничка, как ее звали в семье, убирала посуду со стола.

В квартире Сибирцевых была прежняя обстановка, которая кочевала с ними из одной части города в другую. Когда-то она была нарядная, теперь состарилась, как и ее владельцы. В столовой стояли по углам все те же этажерки с вазочками и статуэтками, те же книжные шкафы (в квартире много было книжных шкафов), тот же высокий, чуть не до потолка, превосходной работы резной буфет и бархатный диван. В комнате Михаила Яковлевича находилась та же картина «Изгнание Адама и Евы из рая», пробитая пулей над головой Адама; ее было видно из столовой. Возле Марии Владимировны в банке с табаком лежала, кажется, та же самая машинка, при помощи которой 10 января 1906 года, когда Сибирцевы жили на Посьетской улице, Мария Владимировна набивала папиросы, угощая ими солдат, забежавших в квартиру во время расстрела демонстрации.

Мария Владимировна Сибирцева представляла замечательное явление русской общественной жизни. Отец ее, служивший по министерству внутренних дел в Астрахани, Владимир Иванович Кунц, по происхождению немец, умер, когда ей было двенадцать лет. Мать, дочь богатого крестьянина Астраханской губернии, была бо-

лезненной женщиной, и вся тяжесть домашней работы легла на плечи старшей дочери — Марии. Небольшое наследство, оставленное Владимиром Ивановичем Кунцем, позволило ей окончить гимназию и поехать в Петербург, на Бестужевские курсы. Еще до отъезда в столицу ей посчастливилось познакомиться со студентами, высланными оттуда в Астрахань в связи с событиями 1 марта 1881 года¹, и это знакомство оставило глубокую борозду в сознании гимназистки Марии Кунц. Казалось, сама судьба толкала ее на революционный путь. Но, выйдя замуж за студента Михаила Сибирцева, Мария Владимировна скоро оставила курсы: началась кочевая жизнь мужа, родился первый сын, за ним второй, жизнь которых, впрочем, длилась недолго, будучи принесенной в жертву «дерзаниям» отца, как выражался сам Михаил Яковлевич. Мария Владимировна в силу тех же «дерзаний» мужа и семейных забот долгие годы обречена была на жизнь без всяких дерзаний. Все та же кочевая жизнь мужа занесла ее в 1897 году в Приморский край. Около тридцати лет прожила она здесь. Не участвуя активно в революционном движении, она всей своей пылкой душой была с революционным народом. Созданная ею за три года до описываемых событий во Владивостоке прогимназия несла в себе зародыши будущей свободной школы. Отрешившись от личной жизни, перестав отделять личную радость от радости общественной деятельности, всю себя она отдала воспитанию молодого поколения. Она как бы освободилась от телесной оболочки, и в ней засиял, теперь уже не меркнувший до конца ее жизни, внутренний свет. Исподволь, незаметно она воспитывала у юношей и девушек передовые идеалы, став духовной матерью тем из них, которые вместе со всем народом Приморья впоследствии боролись с японо-американской интервенцией. Из ее гнезда вылетели такие соколы, как Всеволод и Игорь Сибирцевы. Молодежь, воспитываемая ею, росла у нее на глазах. Вместе с молодежью, со своими соколами росла духовно и сама Мария Владимировна.

Небольшого роста, с высоким лбом, темной головой, в которой серебрились лишь отдельные седые волосы, крепко сжатыми губами, умным, пронизательным и твер-

¹ Убийство Александра Второго.

дым взглядом, Мария Владимировна олицетворяла собой простоту, скромность и несокрушимую твердость воли. Не зная всего того, что произойдет в дальнейшем, в годы интервенции, можно было сказать о ней: да, это стальная женщина. И действительно, в тяжелые годы интервенции и проявилась в полной мере вся сила ее прекрасной души.

Михаил Яковлевич Сибирцев также был приметной фигурой в среде прогрессивной интеллигенции города. Отец его — украинский казак, земский фельдшер; мать — потомственная дворянка, дочь декабриста. Передовые традиции со стороны матери сыграли благотворную роль в воспитании юноши Михаила. Будучи еще гимназистом восьмого класса он завязал связи с народовольцами — это было в год убийства Александра Второго, — вскоре попал в тюрьму, и с тех пор начались гонения, аресты, переезды из города в город, переход из одного университета в другой. Только жажда знаний да связи родителей с такими влиятельными людьми, как друг детства отца — попечитель Московского учебного округа граф Капнист, сын декабриста Капниста, позволили ему через десять лет закончить высшее образование.

Необыкновенно бурная молодость была у этого, теперь уже седого, хотя и не старого, все еще статного человека. В Москве он принимал участие в студенческих волнениях, в попытке разгрома типографии Каткова на Страстном бульваре, где печаталась реакционная газета «Московские ведомости». В Петербурге, где он и встретился с Марией Владимировной в 1883 году, его исключили из университета за причастие к организации воскресных школ для рабочих и к демонстрации у квартиры обер-прокурора святейшего синода Победоносцева, того самого, у портрета которого на одной из петербургских художественных выставок красовалась надпись: «Просят не плевать». Перебравшись в Казань и поступив там в университет, беспокойный студент Михаил Сибирцев уже через полгода вылетел из университета за участие в студенческих беспорядках. Неутомимый, он едет в Питер и здесь сдает экзамен экстерном при университете и получает диплом кандидата естественных наук. Но еще в Миргороде, у себя на родине, наблюдая, как к отцу его, земскому фельдшеру, приходили больные крестьяне, Михаил Яковлевич — тогда подросток

Миша, — решил стать врачом. Ему удалось в 1890 году поступить на третий курс военно-медицинской академии, но уже в следующем году он был исключен из академии за организацию манифестации при похоронах писателя Шелгунова. Так и не осуществилась мечта его посвятить себя врачебному делу.

Приехав в Приморье, Сибирцев больше уже не покидал этого края. В первые годы после приезда он был одним из редакторов прогрессивной газеты «Приморский вестник». Шесть лет тому назад он оставил службу податного инспектора и стал преподавателем естествоведения, географии и химии в мужской и женской гимназиях. Старая закваска прогрессивного деятеля навсегда осталась в нем. Его влек к себе Народный дом, где он был членом правления народных чтений, влекла молодежь, которой он отдавал свои знания. Сдержанный, в противоположность пылкой, горячей жене своей, он по-своему любил юношей и девушек.

Дом под горой был точкой притяжения молодежи — поколения, центром которого являлся младший сын Сибирцевых Игорь, или Гуля, как ласково звала его мать. В этом красивом черноволосом юноше, похожем на отца, с крепкой, как у спортсмена, грудью (он и был превосходным спортсменом), с матовой загорелостью кожи лица, бурлила кровь его незаурядных родителей. Он взял у отца пыл его ранней молодости, у матери — ее неиссякаемую энергию и общительность. Это он всего месяц назад собрал в одном из пустовавших классов на нелегальное собрание юношей и девушек, перед которыми Костя Суханов предстал, как пророк. Все эти юноши и девушки только-только вступали в жизнь. Они смутно мечтали о какой-то благородной деятельности, даже о жертве ради счастья любимой родины. На собрание шли с трепетно бившимся сердцем. Речь Кости Суханова посеяла в их душах смятение, подняла вихрь новых мыслей и чувств.

В этом доме процветал кружок любителей сценического искусства, душой которого был Игорь. В просторном актовом зале гимназии, четыре окна которого смотрели на Золотой Рог, еще совсем недавно была сооружена сцена с рампой, занавесом и прочими принадлежностями всякой сцены, звенели юношеские голоса, раздавался смех; декоратор, разостлав полотно до всему

«зрительному» залу, рисовал декорации; помощник режиссера, полная стриженная ученица «зеленой» гимназии Тамара Головнина, сидя в сторонке на стуле, составляла опись реквизита, необходимого для постановки пьесы; Михаил Яковлевич, режиссер кружка, держа в руке пьесу Островского «Без вины виноватые», или «На бойком месте», или какую-нибудь другую пьесу, расставлял актеров на сцене, Мария Владимировна, бывало, сидя возле Тамары Головниной, спрашивала: «Какой вам нужен реквизит?» Тамара показывала опись реквизита. Просматривая опись, Сибирцева прислушивалась к тому, что говорил Игорь, репетировавший роль Шмаги, и думала: «Хорошо идет у них эта вещь». А когда Тамара Головнина, бывало, появлялась на сцене в своей «коронной» роли ямщика в пьесе «На бойком месте» и восклицала: «Как прикажете, так и будет. Духом докатим!» — глаза у Марии Владимировны загорались восторгом. Любила она Тамару Головнину за тот «огонек», который был в характере этой энергичной девушки.

Теперь уже не увидишь и не услышишь всего этого. Игорь окончил гимназию и уехал в Петроград, в Политехнический институт, старший сын Всеволод нынешним летом не приезжал — он призван в армию, кружок любителей сценического искусства распался. В доме воцарилась тишина. . .

И Мария Владимировна и Михаил Яковлевич, каждый в отдельности, молча, не делясь друг с другом, словно чужие, тяжело переживали разлуку с сыновьями. Шла бесконечная война, и тревога за судьбу детей, за их жизнь, лежала на душе и у того и у другого.

В открытые окна столовой долетали неясные шумы золотого дня. Сентябрь уже готовился сменить последний летний месяц. На белых косяках сидели, греясь под лучами солнца, божьи коровки; выпустив из-под жестких красных крыльев перепончатые свои крылышки, они вдруг снимались и улетали.

У Марии Владимировны плохо ложились карты. Михаил Яковлевич, прочтя газету, подремывал, сидя за столом.

В это время в столовую вошла Александра Александровна Суханова.

— Здравствуйте! — сказала она.

— Вы не уехали? — удивилась Мария Владимировна.

— Костю арестовали! — сказала Александра Александровна.

Мария Владимировна как держала короля пик в правой руке, а колоду карт в левой, так и застыла. Михаил Яковлевич, отложив газету, встал из-за стола и поздоровался с гостьей.

Бросив карты на стол, Мария Владимировна взялась за машинку для набивания папирос (она вообще много курила, а когда начинала волноваться, то первым делом бралась за папиросу).

— Арестовали? — переспросила она.

— Да, на Орлином Гнезде... собрание было.

Мария Владимировна хорошо знала Костю: он был большим другом старшего сына Всеволода и часто бывал в семье Сибирцевых. Ей было известно о его первом аресте в Петрограде и о происходившем у нее в прогимназии нынешним летом собрании молодежи с его участием. Но собрания здесь часто бывали: то собирался организованный Игорем кружок по совместной подготовке уроков, то сходились любители сценического искусства... не всегда Мария Владимировна вникала в характер этих собраний.

— Собрание на Орлином Гнезде? — переспросила она.

— Да, собрание рабочих, — ответила Александра Александровна и рассказала все подробности об обыске.

Мария Владимировна задумалась. Едва уловимая печаль скользнула в ее взгляде.

Молчание длилось с минуту.

— Что вы намерены предпринять? — спросила Мария Владимировна.

— Вот я и хотела с вами посоветоваться.

— Надо нанять адвоката. Я тоже пойду... разузнаю.

Мария Владимировна собралась, и они вышли из дома.

Где была Сибирцева, с кем говорила, осталось неизвестным, только вскоре же она послала в Петроград близким друзьям Кости открытое письмо такого содержания:

«Детка Костя заболел и его отвезли в больницу, что на Николаевском проспекте. Дома произведена дезин-

фекция. Нужно хлопотать о высылке документов об эпидемических болезнях Кости от главного врача Третьего отделения».

Под эпидемическими болезнями Кости надо было понимать прежний его арест в Петербурге. Документы об этом, потребовавшиеся во Владивостоке, могло выслать Петроградское охранное отделение или департамент полиции, где с 1880 года, после упразднения «знаменитого» Третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии, было сосредоточено руководство всем политическим розыском в России. Чтобы ускорить высылку документов, Сибирцева и послала в Петроград написанную эзоповским языком открытку.

Начались хлопоты друзей Кости Суханова.

У АДВОКАТА

Деревянный одноэтажный особняк присяжного поверенного Дукельского Николая Петровича стоял на углу Первой Морской и Федоровской улиц, против здания цирка.

За последние десять лет внешне, кажется, ничто не изменилось в этом уютном особняке, кроме того, что у владельца его стала другая жена. Молоденькую легкомысленную опереточную певицу, которую Николай Петрович Дукельский обучал русскому языку, географии и другим предметам по курсу гимназии, заменила тоже молодая, но очень скромная дама. Прежде Николай Петрович, посещая театр, сидел в первом ряду партера постоянно в одиночестве, так как жена его вертелась на сцене, не зная, куда деть руки, и пела приятным, но плохо поставленным голосом. Теперь в том же первом ряду партера рядом с ним всегда была его новая жена, высокая, красивая, в черном платье, с брильянтами в золотых серьгах.

Все так же часов в одиннадцать утра Николай Петрович выходил из подъезда своего особняка хорошо, но просто одетый, садился в собственную пролетку, запряженную великолепным рысаком, и кучер мчал его в окружной суд, помещавшийся в доме Старцева на Светланской улице.

Известность его как адвоката за эти десять лет ни-

сколько не победкла. Наоборот, он очень хорошо зарабатывал на уголовных и гражданских делах. Был таким же барином, но барином приятным, не причинявшим никому зла, а, напротив, делавшим немало добрых дел. Так о нем думали жители города. Седины еще не было в его светлых волосах, только волосы слегка поредели и наметилась лысина.

Узнав, по какому делу пришли к нему Александра Александровна Суханова и младшая дочь Александра Васильевича Суханова — девятнадцатилетняя Натадья, или Тася, как звали ее в семье, Николай Петрович оживился. Во-первых, он хорошо знал Александра Васильевича, был лично знаком с ним и готов был для него и для его сына сделать все, что было в его силах. Во-вторых, Николай Петрович Дукельский был человек прогрессивных убеждений (в 1907 году он оказывал даже материальную помощь подпольному Красному Кресту), и ему импонировало взяться за политическое дело, тем более что дело это было связано с именем значительного лица в городе.

Дукельский усадил молодых клиенток на кожаные стулья с высокими спинками у круглого резного черного стола, поставленного слева, как войдешь в кабинет. На столе в синей вазе красовался букет свежих белых астр.

В глубине кабинета, окна которого выходили на Федоровскую улицу, стоял большой письменный стол, заваленный бумагами, папками, сводами законов, всякого рода уложениями. Горела настольная электрическая лампа, хотя было десять часов утра.

Дверь в столовую — направо — была открыта, и видно было, как жена его в черном шелковом кимоно, в высокой прическе, только что, по-видимому, тщательно уложенной, сервировала стол к завтраку.

Николай Петрович — у него была довольно быстрая легкая походка — подошел к двери столовой, сказал жене: «Я скоро» — и прикрыл дверь.

Александра Александровна стала рассказывать об обыске. Николай Петрович слушал ее с особым, адвокатским вниманием, прерывая и направляя рассказ по тому руслу, который ему, очевидно, был нужен.

— Значит, Циммервальдский манифест был только в одном экземпляре? — спросил он.

— В одном.

— Хорошо. Отпечатанная прокламация группы социал-демократов тоже в одном экземпляре?

— В одном.

— Очень хорошо. То, что в одном экземпляре, это очень важно.

Николай Петрович подумал.

— Значит, главное, — сказал он, — это оригинал прокламации, написанной рукою вашего мужа?

— Я не знаю, что главное.

— Скажите, это был текст не выпущенной, а только предполагавшейся к выпуску листовки?

— По-видимому. Я не знаю.

— А может быть, это была просто копия какой-нибудь листовки? Может быть, ваш муж вовсе и не соби-
рался печатать прокламацию? Понимаете? Все это очень важно для суда.

Дукельский опять помолчал.

— Скажите, пожалуйста, что, кроме обнаруженного у вас при обыске, может доказывать принадлежность вашего мужа к группе социал-демократов города Владивостока, от имени которой был написан оригинал прокламации?

— Понятия не имею.

Дукельский подумал и сказал:

— Его, конечно, будут судить. Весь вопрос в том, каким судом. Если дело будет разбираться в военно-окружном суде, прокурор будет настаивать на применении сто второй статьи Уголовного уложения. В процессах подобного рода, происходивших под председательством Шинкаренко¹, обычно применялась третья часть сто второй статьи.

— О чем говорит эта статья? — спросила Александра Александровна.

Дукельский поднялся со стула — высокий и стройный, — прошел через кабинет к письменному столу, взял томик Уголовного уложения в черном кожаном переплете, вернулся и снова уселся на стуле. Он прекрасно знал законы, в том числе и знаменитую сто вторую статью, но, найдя главу «О бунте против Верховной Власти и о преступных деяниях против Священной Особы

¹ Шинкаренко — генерал-майор, военный судья, известный в Приморье жестокими приговорами в политических процессах.

Императора и Членов Императорского Дома», стал читать третью часть сто второй статьи:

— «Виновный в участии в сообществе, составившемся для учинения тяжкого преступления, статьей девяносто девятой предусмотренного...»

Дукельский пробежал глазами девяносто девятую статью; говорившую о посягательстве на жизнь «Священной Особы царствующего Императора», а также на низвержение этой «Особы» с престола. Он не сказал, что сама эта статья влекла смертную казнь.

— Ну? — нетерпеливо спросила Александра Александровна.

— Военно-окружной суд, как я уже сказал, квалифицирует подобное преступление, то есть принадлежность к революционной организации, как насильственное посягательство на изменение в России установленного основными законами образа правления с конечной целью низвержения с престола царствующего государя императора.

Нагромождение таких фраз, как «насильственное посягательство», «низвержение с престола», могло привести в трепет кого угодно. Страшно стало жене и сестре Кости за его судьбу.

— Какое же наказание? — волнуясь, спросила Александра Александровна.

— В статье сто второй три градации наказания: третья часть влечет каторгу без срока...

Он не договорил, увидев, как побледнели его клиентки.

— Но я приму все меры, — поняв свою неосторожность, быстро заговорил Дукельский. — Я буду настаивать на применении более мягкой статьи. Александр Васильевич со своей стороны повлияет. Я думаю, удастся добиться применения сто тридцать второй статьи.

— А что говорится в этой статье? — с трудом овладев собою, спросила жена Кости.

Дукельский открыл главу пятую Уголовного уложения — «О смуте», начинавшуюся как раз со сто тридцать второй статьи.

— Статья эта говорит о том, что виновный в составлении сочинения или изображения, возбуждающих к ниспровержению существующего в государстве общественного строя...

Он старался произносить помягче такие страшные слова, как «ниспровержение».

— В данном случае таким сочинением является написанная рукой вашего мужа прокламация. Но! В законе говорится: если распространение или публичное выставление их не последовало. . .

Надежда, как искорка, вспыхнула в душе у несчастных женщин, подавленных суровостью закона. До сих пор они и не подозревали, что их Костю ждет такая ужасная кара.

— . . .виновный, — продолжал Дукельский, — наказывается заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

— И это вы называете «мягкой статьей»? — с дрожью в голосе произнесла Александра Александровна.

— Да, но не каторга! Я не хочу вас огорчать, но на меньшее рассчитывать не приходится. . . Может быть, удастся добиться разбирательства дела в гражданском суде. Это было бы прекрасно! Совсем иной оборот может принять дело. — Он вынул часы, взглянул на них и встал со стула.

Молодые женщины также поднялись, оправляя платья.

— Передайте Александру Васильевичу, что я охотно берусь за дело и постараюсь сделать все, что будет зависеть от меня.

— Он ничего не знает о наших хлопотах, — сказала Александра Александровна.

— Вот как! — воскликнул Дукельский. Глаза его выразили удивление. — Почему же?

Догадавшись, по-видимому, что старик Суханов решил держаться в стороне от этого неприятного дела, он сказал:

— Обязательно скажите ему. Он может сильно помочь.

Адвокат проводил клиенток до наружных дверей.

ДОПРОС ВИКТОРА ЗАРЕЧНОГО

Август — один из лучших месяцев в Приморье. О туманах и помина нет, о них забыли и люди, и звери, и насекомые. Все радуются сиянию солнца в голубом небе, всех радует синяя тишина океана.

В тюремной камере, куда не заглядывает солнце, будоражит душу, рвет сердце на части каждый звук, долетающий с улицы.

Но бодрость духа — прежде всего.

На другой день после ареста Виктор Заречный, проснувшись, вскочил с кровати и, не одеваясь, стал делать гимнастические упражнения по системе Мюллера. Он вспомнил, как один из героев «Рассказа о семи повешенных» Леонида Андреева, будучи приговорен к смертной казни, упражнялся по системе Мюллера и даже в утро казни сделал упражнения. Виктору не угрожала смертная казнь, тем более следовало размять мышцы после сна.

Вскоре надзиратель (это был уже другой, добродушный тюремщик, по фамилии Фенюшкин) принес кусок черного хлеба и налил в эмалированную кружку тепленького жиденького чая, от которого пахло постным маслом.

На листке бумаги Виктор написал название двух книг — «Мартин Иден» Джека Лондона и «Воскресение» Льва Толстого — и просил Фенюшкина принести ему эти книги, если, конечно, они имеются в тюремной библиотеке.

В одиннадцать часов, когда Виктор ходил по камере, Фенюшкин открыл дверь и веселой скороговоркой сказал:

— В канцелярию пожалуйста. Жандарм за вами приехал.

Виктора Заречного повезли в охранное отделение. Там он предстал перед полковником Гинсбургом.

— Ваша фамилия?

— Некрасов.

— Имя?

— Юрий Федорович.

— Где проживаете?

— В Голубиной Пади.

— Улица?

— Тургеневская.

— Дом номер?

— Восемь.

— Какое отношение вы имеете к группе социал-демократов города Владивостока?

- Никакого.
- А что же вас привело на Орлиное Гнездо?
- Пошел, чтобы полюбоваться морем. Влез на сопку, а там собрание...
- Скажите, какая случайность!
- Да, просто удивительно.

Виктор Заречный произнес эту фразу с такой искренностью, что Гинсбург подумал: «Мастер врать!»

— И с Сухановым вы там первый раз встретились? — спросил он.

— С каким Сухановым?

— Со студентом Константином Сухановым.

— Никакого Суханова я не знаю. Повторяю, не успел я взобраться на гору, как она была окружена полицейскими.

Гинсбург усмехнулся.

— Откуда вы изволили прибыть во Владивосток?

— Из Риги.

У Виктора был подложный паспорт, выданный, как значилось в паспорте, приставом 2-го участка города Риги и прописанный только во Владивостоке. Виктор понял, что дело его пропавшее.

— В Риге где проживали? — спросил полковник.

— На набережной Двины, — наобум ответил Виктор.

— Дом номер?

— Десять.

— Квартира?

— Квартира семь.

— Вы мещанин города Риги?

— Да.

Что другое мог сказать Виктор? Все равно игра его была проиграна. Вопрос времени.

— Вы уроженец Риги?

— Да.

Гинсбург выдвинул ящик письменного стола, достал коробку папирос «Зефир» и протянул Виктору:

— Курите? Пожалуйста.

— Благодарю вас. — Виктор взял папиросу, хотя он и не курил.

Гинсбург зажег спичку, Виктор прикурил. Затем начальник охранного отделения открыл папку, где вместе с протоколом ареста и личного обыска Виктора нахо-

дился его паспорт, повертел подложный документ в руках, перелистал его и спросил:

— Вы получили паспорт перед самым отъездом из Риги?

— Да. Перед самым отъездом. Не успел его там прописать.

Виктору уже противно было врать, так как ложь была бесполезна.

«Запросят Ригу — и finita la comedia», — подумал он.

— Тэк, тэк, — задумчиво произнес Гинсбург. — Ну, а скажите, пожалуйста, господин Некрасов, какое отношение вы имеете к группе социал-демократов города Владивостока? — Говоря это, Гинсбург следил за выражением глаз Виктора (он считал себя большим психологом), будучи уверен в том, что глаза этого «значительного» человека, как его называл «Северов», выдадут его.

А Виктор сказал:

— Повторяю, никакого.

Чтобы не смотреть в глаза Гинсбургу, Виктор стал глядеть в самую его переносицу, где росли два толстых черных волоса.

— Никакого?

— Никакого. — Виктор не спускал глаз с черных волос, которые росли на том месте, где им не положено расти.

Гинсбург между тем подумал:

«Сказать или не говорить относительно собрания на Чуркине и в Переселенческом управлении? Пожалуй, не стоит: может заподозрить, что в их среде имеется провокатор. Подожду. Потом».

— Ну что ж, господин Некрасов, — сказал он, — посидите немного у нас в тюрьме, а там видно будет.

— Дайте мне, пожалуйста, лист бумаги, — сказал Виктор, — я напишу прокурору жалобу на незаконное задержание меня.

— Это вы сделаете в тюрьме.

Гинсбург нажал кнопку электрического звонка. Вошел человек в штатском. Взглянув на Виктора, человек удивленно поднял кверху черные брови и будто вспомнил что-то. Виктор узнал его.

— В тюрьму, — сказал Гинсбург.

Человек в штатском многозначительно посмотрел на Гинсбурга.

— Сфотографировать? — спросил он.

Гинсбург спохватился:

— Да, да, конечно.

Человек в штатском открыл дверь, пропустил Виктора и пошел за ним.

В фотолаборатории охранного отделения Виктора сфотографировали, сбрили у него небольшую бороду и еще раз сфотографировали, а затем отправили в тюрьму.

ЖЕНЯ УВАРОВА В СМЯТЕНИИ

Женя шла по Лазаревской улице и смотрела на номера домов. В ридикюле у нее лежала повестка, подписанная полковником Гинсбургом и врученная ей накануне утром каким-то подозрительным «типом», как она мысленно назвала письмоводителя охранного отделения Ковердынского.

Найдя дом под номером девятнадцать, она вошла в него, открыв двустворчатую, выкрашенную белой краской дверь. В канцелярии за письменным столом сидел человек в штатском. Женя вынула из ридикюля повестку.

— Я получила повестку, — сказала она.

Человек в штатском взял повестку, взглянул на фамилию.

— Садитесь, — сказал он. — Минуточку.

Он встал из-за стола и вышел из канцелярии.

Войдя в кабинет к Гинсбургу, он сказал:

— Пришла.

— Проси.

Женя вошла в кабинет Гинсбурга. Начальник охранного отделения бросил на нее быстрый взгляд, поднялся из-за стола, жестом руки указал на кожаное кресло и сказал:

— Прошу... Садитесь, — и сел сам.

Некоторое время он рассматривал Женю, вспоминая приметы ее, описанные в одном из донесений Северова. Даже агент его был, по-видимому, пленен обаятельностью этой женщины. Особенно Гинсбурга поразила женственность, которая была в каждой линии фигуры Жени и которая нашла свое высшее выражение в маленьких, в меру полных, розовых руках ее. Ему сразу, едва она

вошла, а затем приблизилась к столу, бросилось в глаза достоинство, светившееся в ее красивых карих глазах, в ее походке. Достоинство это — Гинсбург это сразу понял, недаром он считал себя хорошим психологом — было не благоприобретенное, не выработанное в течение жизни. Нет. Оно было, несомненно, врожденное, полученное по наследству от каких-то благородных предков. Это несомненно.

Налюбовавшись молодой женщиной, Гинсбург приступил к допросу.

— Вы госпожа Уварова?

— Да.

— Евгения Павловна?

— Да.

— Кто ваш отец?

— Рабочий.

— Как рабочий?.. Какой рабочий? — Гинсбург не мог скрыть своего удивления.

— Мой отец был наборщиком в типографии.

«С первой же минуты начинает лгать», — подумал Гинсбург.

— Откуда вы приехали во Владивосток?

— Из ссылки.

— Где вы были в ссылке?

— В Канском уезде.

— За что?

— У меня нашли два номера газеты «Социал-Демократ».

— Со дня приезда из ссылки вы живете здесь безвыездно?

— Да.

— Замужем?

— Да.

— Как фамилия вашего мужа?

— Некрасов.

— Имя и отчество?

— Юрий Федорович.

— Чем он занимается?

— Журналист.

— Где пишет?

— В столичных газетах и журналах... Почему вы спрашиваете меня обо всем этом? Вы же это все знаете. Муж мой в тюрьме, вы, вероятно, уже допрашивали его.

— Такой порядок, госпожа Уварова... В каких отношениях вы со своим мужем?

— Станный вопрос.

— Вопрос естественный.

— Неуместный вопрос.

— Здесь такое место, где все вопросы уместны.

— Это с вашей точки зрения.

— А с вашей?

— С моей — есть такие семейные вопросы, до которых нет никому, кроме мужа и жены, никакого дела... Собственно, что вам угодно от меня? — Женя взволнованно посмотрела в упор на Гинсбурга.

«Чертовски красивые глаза! — подумал Гинсбург. — Ресницы-то какие!»

— Меня, собственно, интересует, — сказал он, — почему вы так волнуетесь?

— Меня волнует ваш допрос. Что вы хотите от меня?

— Я хочу задать вам два вопроса. Всего два вопроса.

— Пожалуйста, я вас слушаю.

— Первый: какое отношение вы имеете к группе социал-демократов города Владивостока? Второй: как настоящая фамилия вашего мужа?

— Отвечаю на ваши вопросы. Никакого отношения к группе социал-демократов я не имею. Фамилия моего мужа — Некрасов.

Гинсбург, смеясь глазами, сказал:

— Вы имеете непосредственное отношение к группе социал-демократов и восемнадцатого июля в Переселенческом управлении на Алеутской улице, дом номер сорок восемь, вы были на заседании этой группы.

Осведомленность Гинсбурга поразила Женю. Если бы он не указал числа и места собрания, она посчитала бы, что жандарм хочет взять ее «на ура». Точность даты и места смутили ее. Ей стало ясно, что в группу проник провокатор. Что же ответить? Отрицать или сказать, что была случайно на этом собрании? Если сказать второе, последуют вопросы об участии в группе Виктора и других. Если отрицать, провокатор вновь подтвердит.

«Ну и пусть подтверждает, а я буду отрицать, — решила Женя, — все равно очной ставки с провокатором не устроят».

Гинсбург в эти секунды думал, что он, пожалуй, зря поторопился назвать место собрания и дату его.

— Ни в каких социал-демократических собраниях я не принимала участия, — сказала Женя.

— Второй вопрос: как настоящая фамилия вашего мужа?

— Некрасов.

Гинсбург надавил кнопку электрического звонка. В кабинет вошел человек в штатском.

— Скажите, пожалуйста, — обратился к нему Гинсбург, — как фамилия мужа этой дамы?

— Виктор Григорьевич Заречный, — ответил человек в штатском.

Ужасное волнение охватило Женю. Сердце у нее забилось, как у дикой птицы, раненной и попавшей в руки охотника. Беспокойство за Виктора тенью метнулось в ее глазах. Она судорожно сжала в руке ридикюль. Гинсбург заметил это ее движение и не спускал глаз с нее.

— Я прошу оставить меня в покое, — поднявшись с кресла, сказала Женя и сделала движение по направлению к двери. Человек в штатском, загородив ей дорогу, взял ее за руку. Женя вырвала руку.

— Вы переходите всякие границы! — возмущенно воскликнула она.

— До границ еще далеко, — холодно проговорил Гинсбург. — Сядьте.

Женя, видя безвыходность своего положения, села в кресло.

— Итак, — сказал Гинсбург, — я жду ответа на мои два вопроса.

— Какие?

— Первый вопрос: какое отношение вы имеете к группе социал-демократов города Владивостока?

— Никакого.

— Вы отрицаете, что восемнадцатого июля присутствовали на собрании группы в Переселенческом управлении?

— Отрицаю.

— Хорошо. Задаю вам второй вопрос: как настоящая фамилия вашего мужа?

— Некрасов.

— Вы отрицаете, что вашего мужа зовут Виктор Григорьевич Заречный?

— Отрицаю.

— Вы свободны.

Женя встала и пошла к двери.

Когда дверь захлопнулась за Женей, Гинсбург сказал:

— Усильте наблюдение за ней.

Гинсбург сел в кресло, потер руки, закурил папиросу и с удовольствием затаился.

В страшном смятении Женя возвращалась домой.

ВТОРОЙ ДОПРОС ВИКТОРА ЗАРЕЧНОГО

На следующий день Виктора Заречного привезли в охранное отделение на второй допрос. На этот раз злая улыбка не сходила с лица Гинсбурга. Допрашивал он Виктора только для того, чтобы поиздеваться над ним.

— Какого числа вы убежали из Балаганска? — спросил он, едва Виктор сел в кресло.

Виктор ожидал другого вопроса. Он знал, понятно, что охранное отделение запросит Ригу, и был уверен, что Гинсбург получит ответ, в котором будет сказано: никому Некрасову никакой пристав никакого паспорта не выдавал. На набережной Двины действительно имеется дом номер 10, но никакой Некрасов там никогда не проживал. Но ответ этот будет не так скоро, не раньше, как через месяц.

«Узнал этот... в штатском, — подумал Виктор. — Игра проиграна. Запираться нет смысла».

— Я убежал не из Балаганска, а из Малышевки, — ответил совершенно спокойно Виктор.

— Очень жаль, что отправили вас так близко, надо бы куда-нибудь подальше.

— Куда бы меня ни выслали, я отовсюду убегу, — сказал Виктор.

Гинсбург не ожидал такого дерзкого ответа и разозлился:

— Да, таких, как вы, надо держать в казематах Петропавловской крепости.

— Ну, слишком много чести...

— Всех вас надо держать в казематах.

— А вы предложите министерству внутренних дел построить в каждом городе Петропавловскую крепость.

«Независим... Птица!» — подумал Гинсбург.

— С какого времени вы связаны с Сухановым? — спросил он.

— Сухановых трое. Которого вы имеете в виду?

— Того, с которым вы связаны.

— Ни с кем из Сухановых я не связан.

— Со студентом Константином Сухановым вы не связаны?

— Я с ним не связан, но знаю его с детства. Мы с ним в одной гимназии учились.

— Ваша гимназия...

— Почему «ваша», а не «наша»? Вы ведь тоже житель Владивостока.

— Я... моя родина не здесь. Владивостокская гимназия — это какой-то революционный рассадник.

— И при весьма благонамеренных педагогах, господин полковник!

Независимость Виктора, его иронический тон бесили Гинсбурга, но он страдал манией преследования и побаивался Виктора.

— А когда вы вступили в группу социал-демократов города Владивостока?

— А разве таковая здесь существует?

— А вы этого не знаете?

— Не знаю.

— И, может быть, вы будете отрицать, что восемнадцатого июля присутствовали на заседании группы в Переселенческом управлении? — выпалил неожиданно для самого себя Гинсбург.

«Вот оно что, — мысленно воскликнул Виктор. — Значит, кто-то выдал».

— Да, я отрицаю это, — ответил он.

— И, может быть, вы будете отрицать, что ездили на Русский остров (тут Гинсбург подумал: «Огорошу его») и разбрасывали там вот эти прокламации? — Гинсбург порывлся в донесениях «Северова», отколол от отношения военного губернатора прокламацию и передал ее Виктору.

Вид у Гинсбурга был как у победителя.

«Вот как у нас дело поставлено», — говорило его самодовольное, взволнованное успехом лицо.

Виктор взял в руки прокламацию, пробежал ее, равнодушно положил на стол и сказал:

— И это я отрицаю.

— Вот как?

— Да, так.

Спокойствие Виктора нервировало Гинсбурга. Ему захотелось сказать что-нибудь оскорбляющее самолюбие Виктора:

— Из ссылки вы бежали с девицей Евгенией...

— Из ссылки я бежал с женой своей Евгенией Павловной Уваровой, которая не была сослана, а только жила в Малышевке со мною.

— Допустим, с женой...

— Не допустим, а Уварова — моя жена. — Голос Виктора звучал возмущенно, а глаза горели ненавистью. Гинсбург стал трусить.

— Вы ушли ночью из Малышевки вместе с нею? — уже не знал Гинсбург, что спросить.

— Вам сообщили правильно. До Иркутска мы шли пешком. В Иркутске сели в поезд и приехали во Владивосток. Но какое теперь имеют значение эти ваши вопросы?

— Вы правы. Эти вопросы уже не имеют никакого значения. Ну что ж, господин Заречный, посидите еще немножко в тюрьме. Совсем немножко. Вопрос ясен, и я больше не буду беспокоить вас.

Гинсбург позвонил. Вошел человек в штатском, который на этот раз даже не взглянул на Виктора.

— Отправьте, — сказал Гинсбург.

У ТОВАРИЩА ПРОКУРОРА

За письменным столом с зеленым сукном, под портретом Николая Второго, сидел товарищ прокурора окружного суда Колесниченко. Это был недавно окончивший университет и делавший карьеру еще довольно молодой человек, брюнет с богатыми черными усами и глазами навывкате, как у рака. Он был необычайно быстр в движениях, энергичен. Его ожидала, несомненно, блестящая судебная карьера, так как в его жилах текла не обыкновенная человеческая кровь с красными и белыми кровяными шариками, а кровь особая, кровь карьериста, с особыми шариками. Был он коренной житель Владивостока; здесь кончал гимназию.

В приемной у него ожидали Анна Васильевна Суханова и Серафима Петровна. Знакомы они между собой не были и сидели молча.

Колесниченко принял обеих просительниц одновременно.

— Садитесь.

Женщины сели.

— Что вам угодно? — обратился он к Анне Васильевне.

— Двадцать седьмого августа был арестован мой сын... — начала было она.

— Как фамилия? — перебил ее Колесниченко.

— Суханов.

— Суханов! Константин! — с необычайным удивлением воскликнул товарищ прокурора и вперился в Анну Васильевну большими черными глазами рака, в которых вдруг вспыхнула непонятная для Анны Васильевны ярость:

— Так вы мать его?

— Да, я мать его.

— Мать Константина Суханова?

— Да, мать, — уже как будто виновато отвечала Анна Васильевна.

— Жена Александра Васильевича?

— Жена...

— Ну, нечего сказать, воспитали сына. Ай-я-яй! Как же чувствует себя сейчас его превосходительство Александр Васильевич? — иронически спросил Колесниченко.

— Он убит горем.

— Я думаю... Надо было смотреть за мальчишкой!.. Я получил извещение об его аресте. Что же вы хотите?

— Я хотела просить свидания с ним.

— Никаких свиданий! — грубо сказал Колесниченко. — Пока не закончится следствие, свидание разрешить не могу... А вам что?.. — обратился он к Серафиме Петровне.

Анна Васильевна, вытирая слезы носовым платком, стала умолять товарища прокурора:

— Я вас очень прошу.

— Никаких свиданий! — отрезал Колесниченко и устремил свои рабы глаза на Серафиму Петровну.

Мать Виктора поднялась со стула. На ней была все та же черная накидка и черный кашемировый платок, которые она носила лет восемнадцать, только стала она как будто меньше ростом.

— Я тоже насчет свидания с сыном, — робко сказала она.

— Как фамилия?

— Сына?

— Ну да, сына.

— Виктор Заречный.

— А! Беглый?! Бродяга?!

Серафима Петровна вздрогнула.

— Сын мой не бродяга, — гордо сказала она. — Сын мой...

— Революционер? — с злой усмешкой перебил ее Колесниченко. — Тоже воспитали! Нечего сказать!

— Я его воспитывала, когда он маленький был. Как могла, так и воспитала. Я неграмотная, отец у меня бурлак... Сын меня больше воспитывал, когда вырос.

— Ну и что же? Революционерку из вас воспитал? Просветил мать? — истекал ядом Колесниченко.

— Я пришла к вам не отчет о своей жизни давать, — с достоинством ответила Серафима Петровна, — а просить свидания с сыном.

— С бродягами свиданий не даем.

Серафима Петровна вся затряслась. Ей хотелось плюнуть в усатое лицо этому пучеглазому негодяю, усевшемуся под портретом «кровопийцы», из-за которого страдает ее сын, крикнуть, чтобы он не смел... Но разве она могла сказать хоть одно слово, которое бы ухудшило положение ее Витеньки? Надо сдержаться. Но ничего... придет время, отольются им ее слезы. Она поднесла уголок платка к дрожащим губам и медленно, как старые, утомленные жизнью люди, пошла к двери.

Колесниченко понял, что хватил через край.

— Я не могу разрешить свидание до окончания следствия, — крикнул он вслед Серафиме Петровне.

Не оборачиваясь, Серафима Петровна шла к двери.

Анна Васильевна тоже поднялась со стула и тоже молча вышла из кабинета товарища прокурора.

Две матери шли по коридору здания окружного суда. Мимо них шмыгали судейские чиновники в зеленых сюртуках и адвокаты в черных фраках.

Женя и Серафима Петровна в конце концов получили разрешение на свидание с Виктором.

Они вошли в тюремную калитку. Шли по двору между двумя кирпичными корпусами, а на них со всех четырех этажей обоих корпусов смотрели квадратные окна с железными решетками, из-за которых выглядывали заключенные. Серафиме Петровне были знакомы эти корпуса, в прошлом году она приходила сюда на свидание к Виктору. И Серафима Петровна и Женя нетерпеливо бежали все окна, но нигде не было видно Виктора.

Корпус, стоявший слева, имел в конце небольшой выступ, придававший всему этому зданию вид буквы «Г».

Они вошли в эту кирпичную пристройку, открыли дверь. Прямо был вход во внутреннее помещение тюрьмы. Вход был закрыт железной решетчатой дверью из двух створок, сцепленных щеколдой; на щеколде висел большой медный потускневший замок. Налево дверь вела в комнату для свиданий. Здесь у провололочной сетки уже стояли посетители, пришедшие на свидание с заключенными, находившимися за другой провололочной сеткой. В проходе между сетками медленно прохаживался дежурный надзиратель.

Прошлой весной Серафима Петровна так же вот стояла у решетки, ожидая, когда появится сын ее.

Показался Виктор. Он поразил и Женю и Серафиму Петровну своим веселым видом, радостно сверкавшими глазами. Бороды у него не было, подбородок и щеки гладко выбриты. Посмотрел он на мать и на жену такими добрыми, такими ласковыми глазами, что у Серафимы Петровны сразу отлегло от сердца. «Ах, какой же он!..» — подумала она. А Женя всем затрепетавшим сердцем своим рванулась к нему: «Милый мой! Милый!» — шептали ее губы.

— Здравствуйте! — весело крикнул Виктор.

— Здравствуй, сынок! — Серафиме Петровне хотелось обнять дорогого сына, но двойная провололочная сетка не давала ей возможности сделать это.

— Мне объявили, — почти радостно сказал Виктор. — Высылают в Киренский уезд.

Серафима Петровна с тревогой взглянула на Женю:

— Где это?

Не отвечая Серафиме Петровне, Женя спросила Виктора:

— На сколько?

— На пять лет.

Заметив испуг в глазах у матери и у жены, Виктор улыбнулся и махнул рукой:

— Чепуха! Какое имеет значение срок? — Понизив голос, он добавил: — Все равно убегу.

Серафима Петровна снова обратилась к Жене:

— Да куда высылают-то?

— Вы не волнуйтесь, мама, — ответила Женя. — В Киренский уезд, Иркутской губернии. Это не так плохо. А в какое место? — спросила Женя Виктора.

— Неизвестно. Объявят в Иркутске. — Виктор не переставал улыбаться, удивляя тем Серафиму Петровну. — Говорят, кроме меня, ссылают в Сибирь еще несколько человек. Разузнайте о Косте Суханове и напишите мне.

— Хорошо, хорошо, — ответила Женя. — А когда высылают?

— Завтра.

— Завтра? — в один голос воскликнули и мать и жена.

Нельзя было без боли в сердце смотреть, как они обе старались подавить охватившее их волнение.

— Я поеду за тобой, — решительно сказала Женя.

Виктор вцепился руками в сетку. Ему хотелось разорвать ее и броситься к Жене, к матери, целовать их... В самом деле, ведь завтра, завтра в далекий путь. Тоска, как яд, проникла в сердце. Пальцы его рук, просунутые в ячейки сетки, судорожно сжимались.

Минуту все трое молчали.

— Не надо, — сказал наконец Виктор.

— Почему? — Женя смотрела на него с такой тоской, что он не знал, куда девать свои глаза.

— Я долго не задержусь в ссылке.

— Я хочу быть с тобой.

Опять тяжкое молчание.

— Я боюсь, как бы и тебя не выслали, — заговорил Виктор. — Непонятно, почему они оставляют тебя в покое?

— Надеются, что я наведу их на чей-нибудь след.

— Возможно. Тебе надо уехать.

— Как чувствуешь-то себя, Витенька? — спросила Серафима Петровна, старавшаяся не мешать разговору сына с невесткой.

— Чудесно, мама.

— Ну и слава богу.

— Куда советуешь уехать? — спросила Женья.

— Куда-нибудь. Работу найдешь везде. Поезжай в Иркутск.

— В Иркутск?

— Будешь ближе ко мне. И Федя там. Я думаю, что, если удастся бежать, вряд ли можно будет вернуться сюда.

— Ни в коем случае.

— В том-то и дело. Придется, значит, обосноваться где-нибудь в Сибири или в Центральной России.

— Да, наверное.

— Ну вот, лучше, если ты заранее уедешь.

— Пожалуй.

Пока они говорили, Виктора все больше и больше охватывало беспокойство за Женю.

— Знаешь, уезжай немедленно, — сказал он.

Виктор заметил, как у Жени вдруг засияли какой-то мыслью глаза.

— Время вышло, — сказал надзиратель.

— Ну, до свидания, — Виктор улыбнулся.

— До свидания, — ответила ему улыбкой Женья.

— До свидания, сынок, — сказала печально Серафима Петровна, губы у нее дрогнули.

Все трое оторвались от сетки. Серафима Петровна и Женья вышли из комнаты на площадку. Виктор тоже вышел из арестантского отделения для свиданий. Они вновь увидели друг друга через дверь. Виктор помахал рукой и побежал к лестнице.

За воротами тюрьмы ноги у Серафимы Петровны подкосились, губы задрожали, слезы заволокли глаза. Женья взяла ее под руку.

— Пойдемте, мама. Не плачьте. Не надо плакать. Он убежит. Мы скоро увидимся. Он убежит.

Они дошли до кладбища, Серафима Петровна остановилась, обернулась, посмотрела на красные корпуса тюрьмы.

— Прощай, сынок! Прощай, Витенька! — сказала

она, губы у нее опять задрожали, и слезы бурными ручьями побежали по ее щекам.

А у Жени не переставали сиять глаза, как у человека, знающего свое место в жизни.

ОДИНОКИЙ УЗНИК

Владивостокское охранное отделение отправило ректору Петроградского университета совершенно секретный документ следующего содержания:

«Имею честь уведомить, что 27 августа сего года сын статского советника студент 4-го курса физико-математического факультета Петроградского университета Константин Суханов был арестован на незаконной сходке и заключен под стражу во Владивостокскую гражданскую тюрьму.

Произведенным обыском на его квартире обнаружен оригинал прокламации к товарищам рабочим от имени социал-демократов города Владивостока, составленный и написанный собственноручно Сухановым.

На основании изложенного мною о Суханове производится формальное, в порядке 1035 ст. Уст. Уг. Суд., дознание по обвинению Константина Суханова в преступлении, предусмотренном ч. I ст. 132 Угол. Улож.».

Документ этот, за № 120, подписал ротмистр отдельного корпуса жандармов Федоров. Дата — 17 сентября 1916 года.

Очень может быть, что адвокат Дукельский исполнил свое обещание, а может быть, тайно хлопотал старик отец, во всяком случае сто вторую статью Марку заменили более «мягкой» статьей, которая угрожала заключением в крепости на срок не свыше трех лет.

Получив обвинительный акт, Марк написал ректору университета прошение:

«Довожу до сведения вашего превосходительства о том, что я не могу возвратиться из данного мне университетом отпуска до 1 сентября 1916 г., вовремя. Причины моей неявки следующие: 27 августа, с. г. я был задержан в г. Владивостоке местным охранным отделением.

15-го же сентября мне предъявлено обвинение по 132-й статье Уголовного Уложения. Сообщая об этом, прошу ваше превосходительство причины моей неявики считать уважительными.

Конст. Суханов

г. Владивосток, 19 сентября 1916 года.

Владивостокская гражданская тюрьма»

Товарищ прокурора Колесниченко, прочитав прошение, подумал, что Константин Суханов издевается, прося ректора считать арест его «уважительной» причиной неявки на занятия в университет, но все же поставил на прошении штампель: «Просмотрено прокурором окружного суда».

Потекли томительные для Марка дни ожидания суда. Тюрьма была переполнена уголовными преступниками. Среди них был только один политический узник — Марк. До него доходили слухи, что по постановлению приамурского генерал-губернатора семеро членов группы социал-демократов города Владивостока из числа арестованных на Орлином Гнезде высланы в Киренский уезд Иркутской области, куда сослали и Виктора Заречного; что вскоре после ареста несколько членов группы «Юная Россия» были освобождены из-за отсутствия улик, которые доказывали бы принадлежность их к «преступному сообществу»; что обе группы прекратили свое существование.

Все эти слухи омрачали настроение Марка. В глубоком одиночестве, с тоской на сердце, часами простаивал он у решетчатого окна своей одиночной камеры, глядя на небо, такое ясное, манящее к себе, и думая то о «деле», так неожиданно провалившемся, то о родных своих, которым никак не удавалось получить свидание с ним, то о Питере, где были его лучшие друзья.

Изредка он писал жене, получал ответы от нее. Но письма шли через тюремную канцелярию и через прокурора. То, что хотелось сказать, не скажешь.

Но однажды, когда Александра Александровна укладывала в корзиночку продукты, чтобы на следующий день утром снести их мужу в тюрьму, в квартиру постучались. Дверь открыла Магдалина Леопольдовна. Вошел неизвестный человек. Он остановился у порога, снял шапку, робко спросил Александру Александровну Суханову. Мать позвала дочь.

— Это вам от мужа. — Человек протянул свернутое в трубку письмо без конверта.

Передав свиток, неизвестный сейчас же ушел.

Были сумерки, и Александра Александровна подошла к окну, выходящему на причал, где стоял пароход «Одесса». Грузчики, закончившие погрузку судна, спустились шумной гурьбой по широким сходням.

Лист бумаги большого формата, сложенный вдвое, так что получились четыре перенумерованные римскими цифрами узкие страницы, был покрыт ровными, до предела плотными строчками карандашных бисерных букв.

«Милая Шура! Наконец-то я имею возможность называть тебя так. Это письмо пойдет мимо грязных рук помощника начальника тюрьмы Гарана и не менее грязных — прокурора Гончарова. В письмах, посылаемых через контору, я не могу, да и не хочу высказывать ни своих чувств к тебе, ни сокровенных мыслей своих, ни душевных переживаний. И тебе, дорогая, советую избегать «сентиментальностей» в письмах. Мы и без слов понимаем друг друга. Ни поцелуев, ни ожиданий дня моего освобождения... ничего такого, над чем могли бы посмеяться подленькие душонки, которые поставлены в качестве церберов над людскими душами! Вспомни 2 марта 1914 года. Вспомни два моих слова: «Люблю тебя». Они обязательны теперь больше, чем когда-либо... По временам бывает невыносимо сидеть. Воли, воли, воли!... Только и твердишь это слово. А ведь воля близка... Шаг, другой — и ты за оградой. Но нет! Надо выносить страдания и выносить внешне спокойно. Малодушие недостойно идейного человека. Чуть смалодушествовал — какую радость доставишь власть имущим скотам. Горячо советую тебе помнить это. Я знаю, что унижаться перед ними ты не станешь, но все же прошу тебя: держись официально. Твои страдания велики, я угадываю это по письмам, читаю между строк. Терпи, надейся и верь в лучшие времена. Отбрось свой пессимизм. Помни, что подобных мне много. Их тысячи, десятки тысяч. Я нахожусь в сравнительно хороших условиях, хотя встречаюсь, а иногда и разговариваю только с уголовными. Как понять твои слова: «Я могу отсюда уехать, а потому «Летопись» Горького выписала на папино имя... Конечно, я могу уехать только с тобой?»

Я так расшифровал это место в твоём последнем письме: у тебя имеются сведения от прокурора или от кого другого (кого?), что суд даст мне немного, но потом будет высылка. Так ли? Если так, передай плитку шоколада «Нестле» — это будет условным знаком. Ты писала как-то: «...Мы с Тасей везде бегали, хотели выпросить, чтобы тебе легче было». Может быть, слово «выпросить» получилось случайно, но прошу тебя не делать этого. Ты это делаешь от избытка любви ко мне, желая освободить меня скорее? Так? Но, моя милая, старайся такими действиями не унижать ни себя, ни меня. Если это слово написано не случайно, то пойми, как тяжело будет мне принять твои хлопоты. Я знаю тебя, я уверен, что ты не станешь выпрашивать. Передай это и всем другим, особенно маме. Она, конечно, может пойти по этому пути, не зная того, что этот путь для меня хуже всего, хуже всякого наказания. Хлопочи, надоедай своими заявлениями синим мундирам и товарищу прокурора с рачьими глазами, но в рамках официальных просьб. Что же касается тюремной сволочи, то старайся не прибегать к помощи начальника тюрьмы Высотского, этого зерентуйского зверя. Когда он был начальником Зерентуйской каторжной тюрьмы, многие политические в Зерентуе не вынесли его зверств и покончили с собой. Здесь он свирепствует меньше, но полнейшее беззаконие царит в тюрьме... Сообщай, что делается со знакомыми в Питере. Пиши им, что я чувствую себя великолепно, часто вспоминаю всех, надеюсь скоро увидаться с ними. Попроси покупать книжки по текущему моменту. Насколько мне известно, вышли книги Бурцева, сборник статей «Вопросы войны и мира», «Марксисты на перепутье» (авторов не помню). Прислало ли товарищество «Мир» Плеханова? Квитанция перевода в моем бумажнике... Крепко целую мою милую, ненаглядную. Целуй всех. Письмо уничтожь.

К о с т я.

Александра Александровна прочла письмо, зажгла лампу на письменном столе, села у окна, поправила пенсне на носу, и снова голова ее склонилась над карандашными строками дорогого письма.



Часть третья

**МИР ХИЖИНАМ,
ВОЙНА ДВОРЦАМ**

АНТОН ГРАЧЕВ В АМЕРИКЕ

В одном из самых крикливых кварталов Сан-Франциско, примыкавших к причалам, где стояли пароходы под флагами стран всего мира, над входом в полуподвальное помещение мрачного каменного дома висела небольшая белая вывеска с надписью черными буквами:

Lunch place

Это была скромная закусочная, которую Антон Грачев называл «ресторан мамы Джонс». Сюда забегали на минуту, перекусить чего-нибудь. Сейчас Антон сидел здесь на одном из шести высоких, вращающихся, отполированных брюками посетителей стульев. На соседнем стуле лежала светлая, с загнутыми твердыми полями фетровая шляпа Антона. Остальные четыре стула были свободны. Антон сильно изменился. Это уже не был юноша, каким встретил его Виктор Заречный на конспиративной квартире Красного Креста во Владивостоке в 1907 году. Ему было уже под тридцать. Долгая жизнь вдали от родины, постоянные думы о ней наложили печать грусти на всю его внешность, на манеру сидеть, подперев рукой голову, говорить с какой-то особой тихой задумчивостью, смотреть с затаенной мыслью в глаза. Перед ним на узкой стойке, обитой чистым коричневым линолеумом, стояла тарелка с двумя желтыми глазками яичницы и куском поджаренного бекона. На другой, маленькой тарелке было несколько кусочков белого хлеба.

За стойкой, делившей закусную на две половины, у газовой плиты стояла спиной к Антону полная женщина. Рядом с плитой на столике лежали яйца, бекон, мясной фарш для котлет. Сильно пахло жареным.

Антон жевал бекон, запивал его кофе и смотрел на затылок женщины, на черные кольца ее волос.

Женщина посмотрела через плечо на Антона:

— Ну, как сегодня бекон? — белки ее глаз сверкнули.

— Превосходен, — ответил Антон.

Мамаша Джонс улыбнулась. У нее был полон рот белых зубов.

В дверях из внутреннего помещения закусной показался негр лет пятидесяти, с покорными глазами раба и седой курчавой головой. Это был муж мамашы Джонс.

— Добрый день, мистер Энтон, — сказал негр.

— Добрый день, мистер Джонс, — ответил Антон.

Негр поставил на пол корзину с булками и удалился.

С мамашей Джонс Антон познакомился вскоре после приезда в Сан-Франциско. Это была замечательная женщина, «самая симпатичная женщина в Америке», как говорил Антон. У нее в дни затишья с работой, иначе говоря — во время безработицы, когда в кармане нет ни цента, рабочий мог съесть в кредит, смотря по перспективам на заработок, или пару котлет, или кусок бекона с яичницей; мог выпить чашку кофе с заварными крекделями двух-трехдневной свежести — они подешевле. Мамаша Джонс выручала рабочий люд, не обеспеченный постоянной работой. Ее добротой пользовался и Антон в трудные дни по приезде в Сан-Франциско. К русским она особенно благоволила, хотя о России имела очень смутное представление: Россия рисовалась ей чем-то вроде Америки, только без негров. Рассказы Антона о царе, снегах, морозах, медведях дали ей кое-какое представление об этой, на ее взгляд, удивительной стране.

Мамаша Джонс долго не могла привыкнуть к тому, что Антон при встречах с ней жал ей руку и называл ее леди.

— Ну, какая я леди, что вы говорите! Это невозможно!

— Вы? Конечно, вы — леди, — возражал Антон, — и я с особым удовольствием жму вашу руку.

Антон любил мамашу Джонс еще и потому, что она чем-то напоминала ему мать: не то скорбными склад-

ками по краям губ, не то детски-наивной улыбкой. Нет, да и заходит Антон Грачев к мамаше Джонс выпить чашку превосходного кофе и поговорить.

Пошел девятый год, как Антон Грачев покинул родину и жил на американской земле в качестве русского политического эмигранта. Чтобы вернуться домой, нужны были прежде всего доллары, а долларами Антон не располагал, никак не мог сколотить необходимой суммы, чтобы переплыть океан. Да и не так-то просто было сделать это, если бы и были доллары: надо было либо вступить в американское подданство и ехать в качестве гражданина США, либо поступить на иностранный пароход матросом или кочегаром и остаться в каком-либо русском порту. Были и другие обстоятельства, которые удерживали Антона в Сан-Франциско.

Кое-что о жизни Антона Грачева в Америке мы знаем из его писем к Виктору Заречному в Японию. После отъезда Виктора из Нагасаки переписка их оборвалась. Ни тот, ни другой ничего не знали друг о друге. Летом, незадолго до второй высылки, Виктор послал Антону Грачеву письмо в адрес Русского революционного клуба в Сан-Франциско. Антон получил это письмо, но ответ его, привезенный боцманом «Монголии» Латышом, уже не застал Виктора во Владивостоке. Так Виктор Заречный ничего и не узнал о своем друге.

А жизнь Антона Грачева за «Золотыми воротами» протекала так.

В Клубе художников, писателей и поэтов, или, как его коротко называли, в Клубе богемы, Антон проработал около трех лет. Среди членов клуба, по-видимому, совсем не было вегетарианцев, и на сковороды, а также и в кастрюли шефа Биду шло не так уж много картофеля, спаржи, артишоков, цветной капусты, так что чистка овощей не досаждала Антону. Зато мучили вишни, из которых надо было тщательно вынимать косточки.

Вскоре же после того, как Антон начал работать в Клубе богемы, в кухню зашел метрдотель — длинный и худой, в высоком крахмальном воротничке, подпиравшем его тонкую и дряблую, как у ошипанного тощего гуся шею.

— Биду! — обратился он к главному повару, но так,

чтобы слышал Антон. — Скажите своему молодцу, чтобы он более тщательно чистил вишни: один из членов клуба сегодня сломал зуб косточкой от вишни. — При этом метрдотель достал двумя длинными костлявыми пальцами из кармана белого жилета сломанный желтый зуб и показал его: — Вот он, зуб.

Когда метрдотель ушел, Биду, встряхнув на сковороде нарезанный длинными узкими ломтиками и зарумяненный картофель, с усмешкой, которая шевельнулась в его черных усах, проговорил:

— Этот зуб он носит в кармане уже целый год и всякий раз говорит, что он сломан сегодня косточкой от вишни. Во всяком случае мы не должны допускать, чтобы члены Клуба богемы ломали свои зубы косточками от вишен.

Антон понял это, как указание чистить вишни самым тщательным образом.

Биду был толст, как все шефы мира. На нем сверкали белизной пиджак с перламутровыми пуговицами, сделанными из морских раковин, такой же передник, закрывавший черные брюки с белой полоской, и накрахмаленная, точно надутая, поварская шапка, вокруг которой висели завитки черных курчавых волос. Темные быстрые глаза, круто закрученные, как пружины, усы резко отличали его от коренных бритых жителей Америки. Яркие, сочные губы, свидетельствовавшие о хорошем пищеварении у Биду, дополняли мягкую сытую внешность шефа кухни Клуба богемы.

Биду умел без всякой преднамеренности заставить своих подчиненных чувствовать себя не только непринужденно, но даже весело. К Антону он питал особое уважение.

— Вы остаетесь джентльменом, — говорил он, — даже тогда, когда моете посуду.

Между Биду и Антоном Грачевым установились дружеские отношения, скрашивавшие подневольную жизнь Антона.

В субботу, с утра, Биду особенно тщательно осматривал доставлявшуюся на кухню провизию и откладывал в сторону что-нибудь заслуживающее особого внимания. А вечером, после ужина богемы, Биду брал за ноги ощипанную, налитую жиром куропатку или утку, весь вид которой говорил об ее благородном происхо-

ждении и прекрасных условиях кормления и содержания, и, подняв птицу выше головы, долго и внимательно смотрел на нее, поворачивая то в одну сторону, то в другую, оценивая ее экстерьер и вкусовые качества. Взвесив все плюсы, Биду говорил, обращаясь к Антону:

— Эту птицу мы с вами завтра будем есть. Она слишком хороша для господ. — Биду при этом хохотал, и его полный живот трясся под белым пиджаком.

И в воскресенье Биду и Антон Грачев проводили два-три часа за изысканным обедом, запивая его бутылкой бордо.

Но когда после этого Антон выходил на улицу и его подхватывал поток людей, не знавших ни одного русского слова, тоска сжимала его сердце. Он шел в Golden Gate Park, к своим скалам, и до поздней ночи слушал там шум волн океана, которые бежали сюда от далеких берегов родины.

«Какое одиночество! Какая мучительная тоска!»

— Черт возьми! — восклицал Антон. — Что же делать?

Первая квартирная хозяйка Антона Грачева — чистокровная американка миссис Браун — была религиозной лютеранкой и любила посплетничать о жившем не вдалеке епископе-католике. Правда, она вовсе не была намерена порочить епископа, а лишь между прочим передавала детали из личной жизни служителя католической церкви. Жалуясь на тесноту своей квартиры, она говорила:

— А вот владыка живет в двенадцати комнатах, которые прибирают две хорошенькие горничные.

Миссис Браун делала ударение на слове хорошенькие и не отрывала глаз от чулка, который штопала.

Антону было безразлично, о чем она говорила, лишь бы говорила, так как ее болтовня нужна была ему для практики в английском языке.

Но Антон далеко не был безразличен к меню обедов миссис Браун: она слишком часто кормила его супом из лука. Он впервые ел суп из лука. По-видимому, это блюдо было изобретением миссис Браун. Оно представляло собой слабый бульон с шестью-семью мелкими головками репчатого лука на дне тарелки. Больше в бульоне ничего не было. Миссис Браун настойчиво кормила

Антон этим супом. Конечно, это было очень дешевое блюдо, выгодное для миссис Браун, но Антон был избалован у себя на родине борщом и щами, поэтому он стал искать комнату у миссис с более грубыми вкусами. И очень скоро перебрался к Акулине Остаповне Дубовик, белорусской крестьянке из Полесья. Акулина Остаповна и ее муж Григорий Федорович Дубовик прожили в Сан-Франциско двадцать лет. Они не имели никакого отношения к революции и, как многие тысячи русских крестьян, покинули родину из-за малоземелья, нищеты и бесправия. Америка тогда многих манила к себе. По всей Европе гуляла слава о ней как о самой свободной стране.

У Дубовиков Антон чувствовал себя, как на родине. Акулина Остаповна не была скупа на ласку, и в ее квартире было тепло душе. Иногда, сидя на стуле за вышиванием, она напевала:

Не осенний мелкий дождичек...

Стерев слезу со щеки ладонью, она со вздохом говорила:

— Попою вот что-нибудь русское, поплачу, в этом и вся отрада.

Двадцать лет жизни в Америке не истребили в ней тоски по Белоруссии.

Конечно, в меню обедов Акулины Остаповны не было супа из лука. Щи из свежей капусты, борщ, вареники, гречневая колбаса дополняли общий белорусский колорит жизни, который устойчиво в течение двадцати лет держался в квартире № 78 дома № 5 на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско.

И Антон не жалел, что лишился той обширной практики в английском языке, какую имел у миссис Браун. Акулина Остаповна, путая английские слова с русскими, говорила на особом англо-русском жаргоне. У нее была квартира из пяти комнат, три из них она сдавала. Комнаты были устланы дешевенькими коврами и дорожками, доставлявшими хозяйке много хлопот.

— Вот и вокаш по лестнице, — говорила она, — и свипаш эти ихние коврики¹.

¹ Walk — ходить; sweep — мести; carpet — ковер.

И часто спрашивала Антона:

— Ну что, привыкаешь? Я вот привыкла. Что делать! Надо привыкать! Не вернешься!..

Однажды к Антону Грачеву зашел эмигрант Нотман, работавший в билдинге.

— Хотите, принимайте мою работу,—сказал Нотман.— Я уезжаю в Австралию.

— Но я ничего не понимаю в вашем деле,— ответил Антон.

— Со временем будете понимать. От вас требуется, чтобы вы были all around man (мастер на все руки). В билдинге должно быть в исправности электрическое освещение, лифт, водопровод, газ, канализация. Вот и все.

— Это довольно много для человека, не имеющего практических знаний во всех этих делах,— возразил Антон.

— Когда я начинал работать, я тоже мало понимал. Объясню вам, поработаете и будете это дело знать настолько, насколько требуется. Билдинг имеет слесаря, водопроводчика, истопников, приходящих ремонтников, в крайнем случае будете вызывать техническую помощь со станции. Хозяин мистер Уиттон очень приличный человек и без особых разговоров оплачивает счета станции. Будете иметь двадцать долларов в неделю.

— Двадцать долларов? — воскликнул Антон.

— Да, двадцать,— подтвердил Нотман.— На улице не валяются.

Антон дал согласие: соблазнила возможность скопить денег на дорогу в Россию.

Биду искренне был огорчен решением Антона.

— Ну, что ж делать: рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше.

Они выпили бутылку бордо и пожали друг другу руки.

Уиттон, по образованию инженер-строитель, снимал в аренду у крупной компании, владевшей недвижимым имуществом, девятиэтажный дом, который он, в свою очередь, сдавал внаем различным организациям и предприятиям: архитекторам, бюро сторожей и сыска, портным, ювелирам и всякого рода конторам. Коммунальное

обслуживание всей этой клиентуры брал на себя мистер Уиттон. Это и называлось «билдинг».

Нотман представил Антона мистеру Уиттону, сказав, что тот может положиться на Антона так же, как он полагался на него. Затем Нотман передал Антону master key (главный ключ, ключ-хозяин), отпиривший все помещения во всех девяти этажах билдинга, и повел его по этажам здания.

В течение нескольких дней Нотман знакомил Антона с устройством электрической сети в билдинге, с работой водопровода и канализации, с предметами оборудования мастерской, где Антон должен был работать, с инструментами, при помощи которых Антон должен был устранять неисправности и аварии.

Само собой разумеется, Антон приобрел десятка два книг по устройству в домах электрического освещения, подъемных машин, водопровода, канализации и стал обучаться. Мысль его начала работать значительно интенсивнее, чем в Клубе богемы, когда Антон, сидя над тазом, вынимал косточки из вишен. Он обрадовался этому и с увлечением приступил к выполнению обязанностей «мастера на все руки».

Началась война в Европе. Известия о войне привели в смятение Антона Грачева.

— Вы видите, друзья, что происходит? — сказал Антон, когда рабочие билдинга собрались в полуподвальном помещении мастерской во время обеденного перерыва, чтобы перекусить.

— Да, видим, Энтон, — ответил Большой Билли. Это был тот самый белокурый с длинными руками Билли, с которым Антон работал в Union Iron Works и которому он еще тогда старался разъяснить теорию прибавочной стоимости Карла Маркса. «Мы с вами, Билли, хозяева Union Iron Works», — говорил тогда Антон. Билли от души хохотал и назвал Антона анархистом. Теперь Большой Билли иначе относился к речам Антона.

— Нужна ли эта война народам Европы? — спросил Антон.

— Нет, не нужна, — ответил Большой Билли. И к нему присоединились другие. — А почему немцы вторглись в Бельгию? — задал вопрос Билли.

— Потому, что Бельгия лежит на пути во Францию.
— И только поэтому Германия разоряет народ Бельгии?

— Да, только поэтому.
— А как это называется, Энтон?
— А как ты думаешь, Билли?
— Я думаю, что это хуже, чем пиратство.
— Ты прав. Это хуже всякого разбоя.
— В газетах пишут, — снова заговорил Билли, — что в свое время Германия вместе с Францией и Англией подписали соглашение соблюдать нейтралитет этой беззащитной страны.

— Но в газетах пишут и другое?
— Ты что имеешь в виду, Энтон?
— Я имею в виду то, что германский канцлер Бетман-Гольвег заявил, что соглашение это является «клочком бумаги».

— Так они расценивают свои соглашения?
— Да, Билли, такова цена их договорам — «клочок бумаги».

— Дьявол их возьми! — возмущенно воскликнул Большой Билли.

Двадцать второго августа 1914 года Антон Грачев за «перекусом» развернул газету «Дейли ньюс» и прочитал:

— «Пятьдесят миллионов долларов контрибуции Германия наложила на Льеж и Брюссель».

— Где эти города? — спросил Билли.

— В той же Бельгии.

— Это что же? Значит, Германия не только нарушила границы этого государства, а еще и наложила контрибуцию?

— Да, так написано в «Дейли ньюс».

— Но ведь Германия воюет с Россией и Францией? При чем же здесь Льеж и Брюссель? — возмущался Большой Билли.

— Эта акула глотает по дороге всякую рыбешку.

Рабочие билдинга осудили Германию и пошли каждый к своему делу.

В том же месяце сан-францисские газеты писали о разрушении немецкими солдатами старинного города Лувена — древнего памятника фламандской культуры, о том, что немцы сожгли более тысячи домов мирных

жителей, предали огню университетскую библиотеку, основанную пятьсот лет тому назад (погибло двести пятьдесят тысяч редчайших древних рукописей).

В мастерской билдинга зашел разговор обо всем этом.

— Какой ужас! — воскликнул Большой Билли, и его глаза действительно наполнились ужасом.

— Это может быть, только когда миром правят крупы и дюпоны, — сказал Антон.

— Ты верно говоришь, Энтон, — заметил Билли.

Наступило молчание. Все сосредоточенно ели.

В мае 1915 года немецкая подводная лодка у берегов Ирландии потопила самый большой плававший между Америкой и Европой пассажирский пароход «Лузитанию» — «королеву морей». На ней находилось около двух тысяч пассажиров. Огромное судно погружалось в воду так быстро, что только часть лодок с женщинами и детьми была спущена. Лодки эти или разбились при спуске или не успели отплыть от тонувшего корабля, и их увлекло в морскую пучину за кораблем. Более тысячи человек погибло. В «Дейли ньюс», как и в других американских газетах, был помещен портрет женщины и ее шестерых детей, которые утонули при гибели «Лузитании». Фотография эта потрясла всю Америку.

Во время обеденного перерыва Антон прочитал рабочим билдинга сообщение об этом новом акте варварства немецких пиратов.

— Америка должна объявить войну Германии! — сказал рабочий-водопроводчик, разрезая перочинным ножом на фанерном ящике бекон.

— Что ты говоришь, Джек? — возразил Антон. — Ты хочешь, чтобы американские рабочие взяли винтовки и поехали в Европу воевать?

— Надо посадить кайзера на электрический стул! — гневно крикнул Билли.

— Билли сказал истину, — поддержал его чистильщик оконных стекол в билдинге.

— Вы знаете, что говорит о войне Дебс¹? — спросил Антон.

— Что он говорит? — заинтересовался Билли

¹ Евгений Дебс — популярный вожь американских социалистов.

— Дебс заявил в статье, опубликованной в газете «Призыв к разуму», что он не капиталистический солдат, а пролетарский революционер. Он отказывается идти на войну за интересы капиталистического класса. Он против всякой войны, кроме одной, за которую он высказывается от всей души: за войну во имя социальной революции.

— Как называется газета? — переспросил водопроводчик.

— «Призыв к разуму», — повторил Антон.

— Стронникам войны действительно не хватает разума, — отозвался Билли.

— В русской газете «Социал-Демократ», — говорил дальше Антон, — пишут то же, что говорит Дебс: мир хижинам, война дворцам, мир пролетариату и трудящимся, война буржуазии!

— У капиталистов сила, — заметил чистильщик оконных стекол.

— У них огромная сила, — согласился Антон, — это правда. Но какая сила устоит, если в каждой стране поднимется весь народ? Ну, представьте себе: что будет, если в одно прекрасное утро на заводы, производящие пушки, ружья, снаряды, не выйдет ни один рабочий? Если грузчики во всех портах мира не станут грузить вооружение на пароходы? Если остановятся все железные дороги? Если все солдаты разойдутся по домам?

— Это было бы замечательно! — воскликнул Билли.

— All right! — сказал чистильщик окон. — Надо идти на воздух.

Рабочие встали и пошли каждый к своему делу.

— Пойду и я, — вздохнув, промолвил Большой Билли. — Ты не унывай, парень, — добавил он, обращаясь к Антону. — Когда-нибудь случится то, о чем ты говоришь.

Такова была одна сторона жизни у Антона Грачева. Была и другая жизнь у него.

Как-то, зайдя к своему приятелю в Smith Lithograph Company, где когда-то работал Антон Грачев, он познакомился с мисс Блэк, упаковщицей афиш.

Мисс Блэк вполне оправдывала свою фамилию. Ее бабушка по матери была негритянка, и ей по наследству

передались смугловатость кожи и крутые завитки черных волос при прочих внешних признаках европейской женщины. Она принадлежала к разряду тех женщин, которые, несмотря на наивность своего мировоззрения, могут увлечь даже серьезного человека — ученого, философа. Антон Грачев не был ни ученым, ни философом, следовательно, он при встрече с молодой женщиной подвергался еще большему риску, тем более, что в его жилах текла еще очень молодая кровь — за его плечами были какие-то там двадцать восемь лет, ему трудно было не обращать внимания на женские прелести. Можно сказать больше: мисс Блэк увлекла его. Ее тонкие ноги в черных чулках, стройная фигура, смеющиеся, красивые, как махаоны, глаза, голос, заставлявший каждого невольно оглянуться и посмотреть с восхищением на его обладательницу, наконец смуглая шелковистая шея, высокая грудь и запах каких-то особенных духов — все это волновало Антона. Антон приглашал мисс Блэк то в кинотеатр смотреть Мэри Пикфорд, то в ресторан слушать джаз, то в Golden Gate Park любоваться океаном. Ему многое не нравилось в мисс Блэк. И прежде всего — ее аполитичность. Она, как и мисс Гладстон, одна из покупателей бакалейной лавки мистера Кройдона, где также когда-то работал Антон, не понимала, например, для чего женщине нужны политические права, хотя Антон и старался всеми силами просветить ее. На все доказательства Антона она отвечала, что права женщин в Америке охраняются законом Lady first (преимущество женщины). Неписанный закон этот хорошо усвоен леди и джентльменами Америки и заключается в том, что джентльмен, например, уступает леди место в трамвае или пропускает ее впереди себя в дверь магазина. Американка смотрит на это не как на любезность со стороны мужчин, а как на свое право. Она довольна, что находится под защитой этого закона. Она думает, что это все, что ей надо, и ни о каких политических правах не мечтает.

Антон, как прирожденный агитатор и пропагандист, старался открыть глаза мисс Блэк, пробудить в ней сознание. Он говорил, что жизнь основана на классовой борьбе, что...

Мисс Блэк перебывала его.

— Жизнь — это мотылек, который надо уметь пой-

мать, — с хитрой улыбкой на губах нежным голоском говорила она.

Ее комната была вся в цветах, которые, конкурируя друг другом, преподносили ей ее поклонники. Вместе с Антоном у нее было пять поклонников — четыре американца разных профессий и пятый он, Антон Грачев, русский политический эмигрант.

Говорят, что душа человека — потемки. То, что Антон влюбился в мисс Блэк, было понятно: уж очень она была хороша и слишком долго Антон оставался одиноким. Близость молодой женщины с каждым днем углубляла вспыхнувшее в нем чувство. Но не так-то легко понять, как и почему возникла любовь мисс Блэк к русскому эмигранту, морочившему ей голову разными социальными теориями. Среди ее поклонников был, например, один старый холостяк, весьма обеспеченный человек — владелец лавки москательных товаров; ему было года сорок два, он имел солидную внешность, прекрасно одевался, курил дорогие сигары и часами разглагольствовал о погоде. У него были серьезные намерения насчет мисс Блэк, и ей было известно это. Другие поклонники также хорошо зарабатывали и считали за счастье быть мужем такой прелестной женщины. Она знала, что люди в Америке живут по правилу: «Время — деньги, поэтому меньше слов и больше дела». Жизнь ее поклонников была основана именно на этом принципе, на погоне за долларами. И она сама ценила доллары, знала их силу. Антон ничего не понимал в долларах и, перестав чистить вишни в Клубе художников, писателей и поэтов Сан-Франциско, старался сделаться «мастером на все руки», что приносило ему также не очень-то большой доход.

Каким же образом Антону удалось завладеть сердцем мисс Блэк?

С первых же дней знакомства Антона с мисс Блэк ее удивило пренебрежение, с которым этот русский относился к золотым долларовым дискам. Это было столь необычно, что мисс Блэк, как женщина любопытная, заинтересовалась Антоном. Встречи их участились. Когда Антон, сидя напротив мисс Блэк, говорил с ней, смотрел на нее своими ясными, пытливыми глазами, в ней происходило что-то непонятное: воля ее подчинялась странной силе, исходявшей из глаз этого человека и звучащей в его голосе. Она понимала, что сила эта — его

душа, его ум, наполненные непонятными ей идеями. Ей было чуждо все то, о чем говорил Антон, но никогда никто не говорил с ней с такой убежденностью, с такой верой в какую-то необыкновенную жизнь при каком-то социализме.

Однажды, когда они сидели поздно вечером вдвоем в парке у Cliff House, откуда открывался вид на океан, синий и бесконечный, Антон неожиданно взял мисс Блэк за руку, привлек к себе, сжал в своих объятиях и стал целовать ее.

Придя в себя она сказала:

— Я никогда этого не знала... Вы — дьявол.

Потом она призналась, что поцелуи Антона ей более понятны, чем теория прибавочной стоимости, которую Антон старался ей растолковать.

Антон Грачев, взволнованный любовью к мисс Блэк, не находил себе места, если не видел ее хотя бы один вечер. И вместе с тем он страдал из-за отсутствия, как он выражался, идейного родства их душ.

Мать мисс Блэк, теперь уже покойная, выйдя замуж за бухгалтера одного из предприятий Smith Lithograph Company и сделавшись матерью (по статистике Антона только двадцать процентов молоденьких американок хотели быть матерью), большую часть дня проводила у витрин магазинов. Отправив своего супруга утром на работу и наскоро прибрав комнаты, она клала в коляску свою первую дочь, маленькую Гарриет, и спешила к магазинам — не покупать (муж зарабатывал не так уж много, чтобы часто покупать хорошие вещи), а рассматривать в витринах новинки мод. Ребенок спал, а миссис Блэк ходила от витрины к витрине, разглядывала платья, шляпки, брильянты. Когда дочь просыпалась, мать брала ее на руки и делилась с ней своими восторгami: «Смотри, Гарриет, какие прелестные вещи!» Ребенок привык к витринам, и когда стал говорить, то звал мать: «Пойдем к магазинам». Когда мисс Блэк подросла, мать стала наряжать ее в крахмальную юбку, завивать ей волосы, вставлять в уши серьги, надевать на руку браслет. И опять те же прогулки — от витрины к витрине. Постепенно развивая у дочери «вкус», мать уже серьезно разговаривала с ней о платьях и шляпках, выставленных в окнах магазинов.

С детства в мисс Блэк воспитывалось кокетство.

С раннего возраста ей прививались правила «приличия»: она восторгалась, сочувствовала, улыбалась, когда правила приличия требовали этого. Девочка-куколка выросла и стала взрослой куклой. У нее была одна единственная страсть — страсть к нарядам.

Так воспитывалась мисс Блэк. Привить ей другие вкусы, заставить ее думать иначе было делом трудным. Это значило переделать мисс Блэк, вложить в нее новую душу. И Антон стал переделывать душу мисс Блэк.

Антон Грачев умел не только убедительно говорить. Силу его убеждений мисс Блэк почувствовала сразу же, при первой встрече с ним, а с памятного случая у Cliff House она стала все больше и больше чувствовать силу его любви. Ни у кого из ее поклонников не загорались так глаза, как у Антона, когда они встречались. Глаза — о, эти глаза! — они раскрывают весь внутренний мир человека. Глаза Антона Грачева говорили не только об обожании, они говорили о глубокой любви, поселившейся в душе у этого человека.

Мисс Блэк заметила, что ей становилось не по себе, если Антон не приходил к ней, ей уже не хватало его. В ней стало просыпаться влечение к этому удивительному человеку. Она прислушивалась к тому, что происходило в ее душе, и восклицала: «Матерь божия!»

Ее охватывала радость.

«Вот она какая, любовь! Как она тихо приходит! Как приятно в душе от нее!.. Неужели это — любовь? Нет, нет! Не может быть!»

Ничто не расцветает на земле так стремительно, как любовь. Она может распуститься в один день, в один час, в одно мгновение. Она может возникнуть от восхода и до захода луны, от захода и до восхода солнца. Она может родиться даже пока солнце, коснувшись горизонта, опускается за черту его. Ни один из цветков не распускается так внезапно, как любовь.

Любовь мисс Блэк развивалась именно с такой стремительностью.

Трудно было себе представить более подходящую пару, чем Антон Грачев и мисс Блэк, при всем их различии во многих отношениях и особенно в отношении их идеалов.

Антон не был человеком ограниченным. Политика не была единственным, что интересовало его. Но, конечно,

освободительное движение, которое все больше и больше расширялось, охватывая страны Азии, проникая и в Америку, занимало его мысли более, чем что-либо другое. Мисс Блэк, напротив, к социалистическому движению была совершенно равнодушна. Вскоре после того, как она стала женой Антона, он сказал ей (Антон свободно говорил по-английски, хотя и с грубым американским произношением):

— Я люблю тебя, ты — моя жизнь, но кроме нашего личного счастья, в нашей жизни должно быть еще что-то...

— Я не понимаю, что ты, Энтон, хочешь сказать.

— Я хочу сказать, что кроме того, что мы любим друг в друге, мы еще должны любить наши идеи.

— А! Понимаю.

— Мы должны стремиться к осуществлению этих идей.

— Понимаю.

— Человек, который замыкается в своей любви, в своей личной жизни, подобен раку-отшельнику. Ты видела когда-нибудь рака-отшельника?

— Нет, не видела.

— У него есть своя ракушка, как у нас с тобой есть вот эта комната. Он прирос к своей ракушке и всю жизнь живет в ней, никогда не покидая ее.

— Понимаю.

— Рак-отшельник живет один, его не интересует, как живут окружающие его существа, ему неинтересно знать, что происходит вообще в мире.

— Понимаю.

— Есть замечательный русский писатель Салтыков-Щедрин. У него имеется рассказ о пескаре, который хотел отгородиться от жизни. Это то же, что рак-отшельник.

— Понимаю.

— Жизнь только в любви, только в личном счастье, только в личной раковине, — Антон оглядел комнату, — это половина жизни.

— Тебе уже надоело наше счастье? — Гарриет обиженно надула губы.

— Значит, ты не понимаешь того, что я говорю.

Антон встал со стула, на котором сидел у маленького

письменного стола, и пересел на кушетку, где лежала Гарриет. В головах у нее на круглом столике стояли розы в глиняном горшке. Антон приблизился к ней и стал целовать ее руки.

— Я тебя люблю, — говорил он, — люблю... Я не представляю себя без тебя. Ты — мое счастье. Счастье это будет длиться, пока длится моя жизнь.

— Вот так ты со мной всегда и разговаривай. Какой ты смешной! Ну, разве ты рак-отшельник? Или пескарь? Я что-то не слыхала о существовании такой рыбы. Ты не можешь быть раком-отшельником!

— Да, Гарриет, не могу.

— И не надо, милый мой Энтон!

И у них опять возникал разговор все о том же.

— Я хочу, — говорил Антон, низко наклонив голову над Гарриет и то и дело целуя ее, — я хочу, чтобы и ты не была пескарем.

— Ну разве я похожа на пескаря? Ха-ха-ха!.. Поддай мне гребенку, она упала за кушетку.

— Если я говорю, — отвечал Антон, доставая гребенку, — что не хотел бы, чтобы ты уподобилась пескарю, значит я не считаю тебя пескарем.

— А что я должна делать, чтобы не быть похожей на пескаря?

— Любить мои идеи.

— Понимаю.

— Жить ими.

— Понимаю.

— Стремиться осуществить их.

— Понимаю.

Они умолкли и смотрели друг другу в глаза.

— А почему, — заговорила Гарриет, — я должна любить твои идеи, а не ты мои?

Антон улыбнулся:

— Ну, пожалуйста, расскажи мне о твоих идеях, может быть, я их полюблю. Ну? Какие у тебя идеи?

Гарриет молчала, перебирая идеи, которыми была наполнена ее голова.

— Ну? — торопил ее Антон.

Она молчала.

— Что же ты молчишь?

Гарриет нахмурила брови.

— Ну?

— Ты знаешь, — сказала, наконец, Гарриет, — меня... нет идей. Да, да! — Она приподнялась с кресла, оправила волосы. — У меня нет идей. — Она еще серьезней. — Я ничего не могу сказать. Я не знаю, что я хочу от жизни, кроме твоей любви. — Она подняла руки, чтобы обнять Антона за шею.

— Это самое страшное! — Антон хотел сказать, что это и есть психология рака-отшельника, но не сказал, чтобы не обидеть Гарриет.

— Милая Гарриет, нельзя жить, ничего не желая, жизни, не стремясь к чему-то, не ставя перед собой какой-нибудь благородной цели. Мы не можем пройти мимо того, что отравляет жизнь человека, мы не можем, горя, нищеты, которые являются уделом десятков миллионов людей. Рабство — самое позорное, что есть на земле. А рабство всюду. Каждый продающий свой труд — раб. Мы с тобой, Гарриет, рабы. Хозяева получают заработную плату у рабочих и богатеют. Становятся миллионерами. Люди изнывают от тяжелого труда, эксплуатации, от безработицы. Хозяева, конкурируя с себе подобными в других государствах, затевают войны. Гибнут миллионы простых людей.

Антон сел на своего конька. Он говорил искренне, страстно, убежденно. Она не спускала с него глаз. Она любила его таким.

«Да, да, он прав, труд тяжел, безработица страшна. Хозяева что хотят, то и делают. Мэри Эриксон (тоже упаковщица афиш Smith Lithograph Company) из-за длительной безработицы попала в страшный притон. Это такой ужас!»

Будто прочтя мысли Гарриет, Антон сказал:

— Мы пойдем с тобой по кварталам Сан-Франциско, где нашли убежище нищета, голод, разврат...

— Я не пойду!

— Нет, мы пойдем... Я покажу тебе, что там делается, и тогда ты скажешь, что так жить нельзя, что честный человек не может проходить мимо такой жизни.

— Я не пойду. Я знаю... Мэри Эриксон погибает.

— Миллионы Эриксон погибают. Люди мрут, как мухи, в Индии, в Китае, в Африке...

— Но как бороться?

— История человечества, Гарриет, — это борьба классов, борьба за власть над жизнью. Надо завоевать власть. Понимаешь?

— Как ты хорошо говоришь! — Она обнимала Антона и целовала его.

ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Антон Грачев заведовал библиотекой в Русском революционном клубе и каждую субботу, часто вместе с Гарриет, проводил весь вечер на Вебстер-стрит. Сюда стекались русские эмигранты со всего Сан-Франциско, чтобы узнать новости, поспорить, послушать лекцию или доклад на тему о международном рабочем движении. Эмигранты в своем большинстве были люди с горячими головами и пылким воображением — тут были матросы с «Потемкина», повстанцы из Владивостока, свеаборгцы, крестьяне-аграрники, рабочие. На книжной полке в библиотеке у Антона Грачева лежали номера «Социал-Демократа», которые он получал из Женевы. Пламенные призывы «Социал-Демократа» превратить войну империалистическую в войну гражданскую все чаще и чаще заставляли Антона думать о возвращении на родину.

Однажды, выдав книги и заперев книжные шкафы, Антон Грачев сидел с Гарриет за столиком в клубе и пил пиво. Был «бал». Несколько пар кружились под джаз-музыку.

Дверь в клуб открылась, и через порог энергично перешагнул среднего роста, кряжистый, с быстрыми движениями человек в сером костюме, в мягкой серой фетровой шляпе, сдвинутой на затылок.

— Добрый вечер, товарищи! — громко сказал он по-английски.

— Добрый вечер! — раздались голоса со всех сторон. — Добрый вечер!

Американец подошел к Антону, — с ним он уже давно был в дружеских отношениях, — протянул Гарриет широкую, сильную кисть руки, на которой не было одного пальца.

— Стакан пива, Том, — предложил Антон.

— Охотно, — ответил американец.

Это был Том Муни — литейщик, лидер професси-

онального движения рабочих в Калифорнии, имя которого хорошо знали капиталисты, боровшиеся за open shop (открытая фабрика), то есть за право принимать на работу не членов профсоюза. Деятельность Тома Муни стоила дорого капиталистам: заработная плата повышалась, условия труда улучшались. У владельцев Трамвайной компании в Сан-Франциско осталась в памяти попытка организации забастовки водителей, кондукторов и рабочих, хотя полиция и помогла компании прекратить забастовку в самом ее начале. Том Муни руководил этим делом. Трамвайная компания, не признававшая за своими рабочими права объединения в профессиональный союз и не желавшая идти на заключение с ними коллективного договора, не могла забыть Тому Муни его работу по организации трамвайщиков в союз.

Состоя членом организации американских анархосиндикалистов, Муни боролся против оппортунистической идеи ее лидеров, мечтавших о «захвате управления промышленностью» без завоевания рабочими политической власти. В 1910 году он участвовал в Копенгагенском конгрессе II Интернационала. Перекочевав в социалистическую партию, он примкнул к левому крылу ее, издавал социалистическую газету «Восстание», боролся с правыми лидерами партии. Революционность и прямолинейность Муни послужили поводом к исключению его из социалистической партии, и он выступал на митингах просто как Том Муни, литейщик, проповедуя идею единого профессионального союза рабочих (one big union) и провозглашая лозунг завоевания рабочими политической власти. Трамвайщики, рабочие Тихоокеанской газовой и электрической компании видели в Муни своего вожака. Они чувствовали в нем человека, искренне преданного их делу. Это не был профессиональный политик, продающий интересы рабочих. Таких в Америке ненавидит каждый честный человек. Капиталисты искали Муни «подвести под суд» своего злейшего врага — Муни. Однажды Том Муни был арестован сыщиком сыскной конторы Пинкертон Свонсоном. Муни предали суду по делу о поджоге в нефтяной фирме Union Oil Company. Суд присяжных вынужден был оправдать Муни, так как на суде выяснилось, что поджог организовал помощник Свонсона. Но капиталисты Сан-Фран-

циско продолжали охотиться за вождем рабочих, доставлявшим много беспокойства им.

— Какие новости, Том? — спросил Антон.

— Америка готовится к войне, — снимая шляпу левой рукой и приглаживая волосы правой, ответил Муни. — Америку трясет шовинистическая лихорадка, — добавил он.

Эмигранты, слышав голос Муни, стали подходить и окружать столик, за которым сидели Муни, Антон Грачев и Гарриет.

— Бешеная борьба между изоляционистами и сторонниками вступления в войну, — продолжал Муни, — заканчивается победой последних. Больше того, многие лидеры изоляционистов стали сторонниками вступления Америки в войну. Декларация Вильсона¹ о нейтралитете «как на деле, так и на словах... как в действиях, так и в мыслях» трещит по швам. Профессор Вильсон, — иронически сказал Муни, — собирался торговать с Европой, соблюдая нейтралитет. Сокращение торговли с нейтральными странами заставило его торговать со странами Антанты и снабжать Англию оружием. Торговля с Антантой и с нейтральными державами, торгующими в свою очередь с Германией, достигла небывалых в истории Америки размеров. Активное сальдо США за тысяча девятьсот пятнадцатый год превышает один миллиард долларов!... Один миллиард! — воскликнул Муни.

Это все очень понятно! — говорил Муни, слегка прищуривая серые глаза. — Перед войной мировые рынки, в том числе и на Дальнем Востоке, все больше и больше наводнялись товарами с этикетками «Made in Germany»². Это беспокоило авторов этикеток «Made in USA»³, стремившихся к господству на рынках. И так как авторами этикеток «Made in USA» являются люди, держащие в своих руках всю промышленность Америки, то, естественно, их голос в печати, которая также в их руках, звучит громче, чем голоса пацифистов и изоляционистов. Но тут вопрос не только в непосредственной экономической конкуренции, в интересах американского капитала. Здесь серьезные общие германо-американские империа-

¹ Вильсон — президент США.

² «Сделано в Германии».

³ «Сделано в США».

листические противоречия. Вы знаете, что перед войной вышла книга немецкого генерала фон Эдельшайма «Заморские операции»? Слыхали? Не читали? Этот генерал в своей книге откровенно изложил план завоевания Америки Германией.

— Ни больше, ни меньше! — воскликнул кто-то.

— Он писал, — продолжал Муни, — что Германия — единственная великая держава, которая может разбить США без посторонней помощи.

— Он не в своем уме, — промолвил Антон Грачев.

— Представь себе, он в своем уме. Эти две акулы хотят проглотить одна другую. Этим определяется позиция Америки в европейской войне.

— Завоевать Америку! Подобная идея может прийти в голову только человеку, потерявшему чувство реального, — заметил один из эмигрантов.

Здесь надо сказать, что среди воинственного шума, происходившего в буржуазном лагере Америки, раздался протест против вступления Америки в войну. Рабочая организация «Индустриальные рабочие мира» повела антивоенную пропаганду, устраивала антивоенные демонстрации и стачки. Против войны выступил Евгений Дебс. Муни был также страстным противником войны.

— Империалистическая война — грабительская война, — говорил он. — Она направлена против интересов рабочего класса. К сожалению, в профессиональных союзах нет единства. Американская федерация труда стоит на шовинистических позициях. Я им говорю: «Вы должны протестовать против войны, которая несет разорение и смерть рабочему классу». Эти проклятые бестии отвечают: «Америка не может стоять в стороне от борьбы с посягательством Германии на мировое господство». Они повторяют Вандервельде: «Необходима коалиция всех сил против опасности торжества германского империализма». Такова логика оппортунистов.

— И как ты думаешь, Том, — спросил Антон, — вступит Америка в войну?

— Вступит, — уверенно сказал Том Муни. — Обязательно вступит. Америка не потерпит поражения союзников. Никогда! Такие политические деятели, как бывший президент Теодор Рузвельт, боятся, что, разбив союзников, Германия как военная сила будет господствовать над миром. Америка сама хочет быть господином над

миром. Теодор Рузвельт — глава движения за присоединение Америки к союзникам.

— И рабочие пойдут на войну? — спросил кто-то.

— Конечно, пойдут. В Америке для этого всегда есть целая армия безработных. К тому же диверсии на американских военных заводах и на кораблях, перевозящих военные грузы в Европу, английская пропаганда — все это вызвало сильную ненависть американцев к немцам, это облегчает сторонникам вступления Америки в войну добиться согласия конгресса.

— А Циммервальдский манифест? — спросил Антон Грачев.

Муни махнул рукой:

— Циммервальдский манифест американские рабочие не читали.

— Здесь слаба рабочая печать, — заметил Антон. — Плохо пропагандируется идея социализма.

— Эта идея, — сказал Муни, — в Америке как ручеек... мелкий ручеек! Социалистическая партия оторвана от профессионального движения, от рабочих. Евгений Дебс — исключение, таких немного. Пропаганда социализма в печати не имеет размаха. Это одна из причин слабого распространения социалистических идей в Америке. Голову американцев забивают другими идеями... Не выпить ли нам еще пива? — неожиданно предложил Муни, и лицо его оживилось улыбкой.

— Я не прочь, — ответил Антон.

Муни видел в русском революционном движении начало освобождения человечества от капитализма.

— Русские революционеры в моем вкусе, — сказал он, энергично стукнув кулаком по колену, точно вбил гвоздь, при этом глаза его блеснули весельем. — Правда, я ничего не понимаю в убийстве губернаторов и полицейских, но когда матросы захватывают броненосец или когда пролетарии берут в свои руки власть, — это дело, о котором стоит говорить. В России уже весь народ борется за политическую власть. Это показала ваша революция, а в Америке это проблема. Как ее решить? Это серьезный вопрос не только для Америки. Отсталость Америки в этом отношении будет задерживать развитие социализма во всей Европе.

Муни умолк, и все молчали. Как вдруг Муни опять заговорил:

— «Лига социалистической пропаганды» получила из Швейцарии от русского социал-демократа Ленина... Вы, товарищи, слышали это имя?

— Еще бы! — отозвалось несколько голосов.

— От него получено письмо, — продолжал Том Муни.

— Личное письмо? — переспросил Антон Грачев. Он как библиотекарь Русского клуба часто получал газету «Социал-Демократ» с этикеткой, на которой был обратный адрес Крупской (Антон знал, что Крупская жена Ленина), но он не слышал, чтобы в Америке кто-нибудь получал личные письма от Ленина.

— Да, личное письмо. Написанное по-английски. Он прислал также, правда, не на английском языке, а на немецком, резолюцию и проект манифеста левого крыла Циммервальдской конференции, а также брошюру «Социализм и война», переведенную с русского языка на немецкий. Он просит перевести эти материалы на английский язык и издать их в Америке, чтобы потом послать в Англию. Я читал и резолюцию и манифест. Это в моем вкусе.

— Расскажи, Том, пожалуйста, подробнее, — попросил Антон Грачев.

— Если это интересует всех, я могу принести эти материалы...

— Пожалуйста, Том, а сейчас — в общих чертах.

— О чем? О самом письме или о материалах?

— И о письме и о материалах.

— Ну, он пишет: мы рады были получить листовку «Лиги социалистической пропаганды» к членам социалистической партии Америки с призывом бороться за революционный социализм, которому учили Маркс и Энгельс, против тех, кто стоит за участие рабочего класса в оборонительной войне. Эта позиция, говорит он, полностью соответствует позиции Центрального Комитета социал-демократической партии. Он пишет, что во всех странах оппортунисты, их лидеры объединились со своей национальной буржуазией против пролетарских масс, стоят за войну. Это сейчас является самым опасным для рабочего движения. Он объявляет старый интернационал мертвым.

Том Муни подумал.

— Затем в письме говорится, что социалистическая партия, не соединяющая экономической борьбы с рево-

люционными методами рабочего движения, может превратиться в секту. Это, товарищи, особенно относится к рабочему движению в Америке, — подчеркнул Муни. — Это наиболее серьезная угроза успеху революционного социализма. Кое-что он говорит о централизации политического и профессионального рабочего движения, против цеховых союзов. Он называет нашего Гомперса¹ буржуем, — при этих словах Том Муни прищурил глаза и улыбнулся. — Гомперс, говорит он, представляет лишь аристократию и бюрократию рабочего класса. Ленин считает неправильной политику оппортунистических вождей социалистической партии Америки, которые стоят за ограничение иммиграции китайских и японских рабочих. Он в курсе американских дел. Ну вот, я сказал, кажется, обо всем, что есть в его письме.

— Ну, а резолюция Циммервальдской левой? — спросил Антон.

— В общих чертах в проекте резолюции Циммервальдской левой говорится, что происходящая сейчас война порождена империализмом, являющимся наиболее высокой стадией капитализма. Великие державы стремятся к порабощению чужих наций, к захвату колоний, как источников сырья и мест вывоза капитала. Это есть война рабовладельцев за сохранение и укрепление рабства: за передел колоний, за «право» угнетать чужие нации, за привилегии и монополии капитала и так далее. Эпоха сравнительно мирного капитализма миновала безвозвратно, — говорится в проекте резолюции Циммервальдской левой. — Империализм несет неслыханное обострение классовой борьбы, безработицы, дороговизны, гнета милитаризма, политическую реакцию, которая поднимает голову во всех, даже самых свободных странах.

Среди эмигрантов было немало людей, далеких по своей идеологии от революционного марксизма, но все слушали Муни с большим вниманием.

— Речи о «защите отечества» при таких условиях, — продолжал Муни, — есть обман народа. Социалисты, говорящие о «защите отечества», являются «джинго-социалистами». Растущее в трудящихся массах желание мира есть начало прояснения революционного сознания

¹ Гомперс — председатель Американской федерации труда.

масс. Только социальная революция пролетариата может открыть дорогу к миру и свободе наций. Долг социалистов — стремиться к превращению империалистической войны между народами в гражданскую войну угнетенных классов против их угнетателей, войну за завоевание политической власти пролетариатом, за осуществление социализма. . . Вот, товарищи, сущность резолюции Циммервальдской левой, под которой я ставлю свою подпись.

— К сожалению, она не прошла, — с искренним огорчением сказал Антон.

— Да, не прошла.

— Когда-нибудь пройдет, — заметил один из эмигрантов.

— Обязательно пройдет, — весело подхватил Муни. — Как ты говоришь, Антон: «Мир хижинам, война дворцам»?

— Да, «Мир хижинам, война дворцам»!

— Это единственно правильная философия! — подтвердил Том Муни.

Начался разговор о военных действиях, о тяжелом положении России.

Муни взглянул на часы.

— Однако уже двенадцать. Пора домой. Жена меня, наверное, ждет.

— Мы сегодня не потанцевали, — обратилась к Муни Гарриет. — Антон совсем не танцует со мной. Я скоро разучусь.

— Танцы — вещь необходимая, — серьезно сказал Муни. — Философия — это надо, это — хорошо, но и танцевать надо.

Муни засмеялся и взял Гарриет за талию. Антон с восхищением смотрел на жену и на друга своего — чудеснейшего Тома Муни — на то, как они кружились по залу клуба.

Залитые электрическим светом улицы были полны праздной толпой, шатавшейся в поисках развлечений. Молодой человек, прохаживаясь возле ресторана, беспрерывно повторял:

— Этот ресторан находится под бойкотом; здесь слушающие бастуют. Этот ресторан находится под бойкотом. . .

Саженого роста полисмен с резиной в руке стоял посреди улицы, расставив ноги и не спуская глаз с молодого человека: пикетчик может весь день и всю ночь ходить возле ресторана и говорить: «Здесь служащие бастуют», но не имеет права произносить эту фразу, стоя у дверей ресторана.

Другой молодой человек, стоявший на углу возле аптеки и побрякивавший долларами в кармане превосходно сшитых брюк, распевал распространенную среди молодых повес песенку:

I have a girl in Saysolito,
Two or three in Alamedo,
Four or five in San-Rafael.
All the rest can go to hell¹.

— Ну, по домам, — Том Муни пожал руку Гарриет и Антону.

— Спокойной ночи, — сказали в один голос Гарриет и Антон.

Друзья пошли в разные стороны.

В КАЛИФОРНИИ НЕБЛАГОПОЛУЧНО!

Предсказание Тома Муни оправдалось. В знойный день 22 июня в Сан-Франциско при большом стечении любопытных устраивалась демонстрация под лозунгом: «Готовься к обороне». Эту демонстрацию иначе называли: «Парад приготовления войны». Когда шествие во главе с мэром города и другими именитыми гражданами Сан-Франциско двигалось по Маркет-стрит, то на углу улицы Стюарт в толпе на мостовой взорвалась бомба. Многие были ранены и несколько человек убито. Это произошло в 2 часа 6 минут.

В этом преступлении были обвинены Том Муни и его друг Биллингс. Арестованными оказались также жена Муни, председатель союза металлистов Нолэн и другие.

За восемь дней до этого, 14 июня, в Вашингтоне во

¹ У меня есть одна девочка в Сэйсолито,
Две или три в Аламидо,
Четыре или пять в Сан-Рафаэль,
Все остальные могут идти к дьяволу.

главе такого же «парада», в котором участвовало шестьдесят тысяч человек, шел с национальным флагом сам Вудро Вильсон, президент США. Подумать только, бомба могла быть брошена и в Вильсона.

Вокруг взрыва в Сан-Франциско поднялся шум на всю Америку. Печать и общественное мнение разделились. Одни утверждали: Муни бросил бомбу. Другие говорили: обвинение Муни в этом преступлении сфабриковано Биржевым комитетом и Трамвайной компанией для того, чтобы убрать вожака профессионального движения рабочих. Третьи уверяли: это работа немцев, одна из многочисленных диверсий, которые совершали агенты Германии на территории Америки, чтобы помешать снабжению вооружением союзников, особенно Англии.

— Во всяком случае, юстиция разберется в этом загадочном деле, — не сомневалось большинство людей, интересовавшихся делом Тома Муни.

Антон Грачев и Гарриет заняли в зале суда места среди политических и профессиональных деятелей, членов «Лиги защиты Муни», друзей его. Зал был переполнен.

Главный прокурор штата Калифорния Фиккерт — высокого роста и атлетического сложения, с тупым, сильным подбородком и взглядом вола — нарисовал страшную картину злодейского покушения на жизнь виднейших граждан города Сан-Франциско, возглавлявших парад.

Фиккерт был идеологом крупной буржуазии, боровшейся с левыми настроениями в профессиональных союзах, ставленником некоторых трестов Сан-Франциско, руководители которых в свое время находились под судом за какое-то грязное дело. Фиккерт, проведенный ими на должность главного прокурора штата, прекратил это дело и стал верным их слугою. Он был известен в спортивных клубах Сан-Франциско как боксер. На его руках в данный момент не было боксерских перчаток, но вид его говорил о том, что он готов нанести сокрушительный удар всякому, кто попытается защищать Муни.

— Взрыв на Маркет-стрит, — сказал он, — это протест против вступления Америки в войну. Его организовал человек, ведущий пропаганду против вмешательства

Америки в мировую войну. Человек этот — Том Муни, известный анархист и дезорганизатор мирной жизни этого города.

Он, прокурор, имеет неоспоримые улики против этого лица. За несколько минут до взрыва свидетель Джон Макдональд видел собственными глазами Тома Муни и связанного с ним по профессиональному движению Биллингса вблизи от места взрыва. У Биллингса в руках, как известно, был чемодан. Биллингс поставил чемодан на мостовую и удалился. Вслед за тем произошел взрыв. Исполнитель этого неслыханного преступления понес заслуженную кару. Он приговорен к пожизненному тюремному заключению. Теперь перед судом предстал организатор этого злодеяния — Муни.

— Матерь божия! — прошептала Гарриет.

— Что вы скажете, мистер Макдональд? — обратился прокурор к главному свидетелю обвинения.

— Я вижу это и сейчас как сон, — ответил свидетель Джон Макдональд.

Другой свидетель обвинения, скотопромышленник Фрэнк Оксман, также видел, как Муни и Биллингс совершали преступление.

— Не правда ли, мистер Оксман?

— О да! Я видел это собственными глазами, — ответил очень тучный, с синим склеротическим носом торговец скотом.

— Я удивляюсь, — говорил прокурор, — как мог такой солидный юрист, как мистер Кокрэн, взять под защиту Тома Муни. Вам, мистер Кокрэн, — обратился прокурор к адвокату, — должно быть стыдно выступать в качестве защитника на таком процессе.

(Кокрэн был знаменитый нью-йоркский адвокат-криминалист. Он приехал из Нью-Йорка на процесс как один из защитников Тома Муни.)

Кокрэн встал, поднял свои огромные, нависшие над глазами веки и устремил взгляд на прокурора. В зале наступила полная тишина. Защитник был в черном сюртуке, только яркой белизной сверкали манишка да высокий крахмальный воротничок с черным галстуком бабочкой. У него была солидная внешность и независимый вид, какой бывает у людей, занявших прочное положение в обществе и имеющих на текущем счету в банке

достаточное количество долларов. Холодным, бесстрастным голосом он сказал:

— Я заявляю, что показания свидетелей обвинения ложны!

Зал замер. Прокурор Фиккерт, насторожившись, приотворился слушать адвоката.

— Оксман — лжесвидетель, — продолжал защитник. — В день взрыва он находился в девяноста милях от Сан-Франциско, в городе Вудленде. Это подтверждается регистрационной книгой отеля супругов Хэтчер, находящегося в этом городе.

Заявление адвоката было подобно бомбе, взорвавшейся на Маркет-стрит. По залу пронесся негодующий шум.

— Я обвиняю Оксмана в лжесвидетельстве, — сказал Кокрэн, — и требую лишения его свободы. Перед судом, — продолжал защитник, — выступал свидетель Макдональд, который будто бы видел собственными глазами, как Биллингс ставил чемодан на мостовую. Он сказал, что это видит и сейчас, как сон. Суд должен знать, что Макдональд постоянно находится в состоянии сновидений, так как является кокаином и его профессия — лжесвидетельство. Он нанят для этого скандального процесса сыскной конторой, получившей хорошие деньги от Биржевого комитета и Трамвайной компании. Надо сказать, что сыскная контора знает, где вербовать лжесвидетелей. Она не идет в честный дом, она идет в семью, где мать — сводня, а дочь — проститутка.

Последние слова защитника относились к двум женщинам, давшим показания, порочащие Муни.

— А скажите, пожалуйста, — обратился Кокрэн к одной из них, молоденькой женщине, «мисс» Смит, с увлечением рассказывавшей о событиях на Маркет-стрит, — когда в последний раз вы виделись с мистером Свонсоном?

(Свонсон — сыщик, один из организаторов ложных показаний против Муни.)

— В пятницу, — не подумав, ответила женщина.

— Я не имею больше вопросов к «свидетельнице», — сказал адвокат, довольный ловко заданным вопросом, установившим связь свидетельницы с работником сыскной конторы.

— Какие они все негодяи! — прошептала Гаррнет, имея в виду и прокурора и свидетелей.

По выражению лиц присяжных заседателей, «солидных» граждан города, зараженных воинственным психозом, нельзя было понять, удивлены они тем, что говорил Кокрэн, или же они пришли в суд уже с готовым мнением по этому делу.

Но что же это все-таки был за взрыв на Маркет-стрит? Взорвался ли чемодан на мостовой или была брошена бомба из окна? Неужели описание места взрыва не давало представления о том, как это случилось. Может быть, на мостовой остались следы чемодана?

— Я попрошу разрешения, — обратился к судье Кокрэн, — допросить сержанта полиции, который первым прибыл на место взрыва.

«Боевой» сержант полиции подходит к свидетельскому столу. Он готов дать показания. Это детина футов семи ростом, с могучим бритым затылком, с толстой шеей, с кулаками величиной в небольшой арбуз и необыкновенной силы удара.

— Вы давно работаете в полиции? — учтиво спросил Кокрэн сержанта.

Сержант моргнул ресницами:

— О да, около пятнадцати лет.

— Значит, вы старый служака? — одобрительно заметил юрист, внимательно глядя на полицейского из-под нависших век.

— О да, я знаю свои обязанности, — ответил сержант полиции, уверенный в полезности своей деятельности.

— Так, так... Зная свои обязанности, вы, конечно, первым делом оцепили место взрыва и поставили охрану, чтобы дать возможность следственным властям увидеть это место таким, каким оно было сейчас же после происшествия?

— Вот этого я не сделал, — простодушно ответил полисмен, и на его глупейшей, какие только Антону Грачеву приходилось видеть, физиономии изобразилась гримаса удивления.

— Вы не сделали этого?

— Нет, не сделал.

— Почему?

— Я все делаю, как полагается в интересах закона, — пожав плечами, ответил полисмен.

— Увы, на этот раз вы игнорировали закон. Понимаете ли вы, какое это имело значение для того, чтобы судить о том, что́ это был за взрыв? Ведь следственные власти видели место взрыва уже после того, как там побывали люди. — Кокрэн впился в сержанта орлиным взглядом.

У сержанта на лбу выступил пот, он переступил с ноги на ногу. Удивление в его глазах сменилось выражением виноватости.

— Свидетели Макдональд и Оксман, — говорил между тем Кокрэн, обращаясь к судье, — видели, как Биллингс поставил на мостовую чемодан, в котором, по видимому, находилась бомба. Конечно, при помощи уважаемого сержанта полиции, — адвокат сделал иронический жест в сторону полицейского, — мы могли бы установить некоторые весьма существенные детали взрыва, найти обломки чемодана и так далее.

Полисмен растерянно смотрел то на адвоката, то на судей.

— Во всяком случае, — Кокрэн повысил голос, — Муни не имеет никакого отношения ко всему этому. Его не могли видеть перед взрывом на Маркет-стрит.

Тут Кокрэн торжественно развернул увеличенную до огромных размеров фотографию, сделанную кем-то в день парада. На фотографии оказался снятым дом, где помещалась музыкальная студия госпожи Муни. И на крыше этого дома стояли Том Муни и его жена. Никто не сомневался в том, что это был именно Том Муни. На этой же фотографии оказались зафиксированными уличные часы, стрелки которых показывали 2 часа 4 минуты.

— Таким образом, — сказал Кокрэн, — фотография, сделанная случайным лицом, снимавшим парад, устанавливает факт, что за две минуты до взрыва Том Муни находился на крыше дома на расстоянии одной мили с четвертью от места взрыва! Они были там, чтобы наблюдать за парадом. Как же могло попасть в суд это дело? — Кокрэн посмотрел на судью. — Как могли предать суду человека, против которого нет ни одной улики? Ведь ничто не бросает на его имя хотя бы малейшую тень! Прокурора удивляет мое присутствие на этом процессе, — продолжал Кокрэн. — В этом нет ничего удиви-

тельного. Я рад выступить здесь, чтобы защитить законы моей страны от людей, которые хотят использовать их в интересах промышленных компаний. Но мне действительно стыдно за эту страну. Стыдно за ваши, мистер Фиккерт, методы следствия и обвинения. В Калифорнии неблагополучно! — Кокрэн многозначительно поднял волосатый палец.

Зал негодуяще зашумел.

— Да, да, прокурор использует закон в интересах предпринимателей! — повторил адвокат.

Речь защитника была закончена как обвинение всем, кто судил Тома Муни. Публика проводила его одобрительными возгласами.

Судебная процедура была закончена. Старшина присяжных заседателей после перерыва объявил решение суда:

— To be hanged. (Быть повешенным.)

Ни Антон Грачев, ни Гарриет, никто из присутствующих в зале не ослышался! Сухощавый почтенный старшина произнес именно эти невероятные слова:

— To be hanged.

На мгновение наступила тишина, потом, точно спохватившись, что произошло что-то недопустимое, люди стали вскакивать со своих мест и кричать:

— Это невозможно!

— Позор Америке!

— Какой ужас! — воскликнула Гарриет.

— Негодяи! — сказал Антон Грачев.

Том Муни встал со своей скамьи и, презрительно посмотрев на Фиккерта, на судью, на присяжных заседателей, крикнул на весь зал:

— Меня задушит не ваша веревка, а сознание, что люди могут творить такую низость.

Прокурор Фиккерт, не глядя ни на кого, укладывал бумаги в портфель. Свидетель Оксман торопился к себе, чтобы закончить коммерческую сделку. Джон Макдональд спешил принять дозу кокаина, а «мисс» Смит предстоял разговор по поводу организации притона по продаже опиума.

Тома Муни полисмены увели из зала суда.

Антон Грачев возвращался из суда и старался восстановить в памяти наиболее скандальные процессы из практики русского суда, которые бы по своей незаконности не уступали тому, чему он только что был свидетелем. И не мог вспомнить. Некоторую аналогию можно было провести разве только между процессом Муни и совсем свежим в памяти всех цивилизованных людей мира процессом Бейлиса, обвинявшегося в убийстве с ритуальной целью христианского мальчика Ющинского. Здесь среди свидетелей обвинения фигурировали такие порочные личности, как Смит, там суду давала ложные показания преступница Вера Чеберячка.

Да, раздумывал Антон, совершенно недостаточно поставить статую женщины с факелом в руке или объявить закон о свободе, чтобы страна стала свободной. Нужно гарантировать свободу для граждан страны. В процессе Муни суд оказался простой конторой Трамвайной компании, а прокурор Фиккерт и присяжные заседатели — ее служащими.

— Это позор! — воскликнула Гарриет. — То, что я видела сегодня, чудовищно, Энтон. Этому трудно поверить.

Процесс Муни окончательно убедил Гарриет в том, что жизнь — это борьба. Жестокая борьба двух миров.

— Энтон, у меня такое состояние... Я не знаю, как сказать, как выразить... Такое состояние, будто я вылезла из ракушки, о которой ты говорил, и увидела другой мир, совсем другой мир. Раньше я не понимала жизни, я ничего не видела, ничего не знала. Теперь я вижу, я поняла. Я все поняла!

Антон Грачев рассказал о процессе Муни рабочим мастерской билдинга.

Большому Билли и другим хорошо было известно имя Муни. Они не стеснялись в выражениях (каждый язык имеет крепкие словечки) по адресу прокурора Фиккерта и присяжных заседателей.

— Вот, друзья, — говорил Антон, — что такое свобода в капиталистическом государстве. Здесь сыщик Свонсон и прокурор Фиккерт могут обвинить человека в любом преступлении.

После перерыва, когда рабочие разошлись по своим

местам, к Антону подошел истопник здания — старый художавый француз-эмигрант, по фамилии Жабо. Он покачал головой, повел седыми усами, посмотрел на дверь, перевел черные, совсем потухшие глаза на Антона.

— Вы ещё молоды, у вас жизнь впереди, а если кто-нибудь из их людей, — надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю, — услышит ваши разговоры и сообщит об этом, скажем, Свонсону, то он укоротит вашу молодость, обрежет течение вашей жизни. Я старше вас, и мне грустно смотреть на ваш пыл. Я не хотел бы быть свидетелем вашей печальной судьбы. Правды нет на земле, мсье Грачев.

Сказав все это, старик вышел из мастерской. Антон несколько мгновений стоял и смотрел на дверь, за которой скрылся старик. Француз не сказал ничего нового. Но слова его произвели на Антона такое же впечатление, как и слова Тома Муни: «Меня задушит не веревка ваша, а сознание, что люди могут творить такую низошь».

Процесс Тома Муни для Антона Грачева был той последней каплей, которая переполняет чашу.

— Мы, Гарриет, должны поехать в Россию! — сказал он однажды жене, когда они возвращались домой из Golden Gate Park'a.

— В Россию? — с изумлением переспросила Гарриет.

— Да.

— Почему мы должны туда поехать?

— Я думаю, что Россия проиграет войну.

— Ну и что же?

— Когда Россия проиграла войну Японии, началась первая русская революция. И теперь в России будет революция. Это несомненно. Иначе быть не может... Поедем в Россию.

— Что же мы там будем делать? Мне страшно.

— Почему страшно? Мы будем работать, Гарриет, и примем участие в революционном движении... Сначала в России, а потом и в других странах социалистическая революция! Простые люди будут хозяевами своей жизни! Никаких войн, Гарриет! Понимаешь? Никаких войн!

— Неужели это возможно?

— А зачем простым людям убивать друг друга? Сейчас они убивают друг друга во имя интересов капиталистов. Ты помнишь, что говорил Том Муни: война этикеток! Акулы хотят проглотить друг друга и посылают миллионы одураченных людей в пекло бойни. А когда простые люди будут хозяевами земного шара, тогда не-зачем будет воевать.

Антон прижимал к себе руку Гарриет и говорил:

— Люди будут братьями. Никаких войн, Гарриет! Никаких!



Часть четвертая
ПО СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ

ЯКУТСКИМ ТРАКТОМ

По Якутскому тракту — сибирской Владимирке — шел этап политических ссыльных.

Стоял яркий и звучный сентябрьский день. В зеленом хвойном лесу белели худенькие березки с одинокими желтыми листьями на оголенных ветвях, краснели гроздья рябины. В небе — глубоком и безмолвном — летели журавли, будя в сердце тоску по далекому синему океану.

На одном из небольших подъемов, где дорога огибала вырубленную и поросшую можжевельником опушку, Виктор Заречный пересчитал подводы. Он шел в голове этапа, и ему была видна вся длинная, двигавшаяся в гору со сдержанным скрипом, изогнутая полуколыцом цепь телег с дугами, окрашенными то в желтый, то в белый, то в коричневый цвет. В каждую телегу было запряжено по паре разной масти длинношерстных бурятских лошадей, помахивавших головами в такт шагу. Виктор насчитал тридцать телег. Хотя подъем был и не крутой, на телегах сидело всего пять человек больных, остальные ссыльные сошли с телег и шли возле них.

Во всей партии было двести двадцать пять человек политических ссыльных, мужчин и женщин, и тридцать уголовных. При таком соотношении уголовные подчинялись воле политических и редко позволяли себе ту грязную брань, которая обычно не прекращается ни на час, если число уголовных в партии превышает число политических. Партию окружало десятка два конвойных солдат. Они шли по самым краям тракта. Двое верховых — молодой ефрейтор и уже пожилой старший унтер-

офицер, которого ссыльные звали «унтер», — один справа, другой слева, — покачиваясь в глубоких казацких седлах, поглядывали за партией. Позади в тарантасе ехал начальник конвойной команды — пехотный офицер в чине капитана, контуженный во время русско-японской войны и вот уже десять лет служивший царю и отечеству, в качестве конвойного офицера. Он был в бурке и лихо заломленной фуражке с большой кокардой. Выражение его больших, навывкате, голубых глаз было такое, будто он ненавидел весь мир и особенно вот этих людей, которых он сопровождал в ссылку и, видимо, считал врагами не только государя императора, но и своими личными: с такой злобой смотрит на людей тигр, пойманный в дебрях Уссурийской тайги и посаженный в железную клетку.

Партия представляла собой довольно пеструю толпу. Отбывшие каторгу политические и уголовные были в серых суконных халатах или бушлатах, в броднях или в котях. Высылаемые в административном порядке, а также сославшиеся по суду шли в своей одежде. Женщины — в платках, в пальто, в длинных платьях, за исключением одной — молоденькой курсистки лет восемнадцати, привлекавшей к себе внимание наивно и трогательно сидевшей на пышных светлых волосах ее головки соломенной шляпкой с фиалками и короткой узкой юбочкой — тогда входили в моду такие юбки. Девушка казалась случайной среди этих людей. Она была дочь сельского священника, по фамилии Свиридова. Ее двоюродная тетка Надежда Семеновна Смирницкая, которую она, впрочем, и в лицо не знала, была арестована с паспортным бюро «Народной воли» в 1882 году. Смирницкая судилась по процессу семнадцати, приговорена была к пятнадцати годам каторги. В 1889 году, отбывая каторгу на Каре, она отравилась в знак протеста против истязания политической ссыльной Сигиды. О Смирницкой много говорилось в семье Свиридовой. Отец ее с благоговением относился к своей двоюродной сестре. Имя ее было окружено ореолом мученичества. Приехав в Петроград на Высшие женские курсы, Свиридова сразу же попала в среду эсеров, стала активным членом эсеровской организации и вскоре была арестована. Теперь она шла в ссылку в административном порядке.

Странно было видеть ее рядом с отбывшим каторгу,

социал-демократом Коноваловым, который был в арестантском халате, на голову выше ее, с большой, необыкновенно черной, почти синей бородой. Коновалов был немного сутул, хмур, говорил басом, она — стройна, ласкова, щебетала птичкой.

«Бывают же такие контрасты», — подумал Виктор, глядя на них. Он знал, что они познакомились в какой-то пересыльной тюрьме и были помолвлены.

Этап двигался уже пятый день. Подводы выставлялись крестьянами сел, через которые проходила партия, а так как война взяла много лошадей, не говоря уже о людях, крестьяне не могли дать нужное количество подвод, на которых могли бы разместиться все ссыльные, и вся партия волей-неволей вынуждена была идти шагом. Предстояло пройти кому двести верст, кому триста, кому пятьсот и больше. До места ссылки Виктора — Орленгская волость Киренского уезда — было пятьсот семьдесят три версты. Один из ссыльных рассказывал:

— Прежде до села Оек тридцать верст шли пешком. Там конвой сдавал партию сельским властям — старосте и десятским. На этапке ссыльных во время отдыха охраняли мужики, расхаживавшие вокруг палей¹ с дубинками, — «палочный конвой» называли их. Утром партию поднимали. Людей усаживали по четыре человека в телеги, — и пошел... до самой Усть-Орды. А дальше — на бурятских двуколках от станка до станка по степи, где когда-то бродили подвластные Чингисхану племена, до самой Манзурки. «Держись, ребята», — скажет кучер-бурят, стегнет лошадей, и действительно: держишься за края двуколки и молчишь всю дорогу, чтобы не прикусить языка. Слышишь только, как в животе селезенка екает, точно у лошади... И таким манером до самой Манзурки. Десятские боялись, как бы кто не спрыгнул с телеги да не убежал в степь. Вот они и гнали лошадей. А с Манзурки — в ямских тарантасах до Качуга, а то и до Жигалова, смотря по тому, какая вода в Лене... Вот, брат, как возили ссыльных прежде. А теперь пешедралом почти всю дорогу да с такими строгостями. Говорят, приказ есть нашему конвою: глядеть в оба, пока не завезут в самую тьму-таракань.

¹ Пали — ограда из нетолстых, заостренных сверху и поставленных вертикально бревен.

— Удивительно, что конвой не меняется, — заметил кто-то.

— Ничего удивительного. Не хватает солдат: все на фронте.

Якутский тракт, начинавшийся от Иркутска, доходил до приленского большого села Качуга и дальше вился по гористым берегам Лены. Это был один из путей, соединявших Сибирскую железную дорогу с великой рекой. По этим путям в северные уезды Иркутии и дальше в Якутскую область, до Полярного круга и за Полярный круг, шли одно за другим многие поколения русских революционеров.

По Якутскому тракту за семь тысяч верст от столицы в Илимскую ссылку увозили в кибитке первого русского «государственного преступника» Радищева, которого Екатерина назвала «бунтовщиком хуже Пугачева». По Якутскому и Ангарскому трактам Николай Первый отправлял на фельдъегерских тройках с жандармами в глушь первых русских республиканцев — декабристов. Через девственную тайгу Иркутии, срубая вековые лиственницы, пролагали дорогу польские повстанцы. По этой земле в далекую Вилюйскую ссылку ехал великий русский демократ Чернышевский. Сюда был сослан знаменитый автор «Народной расправы» Бакунин. Здесь побывали сотни и тысячи землевольцев, народовольцев, марксистов. Нескончаемым потоком шли по этим дорогам участники революции 1905 года. Тысячи людей замучены были здесь жестокими царями дома Романовых. Могилы мучеников великого русского освобожденного движения разбросаны по всей иркутской земле.

С душевным трепетом Виктор Заречный шел по этой священной земле и готов был целовать каждый камень на тракте...

На исходе пятых суток, когда этап поднялся на вершину горы Ток, вдали, верст за десять, показалось большое село Манзурка. Справа от него вилась река того же названия. Вокруг синели горы, темнели сосновые боры.

— Вот тебе и этапка, — сказал ямщик передовой подводы, когда этап подошел к бревенчатому длинному сараю с большим двором, обнесенным простой изгородью.

— Загоняют, как скотину, — желчно проговорил кто-то.

Ему не ответили. Все были рады отдыху и устрем-

лись во двор летнего этапного пункта. Никто не захотел идти в сарай. Шумным табором расположились во дворе. Должно быть, давно уже не проходили через манзурскую «этапку» ссыльные: весь двор был покрыт травой, хотя уже и побуревшей. Голодные люди, вынуженные из мешков хлеб, сало, чайники и кружки, принялись за еду.

Возле «этапки» собрались ссыльные-манзуровцы, пришедшие посмотреть, нет ли друзей и знакомых. Подождать толпились жители Манзурки. Они привыкли к этапам, картина эта для них не была диковинной, но никто не мог пройти мимо, не остановившись. Человек, охраняемый часовыми, всегда вызывает особое любопытство.

Прислонившись спиной к сараю и положив на колени блокнот, Виктор Заречный писал письма.

Матери своей, Серафиме Петровне, он написал:

«Дорогая мама! Шлю привет с Якутского тракта. Иду этапом и вспоминаю, как в детстве вы рассказывали о своем этапе, о том, как тринадцатилетней девочкой вы вышли из Вятки и восемнадцатилетней девушкой прибыли на Сахалин. Помню все до мельчайших подробностей и вижу вас в длинной юбочке, сидящую на подводе или бегущую впереди этапа, чтобы на пересыльном пункте занять для дедушки Петра место поудобнее. Помню я, как вы рассказывали: «С нами этапом шла одна. До чего красивая была! Молодая! Бывало, на привале распустил волосы, длинные, густые, и начнет расчесывать...» Вы тогда и не подозревали, что это за женщина шла с вами. Не думали вы, что у вас будет сын, который в мечтах своих полюбит эту женщину, как символ борьбы за счастье народа. Не знали вы, что и у сына вашего будет жена, которой выпадет на долю расчесывать свои золотистые волосы на привалах этапа, и что сам сын ваш будет шагать по дорогам людской скорби. Но, мамочка, за меня вы не беспокойтесь. Пятисот семьдесят верст от Иркутска до Орленгской волости — это не десять тысяч верст, как от Вятки до Сахалина. Я здоров и бодр. Бодр своей глубокой верой в нашу скорую встречу. Не горюйте, мамусенька.

Обнимаю вас и крепко целую.

Ваш сын Виктор».

«Радость моя! Прибыл в Манзурку, двести верст от Иркутска. Ровно столько, сколько мы с тобой прошли от Малышевки до Иркутска. Я здоров, настроение бодрое. Уверен, что и эта ссылка будет недолгой, скоро снова обниму тебя... Ночами, на привале, слушаю перелетных птиц. Весной, когда мы с тобой собирались бежать из Малышевки, они летели с юга на север. Теперь они летят с севера на юг. Твоя любимая иволга полетела на Мадагаскар. Мои всегда о чем-то тоскующие журавли летят в Африку. Выходит, что и я как перелетная птица. Но журавли, наверное, удивляются: умно ли осенью переселяться на север?.. Манзурка — большое село. Избы крепкие, бревенчатые, под тесовыми крышами, со ставнями и наличниками на окнах. Через село лежит широкий Якутский тракт — путь на Лену, на Киренск, на Якутск. В Манзурке до ста пятидесяти политических ссыльных, а жителей — четыреста человек. Почти треть населения — политические ссыльные. Здесь имеется почта, приходят газеты. К сожалению, у меня назначение в какую-то глухомань. Это, конечно, Гинсбург удружил. Ну, ничего, не век там жить. До Лены осталось шестьдесят верст. Кончаю письмо. Нам разрешили приобрести здесь кое-какие продукты. Я в числе трех старост; сейчас пойдем с конвойным в лавку.

Целую тебя, моя дорогая, моя любимая. Уезжай скорее.

Твой В и к т о р.

Манзурка, 20 сентября 1916 года»

Партия политических ссыльных была разношерстна не только по внешнему виду. В ней были представлены все течения в русском революционном движении — от большевиков до анархистов. Естественно, что через день-два после выхода партии из Александровской пересыльной тюрьмы люди разбились на группы: большевиков, меньшевиков, эсеров, анархистов. На отдыхе устраивались группами, питались группами, держались друг возле друга группами. А спорам не было конца всю дорогу. Среди двухсот человек были ленинцы и плеханов-

цы, материалисты-диалектики и «русские махисты», пораженцы и оборонцы. Каждый был глубоко убежден в правоте своей точки зрения и с остревением отстаивал ее. Особенно ожесточенно спорили о войне и по вопросам философии. Когда речь заходила о войне, сталкивались две точки зрения: «защита отечества» и «превращение войны империалистической в войну гражданскую». Когда «русские махисты», стоя на богдановских позициях, отождествляли понятия «общественное бытие» и «общественное сознание», сторонники ленинской точки зрения набрасывались на них и громили их, отстаивая чистоту учения Маркса, говорившего, что общественное сознание отражает общественное бытие.

Виктор Заречный записывал названия деревень, расположенных у тракта, расстояние между ними, запоминал местность вокруг деревень, высматривал, с какой стороны ту или иную деревню можно обойти. Иные избы, отошедшие в сторону от деревни, приветливо выглядели из-за красных рябин и манили к себе.

— Что ты все высматриваешь? — спросил его социал-демократ большевик Рудзиньш, слесарь Рижского вагоностроительного завода, у которого голубые глаза мягко светились в глубоких темных орбитах. На нем было летнее светлое пальто и черная шляпа. Руки он постоянно держал в карманах. Шел он по правую сторону от Виктора.

— Изучаю географию здешних мест, — ответил Виктор.

— Бежать хочешь? — понизив голос, спросил Рудзиньш.

— Разумеется.

— С дороги?

— При такой охране с дороги не убежишь.

— С места?

— Конечно.

— Место моего поселения — Жигалово.

— Ну?

— Буду ждать тебя.

Виктор взглянул на Рудзиньша.

— Ты тоже хочешь бежать?

— Да. Я дам тебе знать, когда устроюсь в Жигалове. Придешь прямо ко мне... ночью. Переночуешь, отдохнешь, и двинем дальше вместе. Согласен?

— Согласен.

— А с кем-нибудь из оставшихся по дороге ты говорил?

— Говорил.

— Ну и прекрасно. Я тоже говорил. Трудным будет переход от Манзурки до Иркутска — двести верст.

— В деревне Баяндай, почти на полпути от Иркутска до Манзурки... помнишь, проходили?..

— Помню.

— Там двое остались. Я тоже договорился.

— Отлично.

Виктор шел рядом с коренником. Белой масти мерин с большой благодарностью брал из рук Виктора своими толстыми теплыми губами куски черного хлеба. Хлеб мерину приходилось есть изредка, как лакомство. От жены хозяина часто пахло ржаным хлебом, но не было случая, чтобы она дала ему хотя бы кусочек. Баловали иногда ребята, да вот политический ссыльный, чей мешок он вез на телеге, скормил ему не менее фунта.

Мерин мотнул головой, повернул ее в сторону Виктора, взглянул на него большим глазом и пожевал губами. Виктор достал из кармана кусочек черного хлеба. Мерин осторожно взял его с ладони Виктора и стал жевать.

Тракт вошел в село Харбатово, разделив его надвое. Справа село огибала река Манзурка. Вокруг — пашни, луга, холмы.

Этап остановился возле избы, над крылечком которой висела железная вывеска: «Харбатовское волостное правление».

Этапный пункт в Харбатове недавно сгорел, и ссыльным предстояло провести ночь под открытым небом. Конвойный начальник распорядился отвести партию на версту от села, а сам остался в Харбатово. Ямщики разъехались на ночлег по своим «друзжкам».

Солнце скрылось за лесом в вечернем мареве. Воздух похолодел. Этап расположился у тракта, среди мелкого кустарника. Задымили костры вокруг, потянуло запахом дыма.

После ужина стали укладываться спать. Женщины устроились все вместе, табором. Часовые окружили лагерь.

Виктор надел фуфайку под пиджак и лег на сухой траве, подстелив пальто и набросив на себя байковое одеяло. Недолго слышались разговоры, смех, анекдоты, сдержанная ругань. Усталые люди, несмотря на холод, уснули. Наступила тишина, какая бывает только в степи ночью.

Виктор лежал и смотрел в темное, затянутое низкими тучами небо. В этом году весной исполнилось десять лет со дня встречи его с Меркуловым и Василием Рудаковым. Прошло всего только десять лет, как он встал на путь революционной деятельности, а сколько событий совершилось за это время, сколько встреч с людьми, сколько передумано и перечувствовано! Но вместе с тем в жизни за эти десять лет собственно ничего не изменилось. Она идет, как шла. В самом деле. Вот он лежит у Якутского тракта, по которому уже сто двадцать пять лет в гиблые места идут люди, мечтающие о какой-то счастливой жизни, которую и сами-то довольно смутно представляют себе. Тракт идет на север, поднимается в гору и пропадает, затянутый ночной мглой. Небо нависло над самой землей. Ничего не видно ни там, откуда пришла партия, ни здесь, куда она пойдет завтра. И в самой жизни — никакого просвета. В сердце — тоска. Опять ссылка! Опять одиночество! Сквозь дрему в мозгу у Виктора складывается письмо к Жене. Оно получается как стихотворение в прозе: «Померк осенний день, и над землей царит одна, таинственна как мир, ночная тишина. Тревожит сердце эта ночь, тоска гнетет. А дни летят и мчатся годы. Под стон людей идут века, под звон цепей проходят годы...» «Плохо, — подумал Виктор: — «царит одна, таинственна, как мир, ночная тишина...» Чудесные стихотворения в прозе писал Тургенев: «Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка — и безмолвно, и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звезд...»

Кто-то простонал во сне.

Виктор вспомнил задушевную, необыкновенной чистоты, какой бывает юность, скульптуру Беклемишева. Она называется «Как хороши, как свежи были розы»: девушка на скамье в саду с розой в руках. «Чудесная скульптура! — подумал Виктор. — Жизнь бы сделать та-

кой чистой!.. Что-то сейчас делает Женя? Может быть, дежурит в больнице, а может быть, она дома, в Голубиной Пади... спит. А может быть, не спит, слушает, как вздыхает за стеной Фелицата Даниловна, думает...» Из села донесся глухой лай собак. Почему в ночном лае деревенских собак столько тревоги? Виктору было лет десять, он ночевал у бабушки Веры. Ночью дворовый пес лаял так, что всех разбудил. Бабушка Вера сказала дяде Ване: «Встань, возьми винчестер, выйди. Что это Трезор так брешет?» Вслед за этим раздался перепуганный крик гусей. Дядя Ваня вышел в сени. Все стихло, и пес перестал лаять. Слышно было, как дядя Ваня открыл наружную дверь. Скоро он вернулся и сказал: «Гусей украли» (гусей на ночь запирали под крыльцо). С тех пор в ночном лае собак стала чудиться Виктору тревога.

Под лай собак Виктор заснул, но скоро его разбудил шум в лагере.

— Не пойду, не пойду! — слышался голос Свиридовой.

— В чем дело? — раздался бас Коновалова.

— Его благородие требуют к себе Свиридову, — услышал Виктор голос унтера.

— Скажи своему благородию, что, если ему нужна Свиридова, пусть придет сюда, — пробасил голос Коновалова.

— Черт знает что такое! Возмутительно! — раздались взволнованные голоса женщин.

Виктор Заречный, обходя спящих, направился к табору женщин. От табора отделилась мощная фигура Коновалова.

— Что случилось? — спросил Виктор, когда они сошлись.

— Уже второй раз в пути начальник конвойной команды среди ночи вызывает к себе Свиридову, — ответил Коновалов.

— Мерзавец! — сказал Виктор.

Лагерь снова затих. Низко над землей плыли тучи — темные и тяжелые.

Проснулся Виктор от холода. В серых тучах брезжил рассвет.

Натянув одеяло до ушей, Виктор полежал минут пять. На лицо ему упала дождевая капля, потом другая,

третья. Заморосил дождь. Виктор вскочил на ноги. И весь лагерь стал оживать.

Мелкий дождичек шелестел в побуревшей траве. Дым от костров, у которых сгрудились ссыльные с чайниками и кружками, расстилался над лагерем.

По тракту один за другим, громыхая, катили из села пятнадцать одноконных подвод. Ямщики, бородатые чалдоны¹ в брезентовых дождевиках, с кнутами в руках, сердито поглядывали из капюшонов (крестьяне не любили выставлять подводы для перевозки ссыльных, да еще в такую непогоду; им надоела эта повинность).

Виктор уложил в вещевой мешок фуфайку, эмалированную кружку, чайную ложку, коробку с сахаром, баночку с чаем и кусок черного хлеба (небольшой кусочек положил в карман пальто). Завязав мешок бечевкой, он положил его на одну из телег. Взглянул на лошадь. Это был тоже мерин — небольшого роста, чалой масти, с черной гривой и черным хвостом. Конь недоверчиво посмотрел на Виктора. Виктор подумал, что у белого мерина взгляд был добрее.

Дождь усилился. До Качуга — двадцать восемь верст. Впереди, кажется, ни одной деревни, где бы был этапный пункт.

«Переждать бы дождь в Харбатове, — подумал Виктор. — Но где?»

Он поделился своей мыслью с двумя другими старостами — Коноваловым и представителем от уголовных. Все трое отправились к крытому почтовому тарантасу, где уже сидел, укутавшись в бурку, начальник конвойной команды. Старосты предъявили требование разместить людей в каких-нибудь сараях, пока перестанет дождь. Выслушав заявление старост, конвойный офицер ответил:

— Инструкцией не предусмотрено, да и какие тут могут быть сараи? К тому же... — Он посмотрел на небо. — Видите, как затянуло. Может быть, целую неделю будет мочить. Так мы целую неделю и будем сидеть в сараях?

— Инструкцией всего не предусмотреть, — возразил

¹ Чалдоны — коренные жители Сибири.

Виктор. — Мало ли что может произойти в дороге? Вы начальник этапа и можете решать самостоятельно возникающие в пути вопросы.

— Скотину в такую погоду не выгоняют! — добавил староста от уголовных.

— Инструкцией не предусмотрено, — повторил офицер, злобно посмотрев на старост.

Виктор понял, что из переговоров с начальником конвойной команды ничего не выйдет. Единственно, что беспокоило этого офицера, — это как бы не убежал кто-нибудь в пути. Пусть гремит гром, пусть землетрясение, он будет вести этап, пока не получит расписку в приеме последнего поселенца. Протестовать против его действий не было смысла. К тому же разместить более двухсот человек при отсутствии этапной тюрьмы действительно было делом невозможным.

— Пошли! — приказал унтеру начальник конвойной команды.

Унтер повел ушами, как конь, — у него были большие подвижные уши, — всунул ногу в стремя, вскочил в седло.

— Трогайся! — прокричал он.

Под ругань ссыльных подводы гроыхнулы.

Виктор Заречный пошел рядом с чалым меринком. Конь уныло мотал гривой.

— Что, дружище? — заговорил Виктор с конем. — Не успели отойти от села, уже мокрые. Паршивая, брат, погода. Помочит нас сегодня. Возьми хлеба.

Конь вытянул губы и взял с ладони Виктора кусочек черствого хлеба. На зубах у коня хрустнула корочка.

Противный мелкий дождь брызгал и брызгал. Одежда на Викторе и шерсть на коне намокли. Стало познабливать. Единственное спасение от озноба — быстро идти.

Это хорошо знали и Виктор и конь. И они деловито шли в ногу, ударяя в размякшую землю — конь копытами, Виктор сапогами, так деловито, будто впереди их ожидало какое-то важное дело.

Дождь шел не переставая. Людям уже надоело ругаться, и этап двигался молча. Лошади мотали мокрыми головами; ямщики, отвернувшись от дождя, прятали бороды в капюшоны плащей; ссыльные, сунув озябшие

руки в рукава пальто, халатов или бушлатов, угрюмо шли по грязи или садились на телегу и, дрожа всем телом, думали только о том, что дождю этому и дороге этой проклятой никогда не будет конца.

СЛУЧАЙ В КАЧУГЕ

Но вот блеснула стальной водой Лена. Показались церкви, хлебные амбары, темные крыши домов.

— По избам бы! — сказал кто-то мечтательно.

— На полати бы, — поддержал его другой мечтатель.

— На печку бы, — отозвался третий.

— К самовару бы, — промолвил четвертый.

— Под бок бы к бабе, — вздохнул ссыльный, обладавший безудержной фантазией.

— Хушь бы на сеновал, — раздался трезвый голос человека, не привыкшего к роскоши.

Измученный тяжелым переходом, весь промокший, Виктор Заречный обрадовался качугской пересылке, как первоклассной гостинице. У высоких палей, за которыми не видна была сама этапка, собралась вся колония «качужан». Ссылные с вещевыми мешками за спиной построились по четыре человека в ряд. Со скрипом открылись ворота в палях. Конвойный офицер сам проверял по списку людей.

— Идите, — говорил он, — идите. — На Свиридовой он задержал свой тяжелый взгляд.

Ворота закрылись. Унтер расставил часовых вокруг этапки. «Качужане» толпой отправились в волостное правление, куда должны были привести назначенных в Качуг.

Большое деревянное здание этапного пункта с двухэтажными нарами и железными решетками на окнах не могло вместить всю партию; многие остались без места, поэтому «тянули билетки», кому первому лечь на нарах. Открыли окна, которые давно уже не открывались. Принесли со двора дров, затопили печь, стали сушить одежду, обувь, портянки и сами сушиться.

Женщинам было отведено помещение в той же этапке с отдельным ходом.

Унтер объявил, что начальник конвойной команды распорядился устроить двухдневный отдых.

Ночью из всех щелей вылезли голодные клопы. Сначала борьба с ними шла молчаливая, глухая, потом, когда люди потеряли всякое терпение, клопов стали давить с остервенением и неслыханной за всю дорогу руганью.

Виктор не сомкнул глаз. И никто не спал. Все, что происходило вокруг, казалось бредом. Да, это, конечно, не было похоже на человеческое общество. Это были страшные, озлобленные существа, готовые разнести по бревну этапку.

— Староста! — мрачно крикнул один из метавшихся по избе уголовных ссыльных. — Требуй, чтобы утром идти дальше. Заедят нас клопы за двое суток.

— Насмерть заедят! — загудели голоса. — Какая их тут сила! Точно мамаево войско, едят их мухи с комами!

В этот момент в этапку вбежала одна из женщин.

— Товарищ Коновалов! Товарищ Заречный! — крикнула она взволнованно. — Пойдемте. Опять этот мерзавец...

Виктор Заречный и Коновалов бросились к двери.

В женском отделении произошло вот что. Там тоже не спали. Около двенадцати часов ночи в женскую камеру ввалился подвыпивший унтер. Поведя ушами, он скомандовал:

— Свиридова! К его благородию!

— Вон отсюда! — гневно закричала тоненьким голоском Свиридова.

— Не кричать! — заорал на нее унтер.

С нар поднялись все женщины.

— Вон сию минуту! — кричали они, наступая на унтера.

Унтер, пятась, стукнулся спиной о косяк двери, едва удержавшись на ногах.

Через минуту дверь в женское отделение с грохотом распахнулась и в нее влетел в своей бурке начальник конвойной команды. Он был пьян.

— Бунт? — завопил он, и глаза его налились кровью. — Я вам покажу, как бунтовать. — Он исчез в дверях камеры.

Когда конвойный офицер вернулся с унтером и двумя часовыми, Виктор Заречный и Коновалов уже были в женской камере.

— Вам что здесь надо? — закричал офицер. — Тоже бунтовать? Взять! — приказал офицер часовым, указывая на Свиридову.

Свиридова сидела на нарах бледная. Виктор Заречный загородил ее собою.

— Мы вам не позволим, — проговорил он твердым голосом, гневно глядя офицеру в глаза и сжимая кулаки.

— Что? — Офицер выхватил из кобуры револьвер.

Коновалов шагнул к нему и ударил его с такой силой, что офицера отбросило к окну. Он трахнулся затылком о подоконник и выронил из рук револьвер. Фуражка закрыла ему лицо. Коновалов быстро поднял револьвер с пола и выстрелил в фуражку. Ноги у офицера поползли по полу, фуражка упала на пол; из-под левой скулы текла кровь на шинель. Офицер был мертв.

Все это произошло с необыкновенной быстротой и было настолько неожиданно, что все молча смотрели на мертвое тело офицера.

— Берите меня, — сказал Коновалов, подавая унтеру револьвер. — Прощайте, товарищи! — Он бросился к Свиридовой, обнял ее.

Коновалова увели к станковому приставу. Свиридова упала лицом в свою подушечку-думку.

НА РЕКЕ

Пустынны и угрюмы скалистые берега великой сибирской реки, одной из самых больших рек на земном шаре. Бесконечные гряды безмолвных гор, покрытых суровым лесом, служат ей колыбелью. На тысячи верст — глухая неведомая тайга. Нигде, кажется, кроме тундры, человек не испытывает такой оторванности от мира, такой опустошающей душу тоски, как здесь. Десятки тысяч лет стоят скалы красного песчаника, помнящие человека, ходившего здесь с каменным топором в руке и с радостным чувством свободы на сердце. Это он, древний человек, запечатлел на скалах свою жизнь. И ни ветры, ни метели, ни дожди, ни снег, ни град — ничто не может уничтожить высеченных в скалах рисун-

ков знаменитой Шишкинской галереи — творений первобытного человека¹.

И вот, прошли десятки тысяч лет, и под выступами Шишкинских скал идет новый человек, человек двадцатого века. И нет чувства свободы у этого человека, Он — невольник, он — раб.

«Тут какая-то закономерность, — думает Виктор Заречный. — От первобытной свободы к рабству, от рабства — к высшей свободе... Она придет, она восторжествует на земле». В это Виктор верил. Ничто не могло истребить этой веры в нем.

Убийство конвойного офицера и арест Коновалова, которому, вероятно, предстояла казнь, произвели на всю партию гнетущее впечатление. С особой остротой каждый почувствовал свое несправие. У Виктора Заречного не выходила из головы картина убийства, дымящийся револьвер в руке Коновалова.

«Он спас мне жизнь, — неотвязно думал Виктор, — а сам погибнет».

Свиридова сидела на одной из подвод в своей нелепой соломенной шляпке, укутавшись одеялом. То и дело она прятала лицо в одеяло и вздрагивала всем телом.

В Качуге крестьяне выставили еще меньше лошадей, чем на предыдущих станах, и ссыльные шли впереди подвод нестройными рядами, по несколько человек; подводы теперь везли только скерб ссыльных да женщин.

Якутский тракт, перешагнув в Качуге через Лену, пошел по правому ее берегу, то взбираясь на прибрежные горы, то спускаясь к самой реке.

Понемногу начался разговор, а потом разгорелся спор между ссыльными. Не стесняясь конвойных и унтера, который исполнял обязанности начальника конвойной команды (надо заметить, что и солдаты и унтер несколько не жалели своего начальника, они ненавидели его), эсер Железнов, человек с бритыми щеками и черной бородой острым клином, с которой сливались густые черные усы, горячо говорил:

— Случай в Качуге подтверждает правоту нашей тактики: истреблять всю эту нечисть.

¹ Шишкинская галерея — так называют (по месту нахождения — «Шишкинская шаманка» на реке Лене) археологический памятник: древние рисунки, высеченные и нарисованные красной краской на скалах.

— Всех не перестреляешь, — возразил ему Рудиньш.

— От вас только одно и слышишь: не перестреляешь, не перестреляешь, — огрызнулся Железнов. — Может быть, вы считаете, что и этого мерзавца не следовало убивать?

— Тут другое дело. Тут — самозащита! Вернее, защита женщины. Это не террор, к тому же убил его не эсер, а большевик.

— Это тоже террор, если хотите знать, — настаивал на своем Железнов. — Или, может быть, вы исходите из того, что выстрелил не эсер, а большевик? Большинство террористических актов совершается над людьми, прославившимися своей жестокостью. Выстрел Коновалова предупредил убийство Заречного и надругательство над Свиридовой. Не отказываться от террора надо, а усилить его, уничтожить всех — генерал-губернаторов, министров, председателей судов, смотрителей тюрем, конвойных офицеров. Всех, всех... как собак убивать при всяком удобном случае. — Глаза у Железнова злобно сверкали. — Мстить!

В разговор вмешался Виктор:

— Мсть — чувство законное. Но ведь это — вы же понимаете — не средство борьбы. У меня была бабушка. Она говорила: «Цари как грибы: одного сорвал, другой вырос». Убийство Александра Второго, как всем известно, повлекло гибель таких замечательных людей, как Кибальчич, Желябов, Софья Перовская. Вместо Александра Второго на трон сел Александр Третий. А каковы были дальнейшие события? Через двенадцать дней после убийства Александра Второго Исполнительный комитет послал Александру Третьему письмо, в котором предлагал созвать представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни. Это уж песня, не имеющая ничего общего с революцией. От этого письма веет разочарованием в заговорщицких методах борьбы. В основе письма, как и в основе террора, лежит все тот же идеализм, идущий издалека: от «Земли и воли», от «хождения в народ».

— В основе террора — идеализм? — удивленно переспросил Железнов.

— Конечно. Что вы удивляетесь? Только идеалисты

могут думать, что убийством царя можно изменить государственный строй. Эсеры-террористы так же одиноки, как были одинокими, скажем, нечаевцы, члены «Общества народной расправы и топора», или землевольцы, участники Липецкого съезда, где решался вопрос об убийстве Александра Второго. Землевольцы-террористы рассуждали так же, как вы. Как они ставили вопрос? Должно ли царю, этому мрачному реакционеру, жестоко расправлявшемуся с революционерами, проститься все то зло, которое он уже сделал и еще сделает в будущем. То есть вопрос шел о мести. Только некоторые из землевольцев-террористов убийством Александра Второго надеялись вызвать социальную революцию. Это, конечно, тоже было проявлением идеализма.

Некоторое время спорящие шли молча. Мерин видел, что Виктор увлекся разговором, и не просил хлеба, только изредка фыркал. У телеги тоненьким голоском поскрипывало колесо.

— Народ считал Александра Второго своим освободителем, — возобновил разговор Виктор, — а землевольцы-террористы решали вопрос о его убийстве.

— Да за одного Чернышевского его следовало отправить на тот свет, — злобно сказал Железнов.

Оставив без возражения замечание Железнова, Виктор высказал главную свою мысль:

— Из всего этого надо сделать вывод: без народа революции не сделаешь.

Где-то вдалеке послышался звон бубенцов. Мерин тоже услышал и наострил уши. Серебряный звон приближался. Впереди на тракте показалась тройка. Вот она поравнялась с головой этапа. В повозке сидел породный человек с рыжими усами, в фуражке с красным околышем, в плаще, под которым поблескивали светлые пуговицы шинели. В седоке Виктор узнал балаганского исправника.

«Наверное, перевели сюда», — подумал Виктор.

— Скажите, товарищ Заречный, — заговорил Железнов, — вооруженное восстание марксисты признают?

— Конечно, признают. Что вы спрашиваете? Вы же знаете?

— А вооруженное восстание — это тот же террор, только массовый! — воскликнул Железнов и взял свою бородку в кулак.

— Большевики рассматривают вооруженное восстание как способ захвата политической власти, а не как массовый террор, — возразил Виктор. — Вот в чем разница. Террор привел к азефовщине, а восстание приведет к захвату государственной власти.

Железнов не нашелся, что сказать, только махнул рукой. Голос подал его единомышленник, шедший позади:

— Террор был и остается нашим методом борьбы с самодержавием.

Виктор оглянулся. Это говорил студент Тарасов, тамбовский эсер, очень энергичный, безусый, но уже не молодой человек, в черной шинели, небрежно наброшенной на плечи.

— Уничтожать, как... как... — он не мог подыскать сравнения, — как куропаток.

Хотя сравнение было неудачным, бундовец Фейгин, по профессии портной, серьезно возразил:

— Результатом будет усиление террора со стороны правительства.

— Ну и что же? — Шинель у студента сползла с плеча. — На то и борьба.

— Наивный вы человек, — возразил Рудзиньш. — Перевешать террористов легче, чем перестрелять всех губернаторов.

— Меня удивляет вот что, товарищ Железнов, — снова вступил в разговор Виктор Заречный. — Как у вас ненависть к самодержавию уживается с его защитой?

— То есть как? — всполошился Железнов и взметнул вверх свою бородку клином.

— Да так. Вы ведь оборонец, а оборончество — это защита самодержавия.

— Ну, извините, вы городите ересь. Оборонцы призывают к защите отечества, а не самодержавия.

— Как же можно защищать отечество, не защищая в то же время самодержавия?

Наступила полуминутная пауза.

— Объективно, — продолжал Виктор, — защищая отечество, вы защищаете самодержавие, защищаете интересы фабрикантов, заводчиков, помещиков, защищаете исправников и губернаторов, к уничтожению которых призываете.

— Что правда, то правда, — вдруг неожиданно раздался грубоватый голос ямщика, сидевшего на передней подводе.

Все невольно оглянулись.

— Слыхали товарищ Железнов? — Виктор торжествовал. — В вашей теории и практике нет никакой последовательности, никакой логики.

— Софистикой занимаетесь, товарищ Заречный, — сказал Железнов.

— Это не ответ, товарищ Железнов, — заметил Виктор. — Вы ответьте на то, что я сказал, и не мне — я знаю ваш ответ, — вы ему скажите, — Виктор указал большим пальцем руки через свое плечо на ямщика. — Это ведь голос крестьянина. Нет, товарищ Железнов, факт остается фактом: в вопросах войны вы объединились с исправниками и губернаторами, с заводчиками и помещиками. У вас и у них одна и та же точка зрения: защита «отечества» во что бы то ни стало.

Железнов хотел было возразить, но Виктор перебил его:

— Ваша проповедь о «гражданском мире», «обороне отечества от германского милитаризма» набила оскомину. Вы не способны понять экономической подоплеки войны. Идет внутрисобная война капиталистов, а вы, вместо того чтобы разоблачать грабительскую ее сущность, выполняете неприглядную роль пособников одной из воюющих сторон. И называете себя социалистами да еще революционерами! Какие вы революционеры! Были когда-то революционерами, а теперь стали шовинистами.

— А вы демагог!

— Не по существу отвечаете, товарищ Железнов.

Студент Тарасов что-то пробурчал, а портной Фейгин весело проговорил:

— Как проживешь, так и прослывешь.

Внимание Виктора привлек разговор в небольшой группе ссыльных, которая шла позади.

— Но убийство конвойного офицера вы оправдываете? — спрашивал кто-то.

— Оправдываю. Я бы на месте Коновалова поступил так же. Иначе был бы убит Заречный.

— То-то.

— Заречный спасен, а Коновалова казнят.

Слова эти обострили у Виктора Заречного чувство виновности в аресте Коновалова, хотя, конечно, он ни в чем не был виноват. Так уж сложились обстоятельства: всякое бывает в жизни.

— Коновалов защищал не Заречного, а Свиридову, — проговорил Фейгин, и все замолчали, стали думать о бедной Свиридовой; многие обернулись, посмотрели на нее, на ее нелепую соломенную шляпку с фиалками.

Дорогу преградила гора. Среди темных сосен, покрывавших гору, зеленели стройные лиственницы, смягчая суровость леса. Обогнув гору слева, тракт стал полого спускаться вниз, вдоль реки. Справа высились подорванные при постройке тракта скалы, по которым кое-где росли березы и ели, а слева к самой реке сползал обрыв. По краю обрыва бежали плохо обтесанные невысокие столбики с кривыми жердинками.

Отсюда открывался особенно широкий вид на долину Лены. Сзади синела под голубым небом необозримая тайга. Оттуда текла река. Впереди Лена, заворачивая за утес, исчезала, точно там был ее конец.

На шестой день пути показалось Жигалово с нефтяным баком и мастерскими для ремонта пароходов.

Казалось, будто село праздновало пасху. «Гуляли» возвращавшиеся домой приискатели. Малиновые просторные рубахи, из которых можно сшить две-три рубашки; кожаные ремни, точно подпруги для лошадей; плисовые шаровары, в которых можно спрятать по полдюжине ребят; высокие сапоги со сборками, которых хватило бы на изготовление дюжины ботинок; серебряные цепочки на груди; лихие чубы из-под фуражек; разухабистые песни под гармошку — все смешалось в пьяном угаре.

О ленских крестьянах, потомках «государевых ямщиков», говорили, что они живут «не сохой, а кнутком», то есть почтовой гоньбой. О жигаловцах можно было сказать, что они живут приискательской гульбой.

Отсюда начиналось судоходство по Лене, и сюда по Тыреть-Жигаловскому тракту приходили с Сибирской железной дороги обозы с товарами для Ленских и Витимских золотых приисков, приезжали тысячи людей, чтобы плыть по Лене за золотом. Осенью приискатели

возвращались в Жигалово и на порожних подводах ехали в Тыреть или через Качуг в Иркутск.

С обеих сторон единственной в селе улицы неприветливо глядели на этап дома-кабачки и постоянные дворы, откуда вываливались пьяные люди.

— Политика! Наше вам! — кричал осипшим голосом молодой приискатель в розовой шелковой рубашке и плисовых шароварах. Он нагло смотрел на двигавшийся обоз.

— Наяривай, Кенька!

Кенька, совсем молодой паренек, тоже разодетый, старающийся походить на гуляку-приискателя, развел мехи гармошки, и приятели заорали на все село:

Научились наши девки
Узки юбочки носить,
Научились наши девки
С политиками крутить.

— Ух, ты! — крикнул приискатель и стал отплясывать. Под ним гулко вздыхала земля.

— Ему не нужна никакая революция, — горестно сказал Рудзиньш.

— Это не типично, — возразил Железнов.

— Ваши мужички не лучше, — ответил ему Рудзиньш.

— Клеветецте на народ! — огрызнулся Железнов.

— А вы на народ готовы молиться.

— Во имя народа мы с вами отбыли каторгу и идем в ссылку.

— Да, но миллионы людей еще не понимают нас. Побывавшие в этих местах товарищи говорят, что местные крестьяне никак не могут уразуметь, из-за чего мы ссоримся с царем. Царь их не трогает. Есть ли он, нет ли его — им все равно. Земли сколько хочешь, только корчуй лес... Для чего нужна революция? Не понятно! Вот полюбуйтесь.

Из домика-шинка вышел ямщик в длинном, до пят, коричневом ямщицком балахоне. У него круглое, заросшее широкой бородой, красное от выпитого вина лицо. Он совершенно пьян и, шатаясь из стороны в сторону, произносит одну и ту же фразу:

— Братцы мои... ешь, пей, веселись — и никаких гвоздей!

— Вот она, формула жизни, — заметил Рудзиньш. — Это целая философия.

— Философия пьяного человека, — возразил Железнов. — А завтра он возьмется за кнут и другое запоет. Кнутик — это тоже тяжелый труд. Погоняйте-ка почту по Лене зимою, в непроглядную метель, в буран, в сорокаградусный мороз!

Этап медленно двигался через село. Скрипели колеса, и где-то заливалась гармошка: «Выйду ль я на реченьку».

У пристани стоял небольшой пароход «Тайга»; вблизи от него, уткнувшись носом в берег, чернел катер «Чайка», а дальше у самого берега поджидали ссыльных два паузка — баржи с дощатой надстройкой по середине.

С тракта партию повели прямо к паузкам. В партии осталось не более ста двадцати человек политических ссыльных, и все они разместились в одном паузке. Места на нарах, устроенных в два яруса внутри надстройки, занимали без всякой спешки. По указанию Виктора Заречного, оставшегося единственным старостой, женщины поместились внизу, с краю, все вместе. Они загородились со всех сторон простынями. Остальные разместились кто где хотел.

Остаток дня и ночь паузок простоял у берега. За это время Виктор Заречный с двумя ссыльными закупили провизии. Рано утром, когда над рекой еще плыли струи тумана, паузок, управляемый длинными веслами сзади и спереди, отвалил от берега. Лоцман — коренастый человек в ватной куртке, шапке-ушанке и высоких сапогах, родом из Калуги — указывал путь молодому рулевому.

Гонимый течением, паузок, поскрипывая, поплыл мимо парохода «Тайга», к еще зеленому, но без единого деревца острову, на приверхе¹ которого стояли белые створные столбы, затем свернул вправо, к пристани Ленско-Витимского товарищества. Миновав два продолговатых острова, на которых стояли также белые створные столбы, паузок перевалил к левому берегу.

— Дальше, — говорил лоцман рулевому, — веди по

¹ Приверха — верхняя часть острова.

верхнему створу... Видишь красные столбы?.. Пониже Тихого плеса? Видишь?

— Вижу.

— Глаза у тебя хорошие?

— Хорошие.

— В этом деле глаза должны быть, как у ястреба... — У него самого действительно был острый, ястребиный взгляд; суженные зрачки серых глаз кололи, точно шилом. — Таким манером, — продолжал лоцман поучать молодого речника, — мы с тобой пройдем Нижне-Жигаловский пережат. А потом все левыми протоками, все левыми. Держись фарватера. Попадешь на лешадь или на осередок¹ — хана: шестью снимать придется судно (он важно называл паузок судном).

— Теперь двадцать три версты все левыми протоками, — помолчав, сказал лоцман рулевому. — А я дремлю. — Он лег тут же, на мешки, положив руки на живот.

Солнце поднялось высоко над рекой. И, довольное красотой скалистых берегов, зеленых гор, поплыло по синему, как океан, осеннему небу. Голубые излучины реки со множеством зеленых или песчаных островов; известняковые отвесные яры, по бровкам которых стоят готовые упасть в реку темные сосны; глубоко вдавшиеся в реку и четко отражавшиеся в воде утесы из серого камня; одинокие пихты, взбирающиеся по отлогой горе к вершине ее, где стоит дремучий бор, — все это, освещенное и пригретое солнцем, объято немой торжественной тишиной.

Почти вся партия была на верху паузка: сидели на крыше, стояли возле надстройки, любясь все новыми и новыми картинами, величаво плывшими навстречу.

Медленное движение паузка по реке среди величественной природы, сама вода в реке успокоили людей, прошедших четыреста верст и переживших случаи в Качуге. Те, кто вырос среди природы центральных губерний, не могли оторвать взгляда от дикой красоты берегов сибирской реки; однако многие в изнеможении лежали внутри паузка, на нарах, отдавшись сну.

Паузок прошел уже верст сорок. На реке стояло

¹ Лешадь и осередок — мелкое место.

полное безмолвие, только журчала вода вокруг паузка. Высокие берега красного песчаника сменялись холмами, поросшими лесом, или вдруг начинался заливной луг, а дальше вдоль берега тянулся лес. То и дело попадались поросшие тальником песчаные острова, иногда очень длинные, делившие реку на два, три русла.

Солнце уже клонилось к горам. Верстах в шести-десяти от Жигалова, когда паузок переваливал от левого берега к правому, где лежала небольшая, в двадцать бревенчатых изб, деревенька Грузновская с оголенными вокруг нее пашнями, Свиридова, сидевшая, свесив ноги, на крыше паузка, поднялась и прыгнула в воду. Она это сделала так просто, будто прыгала не в воду, а на берег, на песок, чтобы пойти по нему. Но она не пошла, а скрылась в мутной воде. На поверхности осталась только ее соломенная шляпка.

— Ай! Ой! — кричали люди. — Остановить паузок!

Виктор Заречный сбежал по лестнице на корму, скинул с себя пиджак. Лоцман едва успел схватить его за руку:

— Ты што? Али в воду хочешь кинуться?

— Спасти ее надо! — крикнул вне себя от волнения Виктор.

— А как ты ее спасешь? — спокойно спросил лоцман. — Вода мутная. Где она? Ну, кидайся! А што толку?.. Кабы вынырнула! Ведь и ее течением по дну понесло... и будет нести, пока не прибьет где-нибудь: может, к стрелке, а то к быку, али вынесет на косу либо у берега, либо посередь реки. И будет она лежать незнамо сколько.

— Остановить паузок! — кричали люди.

— А как ты его остановишь? — все так же спокойно говорил лоцман. — Только к берегу пристать. А что толку? А ее несет под водой. В прошлом годе так вот лоцман пьяный... бултых в воду — и поминай как звали.

Виктор Заречный, потрясенный происшедшим, стоял на корме с пиджаком в руках и смотрел, как вслед за паузком плыла соломенная шляпка Свиридовой. Никогда он не чувствовал себя таким беспомощным. Тяжелым укором гибель Свиридовой легла ему на душу.

Паузок, обогнув устье реки Орленги, впадающей в Лену, стал приваливаться к правому берегу, у самого села Орленги. Виктор Заречный стоял на крыше паузка и всматривался в пустынный берег. Было уже темно. Лодманские знаки, особенно на правом берегу, где они окрашены в красный цвет, едва можно было различить. По небу быстро бежали темные облака, и звезды то появлялись в синих небесных озерах, то вновь скрывались. В темных избах светились одинокие огни. Вокруг стояла глухая тишина. Тревожно лаяла собака.

«Какая глушь!» — подумал Виктор.

Рулевые энергично заработали веслами. Когда паузок повернулся носом против течения и подошел к берегу, рулевой, стоявший на носу, бросил канат и сам срыгнул с паузка, едва не угодив в воду. Оттащив канат сажень на пять и накинув петлю на кол, он, весело разминая ноги, побежал к паузку.

— Давай сходни! — раздался его голос; и эхо на том берегу явственно повторило: «Давай сходни».

От середины паузка перекинули на берег длинную доску, по которой сошли несколько конвойных, за ними побежали ссыльные с узелками, с чайниками, с кружками. Один за другим вспыхивали на берегу костры. И в душе вдруг вспыхнуло что-то светлое, как надежда... Любит человек костер. Огонь греет душу, заволаживает...

Паузок оставался до утра в Орленге, и Виктор Заречный заночевал на нем.

Утром он распрощался с товарищами, следовавшими на Усть-Кут и дальше, взял свой вещевой мешок и в сопровождении ушастого унтера сошел на берег.

В избе, где помещалось волостное правление, — окна ее смотрели на реку, — находился человек, который при появлении Виктора приветливо улыбнулся.

— С приездом! — сказал он, вставая из-за простого деревянного стола, на котором лежал журнал для регистрации ссыльных и стояла жестяная керосиновая лампа с закоптелым стеклом. — Будем знакомы. — Он протянул руку и отрекомендовался: — Волостной писарь Гаврила Петрович Аксенов... Давайте пакет, — обратился он к

унтеру и расписался в принятии ссыльного поселенца Виктора Заречного.

— Счастливо оставаться, господин Заречный, — унтер взял под козырек.

— Вам счастливого пути, — ответил Виктор.

— Ну, вот и все, — сказал писарь Гаврила Петрович. — Крестьяне говорят так: «Вот тебе тайга, вот тебе река — хотишь давить, хотишь топить». Только это не обязательно: давиться и топиться. Вам назначены Выселки. Отсюда пять верст, а из Выселок можете идти хоть в Питер. — Писарь рассмеялся.

Эти его слова произвели на Виктора совершенно необыкновенное впечатление. Заречный смотрел на писаря, будто не понимая, шутит тот или говорит серьезно, хотя Виктор великолепно знал, что приемка ссыльных, прибывающих к месту приписки, происходит именно так. В самом деле, унтер ушел, напоследок назвав Виктора даже «господином», конвойных нет. Полная свобода!

— А в Выселках есть ссыльные?

— Нет.

— Как пройти туда?

— Пойдемте — покажу.

Они вышли из волостного правления. Мимо пастух гнал коров и овец к реке на водопой. Паузка уже не было.

— В Выселки дорога — вот, — сказал писарь Гаврила Петрович, — прямо, никуда не сворачивая.

Виктор Заречный зашел в лавку ссыльного грузина Сасани, купил кое-каких продуктов и отправился в деревню Выселки. Шел он быстро. Ему хотелось поскорее сбросить с себя вещевой мешок и пойти в тайгу... долго идти, наслаждаясь свободой. Да свободой! Недаром отбывшие каторгу считают ссылку свободой... Все в этом мире относительно.

Орленгская волость занимала огромную необжитую территорию. Двадцать семь ее деревень с четырьмя тысячами жителей разместились у берегов Лены на протяжении трехсот верст. Это была обиженная богом и правительством волость, хотя в центре ее — селе Орленге в

тридцать дворов — была и школа, и больница, и почтово-телеграфное отделение, и церковь, и две лавки; в одной из них продавалось «казенное вино». О том, что Орленгская волость глуха, бедна, неуютна, что жители ее страдают зобатостью, знали даже в Петербурге, а не только в канцелярии Иркутского генерал-губернатора. Поэтому-то и ссылали сюда «государственных преступников». Редкие на Лене пароходы и те проходили мимо волости (нечего было взять из ее деревень), даже не приветствовали жителей ее гудками. Почту летом привозили на шитиках — почтовых лодках — с каютой посередине (Виктор Заречный называл их ленскими гондолами¹). На шитиках орленгцы плавали в Усть-Кут, сто пятьдесят верст вниз по Лене, и в Жигалово, сто семьдесят три версты вверх по Лене. Это были ближайшие «просвещенные центры». Там и садились на пароход, если надо было ехать в Якутск или в Иркутск. С величайшим напряжением крестьяне орленгских деревень отвоевывали землю у тайги, не хотевшей расставаться с красой своей, вековыми, крепкими, как железо, деревьями. Небольшие участки разделанной земли летом белели цветами картофеля. Осенью женщины, заткнув подола юбок за пояс, с любовью выкапывали из земли каждое «яблочко». При богатстве таежного леса пушным зверем и здесь мужчины не расставались с кнутиком: мимо Орленги проходил тракт на Ленские золотые прииски и на Якутск, и кнутик зимой и летом кормил орленгцев.

В Выселки вела дорога вверх по течению Лены. У самой реки и стояла деревенька в девять дворов. Старики говорили, что Выселки были образованы выходцами из Приангарья, прогоревшими на поисках золота. Трудно было понять, чем руководствовались пионеры Выселков, выбирая для поселения это место. Ведь всего в пяти верстах стояло волостное село. Жители Выселков уже в течение пятидесяти лет постоянно говорили между собою о том, что пора уже перенести избы в Орленгу, где жить гораздо удобнее, или перебраться на Ангару. Но не было инициатора, чтобы начать это переселение.

В деревне в качестве местной власти были староста

¹ Гондола — венецианская лодка с каютой.

и десятский. К старосте, по фамилии Лось, и явился Виктор Заречный.

Это был огромный, по-видимому, невероятной силы человек, настоящий лось, вышедший из тайги. Он весь был в волосах, как в шерсти; шерсть росла и в носу, и на носу, и в ушах, и на макушках ушей. Видны были только умные, серьезные, как у лося, темные глаза. В избе было тепло, но Лось сидел на лавке у окна в черном полушубке и в ушанке набекрень. Жена его у печи замешивала в деревянном корыте отруби для поросят. Она была на сносях. Вокруг отца и матери шмыгали девять человек ребят, от трех лет до девяти. Десятый, самый младший, — годовалый «лосенок» — без штанишек ползал по полу, высоко поднимая нижнюю часть розового тельца. Четверо ребят были двойняшки. Кроме этих десятых ребят, двое были в школе, а двое ловили на реке рыбу.

— Здравствуйте, — сказал Виктор Заречный, входя в избу и снимая кепи.

Староста наострил на него лосиные свои глаза. И все десять лосят, в том числе и голыш, замерев установились на Виктора.

— Здорово, — ответил Лось.

— Я прислан к вам на жительство.

— Политик?

— Политический.

— Вчерась приехал?

— Да, вчера.

— С павузком?

— С паузком.

— Видать, один прибыл?

— Один.

— Садись, паря. Документы сдал в волость?

— Да, в волость, писарю.

Виктор сел на табурет, держа кепи в руке и поглядывая то на старосту, то на ребят.

— Почё не остался в волости?

— Приписка у меня к Выселкам. Посмотрю, как тут у вас.

— А чё смотреть? У нас, паря, девять дворов. Работы не найдешь. В Орленге подходя можно жить. Ты не мастероватый?

— Нет, я по письменной части.

— Талды неча те у нас делать, паря. Писарей нам не надо. Кабыть мастероватый — разговор другой, да и то, паря... девять дворов. Ступай в Орленгу.

— Да у меня приписка к вам.

— Эко дело!.. Да живи, мне не жалко, только работы не найдешь. У Кудреватихи горница проста. Мужа ее в зимовье под Жигаловом прикончили. Бродяжни всякой людно теперь, поважились, пакостят.

— Оборони бог, — произнесла жена его и понесла живот свой, наверное опять с двойней, через избу в сени. По дороге она стукнула по затылку одного из наиболее шустрых своих сыновей, озорничавшего с другим, и проворчала: — Варначина! Плутина! У! Лешевы дети! Я вас!

— Ты сходи к Кудреватихе-то, — сказал Лось. — Четвертый дом от меня. — Он протянул длинную волосатую руку в сторону Орленги. — У нее подходить жить. Баба она молодая, в теле. Ничего себе баба. Ты женат?

— Женат.

— Ну, другой раз женишься. — Глаза у него блеснули. — Заводину править не можешь? — спросил он, когда Виктор уже взялся за железную ручку двери.

Виктор не понял:

— Заводину?

— Да. — Староста кивнул на берданку, висевшую на стене.

— А что у нее? — спросил он.

— Осечки дает.

— Покажите.

— Ваньча, — крикнул Лось одному из сыновей, бокононому, с изодранными на локтях рукавами синей рубахи, — сними заводину.

Ваньча мигом влез на покрытую ватным одеялом кровать, на которой с двух сторон одна на другой лежали десять подушек. В это время из сеней вошла жена Лося.

— Ты куда, лешев сын? — закричала она и огрела мальчишку ладонью по мягкому месту.

— Заводину батьке, — огрызнулся мальчишка.

— Не мни постель! — крикнула мать на него и треснула по затылку.

Мальчишка снял с гвоздя берданку и, довольный по-

рученным ему важным делом, почесав затылок, подал ружье Виктору Заречному.

Виктор осмотрел берданку.

— Инструменты у вас есть? Отвертка, плоскогубцы, молоточек?

— Найдем.

— Я найду потом, исправлю. Осечки дает оттого, что...

— Поселенцы — народ дошлый, — не дал ему досказать Лось. — Золотые руки. Заходи, паря, доспей заводи-то.

Виктор уже начинал понимать приангарский язык старосты.

— Сделаю, — сказал он и вышел из избы.

Кудреватиха действительно была еще молодая, очень свежая телом, красивая женщина, хотя у нее и было двое детей: девочки шести и десяти лет. Она была единственная из четырех дочерей приангарского ямщика Се-ленгиных, у которой вдруг, неизвестно отчего, с необыкновенной силой проявилось гложущее из поколения в поколение в крови ее рода монгольское начало. Такими красавицами славились монгольские, татарские и половецкие орды и станы. У Кудреватихи были длинные темные волосы (она заплетала их в две косы и обвивала голову, скрепляя проволочными шпильками), темные монгольские глаза, слегка выдающиеся скулы, смуглорумяные щеки, малиновые губы и белые, ровные, точно выточенные искусным мастером, зубы. Кудреватиха поразила Виктора своеобразной красотой своей и силой взгляда, в котором чувствовалась недюжинная воля. Он залюбовался ею. Она заметила это и невольным движениемправила волосы.

Сославшись на старосту, Виктор сказал о цели своего прихода.

— Не жнаю, — сказала Кудреватиха.

— Что не знаете?

— Ждавать али не ждавать.

— Комната ведь свободна. Сколько возьмете?

— Не жнаю.

— Можно посмотреть?

— Смотри.

За глухой дощатой стеной была комната с одним окном на Лену. Стояла деревянная кровать у стены и стол с табуретом.

— Ну, так как? — спросил Виктор.

— Ну ладно. Два рубля с полтиной, — сказала Кудреватиха.

— Хорошо. — Виктор вошел в комнату и положил на кровать вещевой мешок.

— Садись щербу хлебать. Однако, оголодал в дороге.

— Да нет, благодарю вас. Пойду, похожу по лесу. Кудреватиха посмотрела ему вслед.

Вернулся Виктор к дому часов в десять вечера. Он постоял над рекой, пораженный необыкновенной тишиной, какая была вокруг. Это не была тишина, о которой поэт писал: «Сад уснул... спит река... в небесах беспредельный покой...» Нет. Тишина, которую воспел поэт, думал Виктор, бывает где-нибудь в Симбирской или Тульской губернии, в помещичьих имениях. Здесь другая тишина. Река не спит. Чувствуется ее безостановочное тревожное течение на север, в непроходимую тундру Якутии, в далекий Ледовитый океан. Высокий скалистый берег напротив угрюмо смотрит в реку. Пихтовый бор на утесе почернел от мрачных дум. С неба — необъятно глубокого, прозрачного и молчаливого — глядят голубые холодные звезды. Не покоем дышит это небо. Нет. Тревога, тоска разлиты в ледящей душу тяжелой тишине его.

Виктор постучал в окошко, увидел через стекло лицо Кудреватихи, темные ее глаза, белое плечо. В сенях грохнул засов. Подождав минуту, Виктор вошел в избу. Кудреватиха лежала в кровати. В избе было тепло и пахло распаренным березовым веником.

— Больно долго гулял, — сказала Кудреватиха.

— И все-таки не нагулялся, — ответил Виктор и прошел за перегородку. Он разделся. Слышал, как Кудреватиха дышала, как она переворачивала с боку на бок полное свое, сильное тело. Вот она повернулась лицом к стене и вкрадчиво спросила:

— А ты родом-то откуда?

— С Дальнего Востока.

— Эка даль! Небось мать есть?

— Да, есть.
— Скучашь?
— Скучаю.
— Жонатый?
— Женат.
— Я вот третий год вдовая. — Она помолчала. —
Дети у тебя есть?
— Детей нет.
— Я вот из-за них третий год томлюсь во вдовах.
— Я слышал о вашем несчастье.
— Вот и томлюсь третий год.
Под ней скрипнула кровать, и она вздохнула.
— А ты давно без жоны-то?
— Нет, два месяца.
— А я вот третий год без мужа-то. — Она опять вздохнула и умолкла.

Виктор лег в постель, мысли его понеслись в родной край, где шумел синий океан, где осталась мать, где была его любимая жена...

ПЛАН ПОБЕГА

Женя Уварова сидела в комнате у «превосходной старушки» на Савинской улице в Иркутске и обсуждала с Федей Угрюмовым план побега Виктора из ссылки. Она последовала совету Виктора и немедленно после его высылки, простившись с Серафимой Петровной, горе которой было неутешно, уехала в Иркутск. Женя устроилась на работу в Общество попечительства о беженцах, которое было в руках ссыльных, и стала ждать от Серафимы Петровны письма с адресом Виктора.

— Бежать из ссылки — плевое дело, — говорил Федя Угрюмов, покручивая черный ус. — Иркутск кишит отлученцами.

— Все-таки надо же как-то организовать побег, — возражала Женя. — Ведь такая даль...

— Конечно, лучше бежать организованным порядком. Только не надо волноваться.

— Я не волнуюсь.

— Я ведь вижу, товарищ Заречная.

— Я не Заречная, — Женя улыбнулась, но улыбка сейчас же спряталась в глазах и в углах губ.

— Не венчались? Смотрите, ребята будут незаконнорожденные.

— У вас завидный характер, Федя. Вы вечно шутите.

— В здоровом теле — веселый дух. Каждое утро я делаю гимнастику по системе Мюллера.

— Виктор тоже.

— Ну, и Виктор тоже не из мрачных.

— Но все-таки не такой, как вы.

— Он человек сосредоточенный. По натуре своей он жизнелюб. Любит он земной шар и всякую букашку, которая бегаёт по этому шару. Не наступит ногой на жука. Боже сохрани! А если и наступит случайно, совесть потом замучит его, что погубил душу и тело насекомого, имеющего такое же право на жизнь, как и человек.

— Будет вам, Федя.

— Честное слово... Виктор человек сосредоточенный.

А я... нет у меня прицела в жизни.

— Ну, это неправда.

— Правда, Евгения Павловна.

— Не люблю, когда вы называете меня Евгенией да еще Павловной.

— Это из особого уважения к вам.

Женя рассмеялась. Федя Угрюмов продолжал облачать себя:

— У меня все получается между прочим. Университет — между прочим (учусь в нем вот уже восемь лет и не могу кончить). Партийная работа — между прочим. Ссылка — между прочим. Этнография моя — между прочим. Не женат я тоже между прочим. А Виктор — тот нацелился на одно и идет...

— У него не только партийная работа, — возразила Женя.

— А что же еще?

— А журнальная работа? Как он прекрасно пишет!

— Да, очерки его хороши. Рассказы тоже. Особенно хорош у него рассказ «Море», напечатанный в «Журнале для всех». Даже критика отметила. Когда читаешь этот рассказ, слышишь, как шумит море. Но эта его работа у него как раз между прочим. Ведь это только средство существования.

— Нет, Федя. Литература — его призвание. Он любит

свою профессию. Как литератор он может принести огромную пользу революционному движению.

— Конечно, любит. Не любя он не возьмется ни за какое дело. В этом отношении, если из него выйдет писатель, — а я думаю, что он станет именно писателем, — он будет принадлежать к той плеяде русских писателей, из-под пера которых не выйдет ни одной фальшивой ноты.

Жене было лестно слышать похвалы, которые сыпались из уст Феди Угрюмова по адресу Виктора.

— Ну, а на себя вы наговариваете, Федя.

Женя любила Федю как друга Виктора и искренне считала его замечательным человеком. Федя Угрюмов и в самом деле был замечательный человек. Конечно, он был скроен и сшит по-своему, может быть, на первый взгляд и не очень ладно. Но зато он оставался всегда самим собой. Если у него все выходило между прочим, как он говорил, так это в сущности совсем не было его пороком. Такой уж он человек. Безусловно, он окончит университет и станет этнографом, может быть даже выдающимся (он, конечно, никакой не физик и не математик), и, конечно, сложит свою голову за революцию. В этом Женя была совершенно убеждена.

— Мы уклонились, — сказал Федя. — Но, между прочим, хорошо бы... самоварчик. У вас какой чай?

— Байховый. Высоцкого.

— Отвратительная фамилия — Высоцкий! — заметил Федя.

— Почему? — Женя не сразу догадалась.

— Напоминает зерентуйского Высоцкого.

— А! Только фамилия того не Высоцкий, а Высотский.

Женя вышла из комнаты и сейчас же вернулась.

— С побегом Виктора, Евгения Павловна, придется подождать с полгода, — возобновил разговор Федя Угрюмов.

— Почему?

— Через полгода Виктор получит паспорт, который даст ему право передвигаться в пределах уезда.

— Паспорт — это ерунда. У меня есть для него великопный паспорт.

— Покажите.

— Он вшит в пальто, потом покажу.

— Ну ладно.

— У меня такой план, Федя...

Федя Угрюмов приготовился слушать.

Послышался голос хозяйки:

— Самовар поспел.

Женя сходила на кухню и принесла самовар.

— Мне пришел в голову такой план, — повторила она, заваривая чай. — Я привезла с собой форму акцизного чиновника. Надо достать здесь предписание акцизного управления о ревизии винных монополек. С этим удостоверением и в форме акцизного чиновника Виктор свободно поедет на почтовых от села к селу. И в случае чего — предъявит удостоверение.

— План хороший, что и говорить, — одобрил Федя Угрюмов. — Но для этого вы должны будете поехать к Виктору.

— Конечно.

— Далековато... Киренский уезд.

— Пустяки.

Федя Угрюмов усмехнулся:

— Для Виктора даль, а для вас — пустяки.

Женя замялась:

— Далеко, если пробираться кое-как, а ехать на почтовых — это пустяки.

— Вообще, я повторяю, бежать из ссылки, особенно теперь, не такая уж трудная задача. Вы придумали хороший план, но он все же труден в том отношении, что надо ехать к Виктору. Я уверен, что Виктор придумает что-нибудь проще. Спишемся с ним. А пока что сыграем партию в шахматы.

— Вы принесли?

— Принес.

— Ну давайте.

Федя Угрюмов развернул газету, в ней были завернуты шахматы. Зажал в одной руке белую пешку, в другой — черную. Жене достались белые. Она налила чай в стаканы, и они стали играть в шахматы.

— «Давненько не брал я в руки шашек!» — проговорил Федя Угрюмов. — Давненько.

Эту фразу Чичикова он повторил раз десять и выиграл партию.

— Давайте еще одну, — предложил он.

Они снова углубились в игру.

— «Давненько не брал я в руки шашек!» — пробурчал Федя и запел вполголоса:

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля, —
Это русское раздолье.
Это русская земля.

В дверь просунулась голова «превосходной старушки».

— Полиция! — прошептала она.

Федя Угрюмов и Женя растерянно переглянулись, встали со стульев. Но сейчас же сели.

— «Давненько не брал я в руки шашек!» — громко сказал Федя, съев пешкой Жениного офицера, которого она, не заметив, подставила под удар. — Давненько...

Дверь в комнату открылась, и показалась могучая фигура околоточного надзирателя в светлой шинели, опоясанной ремнем, на котором сбоку висела кожаная кобура; с другой стороны болталась шашка.

Федя Угрюмов вопросительно взглянул на него.

— Вам что угодно? — встав из-за стола, спросила Женя.

Вслед за околоточным надзирателем в комнату вошел полицейский пристав, за ним видна была целая свора городских, вытянувших шеи, чтобы заглянуть в комнату.

Федя Угрюмов тоже поднялся. Вставая, он опрокинул стакан с чаем и, желая подхватить его, чтобы он не разбился, задел рукой шахматную доску; доска с грохотом упала на пол; шахматные фигуры разлетелись во все стороны.

Падение шахматной доски казалось взрывом бомбы. «Превосходная старушка», бывшая в это время в кухне, зажмурилась и перекрестилась, а городские не на шутку трусили, думая, что сейчас начнется пальба из комнаты.

— Александр Македонский был великий человек, но зачем же ронять на пол шахматы? — проговорил Федя Угрюмов. — Не правда ли, господин пристав?

— Ваши документы, — холодно произнес пристав.

— Документы? Это можно, — с тем же невозмутимым спокойствием ответил Федя Угрюмов.

И у Феди Угрюмова и у Жени Уваровой паспорта были в полном порядке. Оба они были прописаны: Федя как ссыльный, а Женя как жительница Владивостока. Произведенный в комнате тщательный обыск ничего не дал, и пристав, заметно недоумевая, ушел со своей свитой. Федя собрал с пола шахматные фигуры.

— Чей-то донос, — предложил он. — Пустое дело... Я не помню, как стояли фигуры. Придется сначала.

— Все-таки, что это значит? — Женя была встревожена не на шутку.

— Это значит, что о наших встречах донес кто-то. Надо вспомнить, кто нас с вами видел. Пожалуй, этот самый... с глазами лисы. Я давно подозреваю его, да не я один... Крут... Неужели он? Охранное отделение что-то ищет. Обыск за обыском.

— Я думаю, что обо мне запросят Владивосток, — сказала Женя. — Надо, пожалуй, уехать отсюда.

— Да, лучше всего смотреть удочки.

— Куда же?

— Поезжайте-ка вы в Красноярск или в Томск, а я тут насчет Виктора похлопочу.

— Нет, не могут же меня ни с того ни с сего арестовать. Наконец, пока они будут сноситься с Владивостоком, я получу письмо от Серафимы Петровны.

— Какая же вы, однако...

— Но, может быть, мне действительно уехать в Тулун?

— Почему в Тулун?

— В Тулунае подождать письма от Серафимы Петровны, а там по Илимскому тракту на Мамырь и Усть-Кут.

— Да вы уже все пути-дороженьки к Виктору узнали! Вот это жена! Позавидуешь другу. Да зачем же по Илимскому тракту? По нему вон и Радишев даже не захотел ехать! Кромешная тайга! Скверная дорога! Если ехать, так лучше по Якутскому тракту. Только я не одобряю вашего решения ехать к Виктору. Подумать только: шестьсот верст на лошадях.

— Виктор пошел туда пешком, — возразила Женя голосом, который заставил Федю взглянуть на нее.

Она была в этот миг особенно красива. Лицо ее, освещенное красноватым светом керосиновой лампы, было спокойно, прекрасные глаза — решительны. Да, этот человек знает свое место в жизни.

— Я еду, Федя.

— Куда?

— В Тулун.

Решительность Жени начала беспокоить Федю Угрюмова.

— Надо переждать здесь. Я найду вам другую квартиру. Наконец, черт возьми, я тоже хочу принять участие в организации побега Виктора. Имею я право?

Во время их спора в дверь постучалась «превосходная старушка».

— Телеграмма.

Это была телеграмма от Серафимы Петровны в три слова: Выселки Орленгской волости.

Радость вырвалась из груди Жени:

— Еду! Федя, помогите мне найти лошадей.

Федя Угрюмов покачал головой. Он, конечно, был прав, и Женья понимала, что особенной нужды в ее поездке к Виктору не было. В самом деле, зачем ехать? Ведь Виктор и без нее мог бежать из Орленги. Бегут же другие... Мог-то мог, да одно дело бежать просто так, прячась от урядников, и другое — организованным способом, на лошадях, с хорошим документом в кармане.

Но не только эти совершенно правильные соображения, продиктованные практическим умом Жени и ее безграничной любовью к Виктору, заставляли ее отважиться на далекое, трудное путешествие. Было и другое: Женья уже не могла надолго оставаться без Виктора. Потребность быть с ним, видеть его добрые, любящие глаза, эта потребность могла увести Женю за Виктором на край света. При всем этом внутренняя тревога, боязнь возможной потери Виктора: а вдруг заболит, а вдруг... мало ли что бывает в жизни. Нет, нет, она должна поехать.

— Я вас не пушу, — решительно заявил Федя Угрюмов.

— Что? Я поеду, Федя. Завтра будем искать ямщика. Федя не сдавался.

— Вы просто княгиня Волконская... — Он приложил пальцы к самовару. — Остыл. Можно подогреть? Давай-те еще партию.

— Федя, не волнуйте меня.

— Евгения Павловна, вы меня тоже волнуете.

Феде Угрюмову пришла мысль:

— Запросим Виктора телеграммой. Что он скажет? Может быть, его уже нет в Выселках.

Последняя фраза поколебала Женю, она согласилась на посылку телеграммы.

Федя расставил на доске шахматные фигуры.

— Сыграем еще партию, и я схожу на почту.

Женя нехотя села к доске. Мысли ее были заняты другим.

Федя раздумчиво покрутил свой длинный черный ус и запел себе под нос:

Слышу пенье жаворонка,
Слышу трели соловья, —
Это русская сторонка,
Это родина моя!

Долго они сидели за шахматами. Партия затянулась, оба они не могли сосредоточиться на игре, оба думали совсем о другом.

Федя Угрюмов эту ночь не спал. Он лежал под одеялом и при свете керосиновой лампы, стоявшей на стуле у кровати, читал «Историю философии» Гегеля. Минутами, положив книгу на волосатую грудь, он крутил ус и, позабыв о Гегеле и о всей философской «музыке», думал о своей одинокой жизни и о Жене Уваровой. Все в Жене пленяло его: ее женственность, поразительная красота ее глаз, улыбка, свежесть, мягкость в движениях, в голосе, и при всем этом — ум, идейность... Какой-то новый демократический аристократизм. Говорят, красивые женщины редко бывают умными. Это, конечно, чепуха! Может быть, Кавальери и не умна, но если гармонично культивировать и тело, и мозг — обязательно получится «искомый» человек. Женю Федя Угрюмов считал «искомым» человеком.

Да, в такую женщину Федя Угрюмов влюбился бы. Да он и был влюблен в Женю, влюбился в нее скрытно, как влюбляются в жен своих приятелей одинокие люди, старые холостяки. Федя Угрюмов вспомнил о своих двух романах. Федю даже передернуло, когда он вспомнил об одном из них. «Брр!» — Федя с отвращением потряс головой. А вот такие женщины, как Женя Уварова... они

очищают душу и тело от всякой скверны, становисься чище. Где-то, на какой-то выставке, он видел картину: мужчина устало, в глубоком горе, склонил голову на плечо женщине, а женщина положила ему на голову свою руку. В каталоге было написано: «Назначение женщины». Это, конечно, чепуха! Женщина — самоцель. Но кто же может утешить в горе, как не женщина — мать или жена?.. А кто тебя, Федор Угрюмов, одинокого, бездомного, утешит? Кто положит руку на твою голову, если горе ляжет на твои плечи?..

Федя Угрюмов вздохнул и, посмотрев на карманные часы, лежавшие у керосиновой лампы, положил Гегеля на стул, вылез из-под одеяла, спустил ноги с кровати, подумал и снова лег, натянув одеяло на голову.

От Виктора Заречного на телеграмму Жени был получен ответ:

«Категорически возражаю».

— Ну вот, я же говорил, — сказал Федя Угрюмов. Женья перебралась на другую квартиру.

НЕОЖИДАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Весной, когда Виктор Заречный бежал с Женей из Малышевки, ему казалось, что его ждет что-то прекрасное. Но он обманулся. Ничего особенного не произошло. Ощущение близости чего-то необыкновенного пропало. Наступил период обыденщины. Опять ссылка.

Проведя первую ночь под крышей дома Кудреватихи, утром он вышел из-за перегородки умыться (медный умывальник был пристроен в углу, над лоханью, а лохань стояла на табурете). Кудреватиха была гладко причесана, в сарафане, с высоко поднятой грудью, свежая, босая. Пробор, как белой ниточкой, делил пополам ее смоляные волосы.

— Как спал-то? — спросила она, ласково взглянув на Виктора своими монгольскими глазами.

— Хорошо, спасибо.

— Клопов у меня нету.

— Да, нет, — подтвердил Виктор.

— Умывайся да садись к столу.

На столе лежала коврига свежего пшеничного хлеба, яйца, масло. Две девочки сидели на лавке у окна и смотрели немигающими глазами на Виктора.

«Сегодня поем у нее, — подумал Виктор, — а с завтрашнего дня буду у себя».

Феде Угрюмову удалось состряпать на бланке Иркутского музея удостоверение о том, что доценту Московского университета Николаю Сильвестровичу Бурмину музей поручает произвести на реке Лене исследование известняков и доломитов кембрийского периода с целью обнаружения в них трилобитов — первичных членистоногих.

Женя не могла удержаться от смеха, прочитав удостоверение:

— Придумали!

— Мудреные вещи неотразимо действуют на начальство. Какой-нибудь становой пристав или урядник, прочитав такое удостоверение, безусловно проникнется уважением и к Виктору, и к кембрийскому периоду и к первичным членистоногим.

Получив заказным письмом от Феди Угрюмова удостоверение и деньги, Виктор стал готовиться к побегу.

Однажды он шел по Выселкам. Издали послышались медные бубенцы и колокольчики. Они заливались, как на масленицу. Скоро на дороге показалась тройка с красной дугой над головой вороного коренника, за ней другая. Виктор увидел в тарантасе дородного человека в военной фуражке с красным околышем и кокардой, и сердце его дрогнуло. Он узнал балаганского исправника по рыжим пышным усам его и пьяным глазам. Рядом с ним сидел урядник. Седок тоже увидел Виктора и, остановив тройку, выскочил из тарантаса. Это был действительно бывший балаганский исправник, а теперь исправник Киренского уезда. За ним, хватаясь за револьвер, выпрыгнул урядник.

— Стой! — закричал исправник, вынимая из кобуры револьвер. Но в тот же момент он язвительно хихикнул: — Наше вам с кисточкой!

«Что бы все это значило?» — подумал Виктор.

— Оружие?

— У меня нет оружия.

— Обыщи! — приказал исправник уряднику.

В одном из карманов Виктора оказалась записная книжка, а в ней удостоверение на имя доцента Бурмина.

Исправник положил записную книжку себе в карман, достал какое-то отношение, написанное на бланке, и протянул его Виктору.

— Прочитайте!

Виктор взял бумажку. У него потемнело в глазах и стало сухо во рту.

Бумажка была распоряжением прокурора Иркутского окружного суда об аресте ссыльного поселенца Заречного Виктора Григорьевича по обвинению его в побеге из ссылки из деревни Малышевка, Балаганского уезда, и в участии в убийстве конвойного офицера штабс-капитана Владислава Викентьевича Белоголового при исполнении им служебных обязанностей.

Виктор вернул бумажку исправнику.

— Понятно-с? — с ехидцей спросил исправник. — А, меня узнаете?

Виктор не ответил.

— Не узнаете?.. Прошу вас. — Исправник указал на тарантас.

— Я возьму свои вещи, — сказал Виктор, овладев собою.

— Зверев! Проводи!

Вся эта сцена разыгралась у дома Кудреватихи. Она сама с тревогой глядела в окно, почуя что-то неладное. Из окон всех девяти изб высунулись любопытные лица обитателей Выселков, «лосята» окружили тарантас.

Виктор собрал свои вещички.

— Прощайте, Елена Филипповна.

— Виктор Григорьевич, куда же это вас?

— Должно быть, в Иркутск.

Кудреватиха смотрела на Виктора, как смотрят на человека, приговоренного к смертной казни.

Девочки — две светлоголовые, в красных сарафанчиках дочки Кудреватихи — сидели на лавке и, тоже поняв, что с их постояльцем стряслась какая-то беда, смотрели на Виктора испуганными глазами. Виктор поцеловал девочек и быстро вышел из избы.

— Прощу-с, — исправник сделал издевательски изысканный жест рукою по направлению к тарантасу. — Садись, Зверев!

Урядник сел в тарантас к Виктору.

— Пошел! — весело скомандовал исправник, сев в другой тарантас.

Бубенчики грохнули, будто кто-то тряхнул бубном; вздрогнули, словно чего-то испугались, колокольчики, и два тарантаса, один за другим, понеслись по дороге.

— Что же с ним случилось? Куда он мог деться? — говорила в страшной тревоге Женья Уварова.

— Ясное дело, — успокаивал ее Федя Угрюмов, — выехал и арестован в дороге. Чего же волноваться?

— Хорошо вы, Федя, успокаиваете.

— Арестован, значит жив. Вот если бы он не был арестован и пропал — это было бы плохо.

— Да почему вы думаете, что он арестован?

— Ясно. А что же еще может с ним случиться?

— Мало ли что! Могли убить в дороге.

— Убить?

— Конечно. Вы как будто не знаете, сколько убийств совершается по дорогам Сибири! Сколько бродит по тайге беглых уголовных каторжан!

— А что они могут взять у Виктора?

— Сапоги!.. Пальто!

— Ну, знаете, убивать из-за сапог...

— Федя, не прикидывайтесь таким наивным.

— Я не прикидываюсь.

— Прикидываетесь, чтобы меня успокоить. А я теперь убеждена, что Виктор убит. Если бы он был жив, он нашел бы возможность послать нам весточку.

— Это не всегда возможно.

— Виктор нашел бы способ известить нас. Подумайте: прошел месяц, как от него — ни слова. И на наши письма никакого ответа.

— У меня, Евгения Павловна, есть такое предложение. Допустим, он арестован в дороге, — а я уверен в этом, — начнем искать его в местах, где в подобных случаях полагается быть человеку.

— Я одобряю ваше предложение.

— Ну, если одобряете, я сейчас же пойду в тюрьму.

— Вы?
 — Да, я. Что вы так удивляетесь?
 — Вы можете поставить себя под угрозу.
 — Под угрозу? Какую угрозу?
 — Связь с ссыльным, который бежал...
 — Чепуха! Я сам ссыльный.
 — Лучше, если я пойду... как жена Виктора.
 — Вы, Женья, должны жить в Иркутске смирненько.
 Я все время думаю, как бы вас не обнаружили на работе.
 — Пустое.
 — Не пустое. Все-таки владивостокская охранка, по-моему, должна вами интересоваться.
 — Это, конечно, возможно.
 — В том-то и дело. А я сам ссыльный. Чепуха!
 Пойду в тюрьму и буду требовать свидания с Виктором...
 — Не с Виктором, а с Николаем Сильвестровичем Бурминым.
 — Да, да, конечно, с Бурминым... Впрочем, мы же не знаем, под какой фамилией сидит Виктор, если он сидит. Мы ничего не знаем.
 — В том-то и дело. К тому же в тюрьме скажут, чтобы вы обратились за разрешением на свидание к прокурору.
 — А я сначала справлюсь, есть ли такой в тюрьме.
 — Это не так-то просто.
 — Совершить взрыв в Зимнем дворце было тоже не просто, однако Халтурину удалось это сделать: поступил во дворец плотником и произвел взрыв. Вот какие дела делаются, а справиться в тюрьме об арестованном...
 — Виктор искал меня четыре года и не нашел.
 — Всякое бывает.
 — Может быть, и так, Федя: вы натолкнете их...
 — Кого «их»?
 — Тюремную администрацию.
 — Тюремная администрация следственными делами не занимается.
 — Ну, прокурора...
 — На что я могу натолкнуть его?
 — На то что... он решит, что удостоверение от музея сфабриковали вы. Ведь вы работали в музее! Подумайте только об этом.

— Это верно, Евгения Павловна... Мне эта мысль не приходила в голову.

— Значит, должна действовать я.

— Постойте, постойте! Надо обдумать! Все действительно не так просто.

Недели за две до этого разговора Виктор Заречный написал на имя Феди Угрюмова письмо, в котором посылал привет из Александровской пересыльной тюрьмы.

«Остальное они поймут», — подумал Виктор.

Письмо это он вручил одному из высылаемых в Верхотенский уезд с просьбой отправить его с дороги.

Письмо со штемпелем Манзурского почтового отделения дошло по назначению и разрешило все сомнения Жени Уваровой и Феди Угрюмова.

— Боже мой! — воскликнула Женья. — Опять арест! — Она села возле стола, положила голову на руки и рыдалась.

— Я же говорил, что он жив, — сказал Федя Угрюмов. — Что вы плачете? — Федя смотрел, как вздрагивали плечи у Жени, и крутил ус. Ему хотелось успокоить Женю, но он не знал, как это делается.

Виктор сидел в Александровской пересыльной тюрьме. У прокурора Иркутского окружного суда на Виктора было заведено дело за № 345. В деле были вшиты три бумажки: 1) отношение начальника Верхотенского уезда на имя прокурора об обстоятельствах убийства политическими ссыльными Степаном Игнатьевичем Коноваловым и Виктором Григорьевичем Заречным конвойного офицера (такого-то), 2) удостоверение Иркутского музея на имя доцента Московского университета Николая Сильвестровича Бурмина и 3) отдельный лист бумаги с фотографией Виктора и следующим текстом: «№ 345. Государственный преступник Виктор Григорьевич Заречный. Приметы: лет 28, рост 2 арш. 10 верш., лицо чистое, глаза карие, волосы на голове черные, борода... усы... нос умеренный, рот обыкновенный, зубы все, подбородок круглый. Особые приметы: на правой щеке родимое пятно коричневого цвета величиною с горошину перца, такое же коричневое родимое пятно

размером менее горошины под правой лопаткой; на левой ноге возле коленной чашечки шрам».

Следствие по делу Виктора Заречного, несмотря на ясность вопроса, затянулось, вернее сказать, именно вследствие полной ясности вопроса оно не начиналось. Прокурор все время собирался дать распоряжение о переводе Виктора Заречного из Александровской пересыльной тюрьмы, куда он, собственно, без всякого основания был отправлен, в Иркутскую губернскую тюрьму, где ему полагалось находиться до суда.

Пока прокурор собирался сделать такое распоряжение, Виктор сидел да сидел в общей камере пересыльной тюрьмы.



Часть пятая

КРУШЕНИЕ МОНАРХИИ

ОТЕЦ И СЫН

Старый мир доживал последние месяцы. Экономический и общественно-политический уклад России трещал, как трещит старое деревянное судно на волнах океана. Все видели, что приходит конец, но никто не знал, что до конца осталось всего полгода. Исторические документы того времени свидетельствуют о необыкновенной слепоте тех, кто стоял у самого кормила правления.

Жандармы, непосредственной обязанностью которых было следить за настроением народных масс и вовремя пресекать «крамолу», предупреждали о грозящей опасности.

«Матери семей, изнуренные бесконечным стоянием в хвостах у лавок, истрадававшиеся при виде полуголодных и больных детей, пожалуй, сейчас гораздо ближе к революции, чем господа Милюковы, Родичевы и К°, и, конечно, они гораздо опаснее, так как представляют собой тот склад горючего материала, для которого достаточно одной искры, чтобы вспыхнул пожар».

Так доносило министру внутренних дел Петроградское охранное отделение.

«Напряжение масс доходит в Москве до той степени, что приходится ожидать, что это напряжение может вылиться в ряд тяжелых эксцессов», — сообщал в Петроград начальник охранного отделения второй русской столицы.

Из Перми жандармы зывали: «Умы встревожены; недостает лишь толчка, чтобы возмущенное дороговизной население перешло к открытому возмущению».

Но царь Николай Второй, серый и неумный человек,

находившийся под большим влиянием своей жены, гессенской герцогини Алисы, а с ним и все его министры не видели пропасти, которая разверзлась перед ними.

Высшим советником при дворе был Григорий Распутин, крестьянин села Покровского, Тюменского уезда. Этот бродяга и хитрец совершил удивительную карьеру — от кумира деревенских кликуш «Гриши-провидца» до друга императора и императрицы. Одного слова его было достаточно, чтобы сменить или назначить министра великого российского государства. Истеричная царица писала своему венценосному супругу в ставку: «Милый, верь мне, тебе следует слушаться советов нашего друга. Он так горячо денно и ночью молится за тебя. Он охранял тебя там, где ты был... Только нужно слушаться, доверять и спрашивать советов — не думать, что он чего-нибудь не знает. Бог все ему открывает».

И Николай слушался советов Гришки Распутина.

Великая княгиня Мария Павловна говорила французскому послу Палеологу: «Что делать? Мы все силы тратим на то, чтобы попытаться доказать ему, что он губит династию, губит Россию, что царствование... скоро закончится катастрофой. Он ничего слушать не хочет. Это трагедия!...»

Английский посол Бьюкенен предупреждал свое правительство: «Если император будет продолжать слушаться своих нынешних реакционных советников, то революция, боюсь, является неизбежной».

А призрак революции уже витал над страной. Веяние ее проникало даже за стены тюрьмы.

Но если над Зимним дворцом революция нависла, как зловещий призрак, то в тюрьме ее ждали, как ждут весну.

«Чувствую, что идет весна!! Идет! Чувствую ее теплый ветер! Быть может, очень скоро она выпустит бедных птичек из своих железных клеток».

Так трепетно писал своей жене все еще томившийся в тюрьме Костя Суханов.

Александр Васильевич, опираясь на палку, стоял в этот день у окна своего кабинета, углубившись в мысли. На нем был касторовый штатский сюртук ниже колен, в правой руке он держал шляпу. Широкая спина его сгорбилась, как под тяжелой ношей.

Он собрался на службу, но, услышав доносившиеся из гостиной звуки пианино, подошел к окну и задумался. Дочь Оля играла любимую его вещь — «Летнюю ночь в Березовке». Так много всего было связано в жизни Александра Васильевича с этим произведением: его молодость, любовь к Анюте, блестящая карьера, уютная жизнь в деревянном особнячке на Нагорной улице. Вся жизнь прошла перед ним, вся почти сорокалетняя его государственная деятельность.

И вот на старости лет оставил его душевный покой. Никогда не знало его сердце тоски, а теперь сосет она старика. В руке у него не форменная фуражка с кокардой, не треуголка, которую он, бывало, в торжественных случаях надевал, а фетровая шляпа. Извозчик повезет его не в Областное правление, куда он ездил двадцать лет, а в страховое общество «Россия». Он уже не старший советник Областного правления, он — служащий страхового общества. Начальник края, генерал-губернатор, шталмейстер двора его величества Гондатти свел с ним счеты. Недолголюбивал Гондатти прямого, державшегося с достоинством статского советника Суханова. Старик по каждому вопросу управления краем имел свое, личное мнение. Гондатти, например, запрещал применение труда китайцев и корейцев, а старик, учитывая отсутствие в крае русских рабочих, стоял за допущение «желтого» труда. Но не будь ареста Кости, не решился бы Гондатти убрать видного краевого деятеля, много потрудившегося по освоению Приморья, по заселению его переселенцами из центральных губерний России. Недаром его именем названа одна из деревень Приморья, а в Никольск-Уссурийском на одной из улиц висят дощечки: «Улица Суханова». Арест сына был поводом для Гондатти. Он вынудил старика подать прошение об отставке по болезни. Из-за Кости прервалась дальнейшая карьера старика на государственной службе. Александр Васильевич это понимал, и ему было больно. В городской думе, где он в течение многих лет был гласным, тоже неприятность. В двух заседаниях его забаллотировали в члены управы. Тут, конечно, Костя ни при чем. Здесь виною его государственная служба. Либералы прокатили на вороных. На последнем заседании он получил двадцать пять черных шаров и только шестнадцать белых.

Дверь в кабинет открылась. Вошла любимая Александром Васильевичем собака Парис, огненный пойнтер с длинными висячими ушами. Собака подошла к Александру Васильевичу, сочувственно посмотрела ему в глаза и легла у его ног. Парис уже давно заметил, что с хозяином творится что-то неладное, и был к нему особенно внимателен.

В раскрытую дверь еще слышнее стала игра Оли.

«Хорошо она играет, с душой», — подумал Александр Васильевич.

Из Хабаровска что-то нет ответа. Жена упростила его похлопотать за Костю. Не сказав ей ничего, он послал ходатайство, просил выпустить сына до суда на поруки. Но вот уж сколько времени прошло, а ответа все нет. Там, конечно, знают, что он уже не старший советник Областного правления, не будут считаться так, как посчитались бы прежде. Впрочем, каждый имеет право ходатайствовать за своих детей и родственников. Дукельский говорил, что освобождение на поруки под залог предусмотрено законом, что в этом нет ничего предосудительного ни для него, ни для сына. «Сын у меня гордый», — говорил старик. «Это, не роняет его чести, — утверждал Дукельский. — Наконец ваш сын может отказаться от освобождения, но это было бы неразумно. Вы поставили его в известность?» — «Нет, нет. Никто в семье не знает о моих шагах. И вас, Николай Петрович, прошу держать это в секрете».

В кабинет вошла Анна Васильевна с газетами.

— Что же ты на службу не едешь?

— Замешкался я немного, — ответил старик и отошел от окна.

Анна Васильевна пытливо посмотрела на мужа, хотела опять заговорить насчет Кости, но побоялась. Положила на письменный стол газеты и вышла из комнаты.

Александр Васильевич присел к столу с зеленым сукном, развернул сначала свою, монархическую газету «Дальний Восток», потом пробежал «Далекую окраину».

В последних телеграммах с фронтов мировой войны говорилось: Румынский фронт — ничего существенного. Кавказский фронт — без перемен. Французский фронт — в Шампани и Аргонах в течение ночи

ования патрулей. Бельгийский фронт — ар-
ийская перестрелка среднего напряжения. Ан-
ский фронт — во время воздушного боя сбит
аппарат. Месопотамский фронт — тур-
ва понесли большие потери. Итальянский
— мы захватили около семидесяти пленных, в
их одного офицера...

ет конца войне», — подумал Александр Василье-

редовая статья в «Далекой окраине» ему не по-
насть:

строение русского общества за последние меся-
писала газета, — резко изменилось. Вместо бод-
еренности в своих и своей родины силах встает
го фаталистическое безразличное отношение...
я жизнь сейчас напоминает туманную серую по-
еверного моря... Государственная дума оказа-
ессильной внести здоровую атмосферу, вдохнуть
жизнь в сырой и туманный, полный мистических
иваний Петроград...»

амекают на Распутина, — подумал Александр
евич. — Действительно, в Петрограде творится
непостижимое».

ксандр Васильевич вздохнул и, хромая, пошел к
и. Парис поднялся с пола, тоже вздохнул и по-
, опустив хвост, за хозяином.

чилось, казалось, невероятное. Костя Суханов
и домой. Жена его от неожиданности выронила
стакан. Костя бросился к ней. Первыми его сло-
ыли:

Ты не знаешь, почему меня освободили?

Я думала, что ты бежал из тюрьмы.

Папа хлопотал?

Не знаю.

Как же ты не знаешь?

Мне никто ничего не говорил.

Странно!

только их охватила радость.

Котья! — воскликнула Александра Александров-

на, обнимая мужа. Пенсне упало с ее носа, и она смотрела на Костю смеющимися близорукими глазами. Румянец заиграл на ее щеках.

Оба они забыли о странности и неожиданности освобождения из тюрьмы и обнимали друг друга и целовались.

— Ты что-то распух, — сказала наконец Александра Александровна. — Пожелтел. Что с тобой?

— Распух? .. Не знаю. Дай зеркало. — Он посмотрел в зеркальце. — Да, действительно... Это, наверно, от ревматизма. Я схватил в тюрьме ревматизм... Да ничего, пройдет... Как же я счастлив! А где твои?

— Ушли все куда-то.

— Ну, пойдем к нашим. Надо же узнать, в чем дело.

На Нагорной приход Кости вызвал переполох. Все домашние были изумлены. Радости Анны Васильевны не было меры.

— Папа хлопотал? — спросил Костя.

— Не знаю.

— Ты не знаешь? — удивился Костя.

— Не знаю. Я несколько раз затевала с ним разговор. Он или говорил, что не будет ничего предпринимать, или молчал... А сам, должно быть, хлопотал.

В душе у Кости шевельнулось что-то доброе к отцу.

— Ты будь с ним поласковее, помягче, — говорила Анна Васильевна, — поблагодари его, если действительно он хлопотал. Он страдал. Он очень страдал. Ведь ты у него самый любимый сын... Ты должен понять его... Ведь он ушел из Областного правления.

— Знаю. Читал в газете. Четырнадцатого ноября ушел. Я сразу подумал, что это в связи со мной. Гондатти устроил?

— А разве от отца что-нибудь узнаешь? Как туча... весь сгорбился. Пожалей ты его, Костя, пойми. — У Анны Васильевны навернулись слезы.

— Мне, мама, тоже не легко перебороть себя. Пойми и меня.

— Ты, Костя, должен перебороть себя, — воскликнула Наталья.

— Надо радоваться освобождению, а вы... — ска-

зала другая сестра, Ксения, всегда живая, веселая девушка, руководившая женской и детской группами в школе физического развития при обществе «Спорт».

Ее слова действовали. Неприятный разговор прекратился, все стали улыбаться. Анна Васильевна со своейственной всем матерям заботливостью принялась кормить сына.

Была суббота. Александр Васильевич к трем часам должен был вернуться со службы.

Когда в передней раздался звонок, дверь побежала открыть Наталья, очень любившая отца.

— Костю освободили, — радостно прошептала она.

Точно луч света пробежал по суровому лицу старика.

— Скажи, чтобы пришел ко мне. — Он снял пальто. Наталья повесила его на вешалку.

Из парадной Александр Васильевич прошел к себе в кабинет (дверь направо; налево дверь вела в гостиную, через гостиную был ход в столовую).

— Папа зовет, — войдя в столовую и взглянув на Костю, сказала Наталья.

Анна Васильевна устремила на сына умоляющий взор свой.

— Будь поласковее, помягче.

Костя, точно предчувствуя, что разговор с отцом будет тяжелый, сжал челюсти. Под левой скулой у него дрогнул мускул. Он поднялся со стула и пошел к отцу.

Встретились два твердых, как камень, характера. Один был повторением другого.

Костя сдержанно поздоровался с отцом:

— Здравствуй.

Старик уже забыл, сколько лет было Косте, когда он последний раз приласкался к нему. Как обидно: ведь старик очень любил младшего сына. Больно стало, что даже сегодня они встретились как чужие.

— Здравствуй, — ответил Александр Васильевич своим грубоватым, надтреснутым баском и посмотрел на него темными глазами.

Наступило молчание.

— Садись, — Александр Васильевич сел сам в кресло возле стола, не выпуская из рук палку.

Костя селazole.

— Что тебе сказали там? — спросил Александр Васильевич.

Костя понял, что «там» — это значит в тюрьме.

— Сказали, что от прокурора получено распоряжение об освобождении.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Я хлопотал, — сказал Александр Васильевич и в голосе его послышался вопрос: «Что ты на это скажешь?»

— На поруки? — спросил Костя.

— Под залог, пятьсот рублей внес.

— Спасибо. Не знаешь, когда будет суд?

— Не знаю. Давно уже не видел Дукельского.

— Дукельского? Я ведь просил не поручать ему дела.

— Почему?

— Я буду сам себя защищать.

Александр Васильевич не спускал взгляда с пожелтевшего, припухшего лица Кости.

— Сам?

— Да сам.

— Дукельский — опытный адвокат, порядочный человек, охотно взялся за твое дело. Напрасно ты пренебрегаешь им.

— У меня нет средств платить адвокату.

— Я дам денег.

— Я и так у тебя в долгу.

— Ты мой сын.

— Да, но пора уж мне...

— Когда будешь служить, тогда я не буду предлагать тебе денег.

— И сейчас не надо.

Они помолчали.

— Я прошу тебя, Костя жить до суда здесь.

— Почему?

Старику было неприятно, что Костя из тюрьмы пошел не на Нагорную улицу, а туда, к Солис, к которым, надо сказать, старики Сухановы не питали дружбы. Но не это побуждало Александра Васильевича просить Костю жить у него в доме.

— Я взял тебя на поруки, и...

— Это унижительно...

— Что унижительно? Жить у отца?

— Я хочу сказать, что условия моего освобождения получаются унижительными... Ты что же хочешь, чтобы я был у тебя на глазах?

— Не в этом дело. Я тебе верю. Знаю, что до суда ты не будешь заниматься никакими революционными делами.

Костю покоробили эти слова.

— Пожалуй, зря ты хлопотал о моем освобождении.

— Ты не горюй, — с некоторой иронией сказал Александр Васильевич. — Успеешь еще насидеться. До суда лучше пробыть на свободе, чем в тюрьме. Пять месяцев сиденья в тюрьме уже сказались на твоём здоровье. Тебе надо пойти к доктору, заняться лечением.

— Ты предлагаешь мне жить здесь вместе с Шурой?

— Разумеется.

— Хорошо.

Покорность Кости, хотя это, собственно говоря, было не покорностью, а просто разумным решением жизненного вопроса, смягчила старика. У Александра Васильевича стало легче на душе. Ему захотелось повести с Костей более душевный разговор, открыть перед сыном свою душу.

— Костя, я много пережил за эти пять месяцев. Твой арест подкосил меня, лег на мое сердце камнем. Это такой позор для меня...

— Позор?

— Да, ужасный позор!

Глаза у Кости потемнели. Но Александр Васильевич не видел этого, он смотрел не на Костю, а куда-то в пространство.

— Чиновники в Областном правлении шушукались. В городе все ахали и охали. Гондатти приезжал из Хабаровска, «сочувствовал» так, что я не знал, куда деться. Он прислал мне вырезку из иркутской газеты. Вот она. — Александр Васильевич выдвинул ящик в столе и дал Косте вырезку из «Иркутской жизни».

Костя прочитал:

«Из Владивостока сообщают, что там чинами жан-дармской полиции раскрыта нелегальная политическая организация, арестовано 23 человека, среди которых студент Петроградского технологического института, сын старшего советника Приморского областного правления г. Суханова. При обыске на квартире последнего якобы обнаружены прокламации и другие компрометирующие документы».

— Вот видишь, молва разносит по всему свету... К правде примешивается лживая фантазия. Гондатти спрашивал ехидно: «Правда ли, уважаемый Александр Васильевич, что в вашей квартире — очаг революции?»

Старик поднялся с кресла, прошелся, хромя, по комнате. Парис открыл мордой дверь, хотел войти в комнату. Александр Васильевич погрозил ему палкой; собака не торопясь пошла восвояси. Старик прикрыл дверь, запер ее на ключ и снова сел в кресло.

— Он вынудил меня подать в отставку. Ты знаешь, что я уволился с государственной службы?

— Знаю.

— Мать сказала?

— Нет, я читал в газете... в тюрьме.

— Тебе давали газеты?

— Давали.

— И ты читал, что меня забаллотировали в члены управы?

— Читал.

Александр Васильевич опять выдвинул ящик в столе, достал газету и сам прочитал кусочек из статьи:

— «Суханову инкриминируется его бывшее служебное положение, но ни для кого не секрет, что Суханов, правда, был строгим службистом, быть может и грубым, но все-таки действительным работником, а не чиновником на запятках. Ни для кого также не секрет, что только потому, что Суханов не привык гнуть свою спину раболепно, ему и пришлось оставить государственную службу». — Голос у Александра Васильевича дрогнул.

— Вот, Константин, единственное мое утешение в жизни — эта статья... Это — оценка моей безупречной государственной службы.

— Мне тоже было приятно читать эту статью. Жаль только, что она напечатана в черносотенной газете.

— Жаль? — встревоженно переспросил Александр Васильевич.

— Не пойми меня превратно, — поторопился сказать Костя. — То, что статья напечатана в «Дальнем Востоке», не умаляет правды ее, но лично для меня было бы приятнее, если бы такая оценка твоей службы была помещена в прогрессивной газете.

Они опять помолчали.

— Я понимаю тебя так, — начал снова Костя. — Ты считаешь, что виновником всех бед, свалившихся на тебя, являюсь я? Так?

— Да, так. Все началось с твоего ареста.

— Так вот что я тебе скажу...

Александр Васильевич насторожился, положив обе руки на палку.

— Ты говоришь, что пережил из-за моего ареста позор?

— Да, позор.

— А я на суде скажу, что считаю для себя величайшей честью сидеть на скамье подсудимых в политическом процессе...

— Ты, Константин, — государственный преступник.

— Да, отец... — Костя впервые произнес слово «отец», и оно обдало холодом сердце Александра Васильевича. — С точки зрения царских законов я — государственный преступник. А с человеческой точки зрения я — друг народа. Мое участие в революционном движении ты считаешь позором, а я считаю, — голос у Кости прервался, — я считал для себя позором, что у меня отец — крупный государственный чиновник, монархист.

— Что? — Руки у Александра Васильевича задрожали, и палка, подпрыгнув, стукнулась об пол. Он смотрел на Костю и не понимал: сон он видит или все, что он слышит, происходит наяву.

— Я доволен, — продолжал Костя, — что ты оставил службу в Областном правлении. Это не горе, это — радость. Тебе надо переменить и свои политические убеждения.

Александр Васильевичу показался оскорбительным тон, с которым Костя произнес последнюю фразу. Что-то даже покровительственное было в голосе сына.

— Мне больно, отец, — говорил между тем Костя, —

что ты не видишь, на чьей стороне правда. Позорно то, что освобождение народа ты считаешь позорным делом... Ты должен гордиться, что сын твой...

Александр Васильевич не дал ему договорить. С несвойственным ему спокойствием он сказал:

— Оставь меня... Оставь! — в голосе его послышалась горечь, обида, что не нашел он в сердце сына того, что искал.

Костя поднялся со стула, отпер дверь и вышел из кабинета.

Александр Васильевич опустил голову на руки и застыл. Парис открыл мордой дверь, нерешительно заглянул в нее, постоял, посмотрел в недоумении на хозяина, подошел к нему и лег у его ног.

ПРЕДЧУВСТВИЯ

Костя Суханов, как человек деятельный, на второй же день после выхода из тюрьмы почувствовал тяготу безделья. В Петроград он поехать не мог — не имел права выезда из Владивостока; заняться же восстановлением утраченных связей с портовыми рабочими, находясь под бдительным надзором полиции и охранного отделения, — это значило подвергать опасности ареста всех, кто стал бы соприкасаться с ним. К тому же Косте ясно было, что в прежней организации находился провокатор, который снова может начать свою предательскую работу. И Костя решил терпеливо ждать суда.

Но что с друзьями? Что пишет лучший друг — Всеволод Сибирцев?

В доме под горой Костя застал одну Марию Владимировну. Она сидела в столовой и напряженно думала о чем-то, набивая гильзы душистым, желтым, как золото, табаком фабрики Майкапар, который брала из четырехугольной стеклянной банки.

— Здравствуйте, Мария Владимировна, — сказал Костя, входя в столовую.

Сибирцева вздрогнула от неожиданности.

— Костя! — и радостно и в то же время удивленно воскликнула она. — Вы откуда взялись? — Она торопливо чиркнула спичку, закурила и, встав из-за стола, протянула ему руки.

— Из тюрьмы, — ответил Костя, улыбнувшись.

— Да я знаю, что из тюрьмы. Я не то хотела сказать... Совсем?

— Нет, на поруки отца.

Сибирцева несколько мгновений вопросительно смотрела на Костю. Костя понял ее взгляд: ее удивило, что отец хлопотал о нем.

— Это хорошо, — сказала она наконец. — А знаете, мы ведь тоже хлопотали. — И Мария Владимировна передала содержание письма, посланного ею в Петроград после ареста Кости: «Детка Костя заболел» — и так далее.

Эзоповский язык письма рассмешил Костю. Вместе с тем он слушал рассказ Марии Владимировны с чувством благодарности к ней и к друзьям, не забывавшим о нем в тягостные дни его одиночного заключения.

— Ну вот, — закончила Мария Владимировна. — Детка выздоровел. Впрочем, выглядите вы плохо.

— Ревматизм подхватил в тюрьме.

— Нехорошо! — Мария Владимировна сокрушенно покачала головой.

Разговор перешел на другие темы.

Расспросив о Всеволоде, узнав, что тот вместе с братом своим Игорем находится в Петрограде на офицерских курсах при военно-инженерном училище, Костя взял адреса петроградских друзей и пошел на телеграф.

Светло было на душе у него, когда он спускался на Китайскую улицу, где находилось здание телеграфа.

Зайдя на телеграф, Костя дал одному из своих друзей такую телеграмму:

«Сердечно благодарю хлопоты четырнадцатого вышел залог бодр здоров привет друзьям пишите Костя».

В тот же день он послал ректору Петроградского университета извещение о своем освобождении и просил выслать «вид на жительство», необходимый для прописки во Владивостоке до рассмотрения дела в суде.

Это было 16 февраля 1917 года.

Весь февраль сухановская семья жила напряженной жизнью. В доме было точно перед чьей-то смертью. Александр Васильевич с каждым днем мрачнел и большую часть времени проводил у себя в кабинете. Он забросил свой пасьянс и уже не обращался к Оле с просьбой

сыграть «Летнюю ночь в Березовке», не пел свое любимое «Славное море». Его низкий, еще более надтреснутый голос раздавался только тогда, когда он выходил к обеду или к ужину, да и то говорил он односложно.

Рушилась не только личная жизнь Александра Васильевича Суханова. Он чувствовал, что на него надвигается и другая катастрофа, не менее страшная. Сырой и туманный Петроград действительно полон мистических переживаний. Распутин лег тяжелым камнем на душу Александра Васильевича. Жители Петрограда стоят в очередях за хлебом! Видано ли: в России очереди за хлебом!.. Полтора миллиона дезертиров бродят по городам и селам... Полтора миллиона! Народ глухо ропщет... Депутат Государственной думы Шидловский выступил с заявлением от всего прогрессивного блока: «Ныне мы вновь поднимаем свой голос уже не для того, чтобы предупредить о грозящей опасности, а для того, чтобы сказать, что правительство в настоящем своем составе неспособно с этой опасностью справиться». О какой опасности он говорит?.. Конечно, о революции.

Февральский ветер подметал бесснежную каменистую Нагорную улицу; мелкие камни летели в лицо одиноким прохожим; перед окнами кабинета Александра Васильевича качались голые ветви тополей. В Золотом Роге «Добрыня Никитич» ломал лед. В передней потрескивали дрова в печке, и выл ветер в трубе.

Сегодня Александр Васильевич пил чай без сахара. В «сахарном хвосте» у магазина братьев Петерек, сжатая толпой, лишилась чувств женщина; ее едва удалось вытащить из каши, какую представляла собой обезумевшая толпа. В городе нет угля, нет керосина. Баснословные цены на рыбу. Подумать только: на рыбу! Черт знает, что делается! Ужасно кончился 1916 год, и страшно начинается 1917-й. В театре «Золотой Рог» встречали его весело: «Грандиозный бал-маскарад! Беспрерывное веселье до четырех часов утра...» Какое-то всеобщее безумие!.. Пир во время чумы!.. Да, надвигается что-то страшное...

Александр Васильевич и не знал, что до этого «страшного» осталось меньше месяца.

Костя с женой жили наверху, в «комнате мальчиков». Еще в прошлом году, вскоре же после ареста Кости, старик устроил невестку свою в областное по крестьянским делам присутствие, так что «молодые» имели некоторые средства, и Костя в ожидании суда мог спокойно подыскивать себе работу. За обедом и ужином Александр Васильевич не глядел на сына, а Костя не глядел на отца. Это были чужие друг другу люди, люди разных миров. Отец, чуя гибель своего мира, страдал и цеплялся за него в мыслях своих и чувствах. Сын был наполнен нескрываемым от взоров родных чувством радости, что старый мир «трещит по всем швам». Еще в тюрьме, в лишенной солнца камере он почувствовал «весну». И сейчас сердце его трепетало ожиданием этой «весны».

Анна Васильевна — жена и мать — видела, что происходило в душе и у мужа и у сына. Она обоих любила, страдала за Александра Васильевича, и ей легче становилось, когда во взгляде у Кости она ловила светлые лучи, говорившие о каком-то счастье, посещавшем его. Что это было за счастье, она хорошо не знала. Да не все ли равно, каким счастьем наполняется его душа? Дай бог, чтобы счастье это не покидало его.

И вот сбылись предчувствия обоих. Накануне Александр Васильевич Суханов узнал то, чего Костя еще не знал. В страховом обществе работа в тот день не клеилась: все шептались. В залитом солнцем кабинете управляющего (во Владивостоке установилась удивительно теплая, солнечная погода) говорили, что из Петрограда кто-то в городе получил странную телеграмму: «Не беспокойтесь, все живы».

— Это что! — воскликнул главный бухгалтер общества. — Один наш клиент получил такую телеграмму: «Поздравляю с новым хозяином». Вот над этой телеграммой задумаешься.

— А что говорит этот клиент? — спросил управляющий.

— Разводит руками.

— Кто ему телеграфировал? Может быть, речь идет о новом управляющем, директоре?

— Зять телеграфировал... ни о каком директоре, нет.

— Странно... действительно тут что-то... того. По-

звоните, Александр Васильевич, Панову. Может быть, в агентских телеграммах есть что-нибудь.

Александр Васильевич позвонил редактору газеты «Дальний Восток». Все молча слушали, как он баском своим говорил в трубку телефона:

— Слухи ходят по городу... говорят то да се... будто какие-то телеграммы получены из Петрограда.

Кончив разговор с Пановым и положив трубку на аппарат, Александр Васильевич сказал:

— Никаких, говорит, особых телеграмм нет.

— А не кажется вам странной сегодняшняя передовая в «Дальнем Востоке»? — спросил главный бухгалтер.

— А что? — задал вопрос страховой инспектор.

— А вот послушайте. — Бухгалтер взял со стола управляющего газету. — Заголовок статьи: «Будьте бодры до конца». Что это значит: ни с того ни с сего призыв к бодрости.

— То есть как ни с того ни с сего? — возразил Александр Васильевич. — Недавно «Далекая окраина» писала об упадке духа в русском обществе. Вот «Дальний Восток» и призывает к бодрости.

— Ну, а дальше? Слушайте: «Уныние свойственно одним бабам — это исконно русское воззрение...»

— Глупо! — сказал управляющий. — «Бабам!» «Исконно русское воззрение!» Зарапортовался старик Панов!

— Слушайте дальше: «Его держался великий Петр... Его держалась великая Екатерина»...

— Нет, Панов под старость совсем поглупел, — снова сказал управляющий. — Великий Петр, великая Екатерина держались того воззрения, что уныние свойственно одним бабам? Ха-ха-ха!

— Дайте дочитать: «Сердце всей России пылает верой в победу над ее последним врагом... И тот, кто дерзнет словами сомнения и плоского холодного рассудка подавить это биение, — тот предатель, враг родины... Русь — это не старая баба...» Господа, я обращаю ваше внимание на эти слова: «... не старая баба, а свежая, бодрая, радостная девушка-невеста».

— Ну и что же? — спросил страховой инспектор.

— Вы не находите никакого тайного смысла в этих словах?

— Не нахожу.

— Позвольте. Русь всегда изображалась в виде женщины, а не девушки, да еще невесты.

— Пожалуй, тут действительно что-то... того, — стал подозревать управляющий.

— Безусловно, я убежден, что тут что-то... того, — категорически заявил главный бухгалтер.

К вечеру весь город наполнился странными слухами. Александр Васильевич, пообедав, заперся в кабинете.

Утром Анна Васильевна принесла мужу «Дальний Восток». Через всю первую страницу крупным шрифтом было написано:

«НОВАЯ РОССИЯ.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ПОДПИСАЛ ОТРЕЧЕНИЕ
В ПОЛЬЗУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА»

Старик был потрясен.

«Отречение от престола!» Этого он не ожидал. Понятно, почему во вчерашней передовой «Дальний Восток» Россия названа радостной девушкой-невестой. Панов знал.

— Ты что же так взволнован? — спросила Анна Васильевна, — Будет Михаил. Может быть, лучше будет.

Александр Васильевич промолчал.

Когда жена ушла, он заперся в кабинете, и никто не знал, что он там делал, о чем думал весь день.

А наверху, в «комнате мальчиков», происходило вот что. Анна Васильевна поднялась туда и сказала Косте:

— Государь отрекся от престола.

— Как? — вскрикнул Костя. — Что ты говоришь, мама?

— В газете напечатано.

— Где газета?

— У отца.

Костя рванулся было к отцу, но Анна Васильевна сказала:

— Отец заперся. Не ходи.

Костя схватил пальто, фуражку.

— Я скоро вернусь. — Он побежал вниз.

— Убьешься! — крикнула ему вдогонку

Скоро Костя вернулся. Давно уже он возбужденным.

— Революция! — воскликнул он, бурно женоу, сестер, кружа их вокруг себя.

— Да ведь вместо Николая Муха Анна Васильевна. — Какая же революция?

— Какой там Михаил? Скоро и он полрары... Свобода!.. Меня не будут судить народ будет судить!..

Анна Васильевна не знала, что и сказмать. С одной стороны, рушилась монархбезная сердцу мужа, с другой — ценой крухия покупалась свобода сына. Как запулись обстоятельства!

Костя не унимался. Он совсем превбенка. Стал таким, каким бывал преждекомнате, прыгал, смеялся. Глаза у него г

Анна Васильевна никогда не интересовтикой. Царя признавала потому, что его пии все солидные люди, бывавшие у них в гоиз-за царя Костю засудят в тюрьму, так ужалуй, будет, если Россией станет управствениная дума. Может быть, и без цаТем более, что отец теперь не на госслужбе — ни чинов тебе, ни орденов. Погним. Что он скажет?

— Ты, мама, что-то не радуешься? Костя. — Меня ведь не будут судить. Ты

— Да ведь еще ничего не известно. Этдумаешь.

— А ты мне поверь и радуйся.

— Отец вон заперся...

— Папа должен, наконец, понять.

— Ты не говори с ним, ради бога, проибоюсь ваших разговоров. Я сама поговориКостя улыбнулся.

Анна Васильевна спустилась вниз. Тиккабинету. У дверей лежал Парис. Она посшала. В кабинете было тихо.

«В другой раз», — подумала она и пошла хлопотать насчет обеда.

Между тем Костя метался по комнате, не зная, что предпринять: не то лететь в Петроград, не то, выждав время, начинать что-то делать здесь, во Владивостоке.

Александр Васильевич вышел к обеду. Он был мрачен, ни на кого не смотрел.

Все уселись за стол.

— Поздравь меня, — обратился к нему Костя, сидевший по левую руку от отца.

Александр Васильевич взглянул на него:

— С чем? С отречением государя?

— И с этим тоже. Но я хотел сказать, что меня теперь не будут судить, я — свободный человек!

Александр Васильевич, сидя у себя в кабинете, был так поглощен мыслями об отречении императора, что ему и в голову не приходило ничего такого, что было связано с судом над Костей. Теперь он точно очнулся от тяжелого сна.

— Почему не будут судить?

— За что же теперь судить? За преступление, совершенное против свергнутого с престола царя?

Александр Васильевич на мгновение притих, глядя в Костю и собираясь с мыслями.

— Твое преступление предусмотрено сто тридцать второй статьей Уголовного уложения, — сказал он, — которая...

Костя рассмеялся.

— Что ты смеешься? — взволнованно спросил Александр Васильевич. — Монархия в России остается: вместо Николая на престол вступил Михаил.

«Значит, Костю будут судить», — подумала Анна Васильевна, и сердце ее сжалось от боли.

Костя, беря от жены тарелку с супом, ответил отцу:

— Мое преступление было совершено при свергнутом царе...

— Не свергнутом, — возразил Александр Васильевич. — Государь отрекся.

— По-моему, его свергли... Ну, об этом мы скоро узнаем все подробности. В городе говорят, что его за-

ставили подписать манифест об отречении. Это все равно, что свергнуть. Так вот: за что же меня судить?

«И в самом деле», — подумала Анна Васильевна, и у нее опять отлегло от сердца.

— А во-вторых, — продолжал Костя, — я убежден в том, что будет амнистия.

— Это неизвестно, — возразил Александр Васильевич, а сам подумал, что в связи с вступлением на престол Михаила в самом деле возможно опубликование манифеста об амнистии политическим преступникам.

— В-третьих, — сказал Костя, — монархия не останется в России.

Эти слова Кости были бомбой, брошенной на стол в то время, когда повар принес второе блюдо — тушеное мясо с зарумяненным цельным картофелем.

«Ну, сейчас начнется, — подумала Анна Васильевна. — И зачем он трогает самое больное у отца?»

— Монархии не будет? — Александр Васильевич сердито взглянул на Костю.

— Конечно, не будет, — спокойно ответил Костя.

— Она была, есть и будет, — отрезал Александр Васильевич и протянул свою тарелку.

Наталья взяла тарелку и передала матери.

— Она была, есть, но ее не будет, — спокойно отпарировал Костя.

— Нет, будет, — сказал, волнуясь, Александр Васильевич.

— Нет, не будет, — начал волноваться Костя.

— Что вы спорите? — осмелилась сказать Анна Васильевна, накладывая на тарелку мужу мяса и картофеля. — Там видно будет.

— Молчи! — крикнул Александр Васильевич. — Не вмешивайся. Не твое дело. Сколько раз я говорил... — и пошел и пошел.

В споре с Костей он сдерживался, чувствуя в нем силу, да и не маленький уж теперь Костя, как-то и неудобно кричать на него, а с женой — разошелся. Любил он ее, но не выносил, когда ему перечили.

Косте же было все равно, кто был перед ним в споре, особенно по такому животрепещущему в тот момент вопросу политической жизни страны, как вопрос, быть ли в России монархии или республиканскому

строю. Он унаследовал от отца горячность, прямолинейность, да и молодость бурлила в его крови.

— Куда же ты мне положила столько? — сказал Александр Васильевич, возвращая жене через Наталью тарелку.

Действительно, Анна Васильевна положила мужу такую порцию, которой хватило бы на троих. Все взглянули на тарелку, и все поняли, что сделала это она от волнения.

Наступило молчание. Все ели.

Александр Васильевич, взяв тарелку с уменьшенной порцией, отрезал кусочек говядины.

(Повар Василий хорошо знал вкусы хозяина, и на этот раз он угодил ему: говядина была отлично затомленная, картофель подрумянен. И где только Василий достал такое хорошее мясо! Теперь ведь это было не так просто.)

Съев мясо и картофель, Александр Васильевич вытер рот салфеткой, вдел ее в серебряное кольцо, положил возле тарелки и сказал:

— А я говорю, что монархия в России будет.

— А я говорю, что ее не будет, — отрезал Костя.

Александр Васильевич взял салфетку в руку. Рука у него задрожала. Он что-то хотел сказать, но, положив салфетку на стол, снял палку со спинки кресла и, хромая, как чужой в этом доме, пошел из столовой. За ним поплелся его верный пес Парис.

НЕ СОН ЛИ ЭТО?

На обширном дворе Александровской пересыльной тюрьмы, вдоль и поперек его, стояли рядами одноэтажные, под железной крашеной крышей, на кирпично-каменных фундаментах, капитально, на многие годы построенные, бревенчатые бараки.

Мартовское солнце приятно пригревало. На теневой стороне вдоль барakov лежал островками подтаявший с краев рыхлый снег. По двору бродили заключенные, дежурившие в этот день: кто мел двор, иные у крылец кололи сосновые и еловые дрова, другие уносили сухие душистые поленья в корпуса.

Виктор Заречный и двое других политических заклю-

ченных, наполнив у колодца бочку водой, впряглись в тележку и повезли ее. Виктор был за «коренника». Бочка была налита доверху, и вода выплескивалась на тележку. Сбоку шел надзиратель во всеоружии.

Все это происходило третьего марта 1917 года, и день этот был похож на все предыдущие дни, как похожи друг на друга две капли воды. Жизнь в пересыльной тюрьме ничем не нарушалась с самого 1905 года.

Но вдруг в форточку одного из корпусов кто-то крикнул:

— Товарищи, в Петрограде революция!

Виктор Заречный встал как вкопанный. И «пристяжные» остановились. Они действительно напоминали копей, которых кучер вдруг неожиданно осадил вожжами.

— Революция! — снова прокричал заключенный и захлопнул форточку.

«Что он, с ума сошел?» — подумал Виктор.

— Рехнулся, — сказал левый «пристяжной».

Все трое посмотрели на надзирателя.

— Что он такое сказал? — обратился к надзирателю правый «пристяжной».

— Да я тоже слышал: в Петрограде неладное.

Виктор Заречный и «пристяжные» так рванули тележку, что ведра два воды выплеснулось на землю...

Надзиратель, как всегда, загремел ключами, отпер замок, впустил в камеру. Дверь камеры закрылась, и, как всегда, два раза шелкнул ключ в замке.

По обеим сторонам довольно широкого прохода на нарах лежали и сидели заключенные. В окна лились косые полосы солнечного света. Все было обычно. Одни читали газеты, книги, другие писали, разговаривали между собой.

— Угрожаю королеве, — сказал один из неутомимых шахматистов.

— Хотите меняться? — спросил противник.

— А почему бы и не поменяться?

«В чем же дело?» — подумал Виктор.

— Товарищи! — сказал он. — Говорят, в Петрограде революция.

— Что-о-о-о-о? — раздалось со всех сторон.

Многие бросили чтение и писание, вскочили с нар. Некоторые продолжали лежать. Шахматисты не отрывались от шахматной доски.

Видя, что Виктор Заречный и двое других, возивших воду, очень взволнованы, заключенные обступили их:

— В чем дело, товарищи?

Они рассказали.

Со всех сторон посыпались скептические восклицания:

— Чепуха!

— Ерунда!

— Бред сумасшедшего!

— Белиберда!

— Утка!

— Фантазия полумногого!

— Провокация!

«Нет, — думал между тем Виктор Заречный, вспоминая выражение глаз надзирателя и его слова: «В Петрограде неладное». — Что-то действительно случилось».

В этот момент в коридоре раздался возглас:

— Революция! Амнистия!

Одно мгновение в камере была мертвая тишина. Поблизости была какая-то сотая доля секунды для того, чтобы слова эти дошли до места в мозгу, где звук превращается в понятие, и все восемьдесят человек, находившихся в камере, стали похожи на людей, сошедших с ума от радости.

Сани-розвальни увозили Виктора от места, проклятого многими тысячами людей. Исчезло красное двухэтажное здание каторжного централа, а с ним и церковь с синими шахматными квадратами на куполах. Скрылись корпуса за оградой пересыльной тюрьмы. Кругом — горы, снег, темные ели, чистый мартовский воздух, сулящий скорую весну.

Вот и Ангара. По белому торосистому полю через Ангару цепочкой растянулись сани. Летят по ветру свободно, как птицы, слова гимна, за который все эти пьяные от счастья люди, сидящие в розвальнях, отдали молодость, заплатили здоровьем:

Отречемся от старого мира...

«Может быть, все это сон? Нет, это не сон».

Вдали слышен паровозный гудок. Станция Усолье. Показалась водокачка.

Вся станция в красных флагах.
«Не сон ли это? Нет, это не сон».

Поезд мчит Виктора в Иркутск. Опять звучит «Марсельеза»:

Вставай, подымайся, рабочий народ...

Вот и Иркутск. Вокзал в красных знаменах и транспарантах. На перроне тысячная толпа. Вытянулся в струнку почетный караул. У каждого солдата на груди красный бант.

Слышна команда:

— Смирно! — Офицер обнажает шашку. Солдаты берут ружья на караул.

Виктор Заречный с вещевым мешком за спиной открывает дверь на площадке вагона. Военный оркестр, стоящий на краю караула, играет «Марсельезу». Виктор окидывает взором тысячную толпу.

— Ура! — гудит народ.

Из вагонов выходят бывшие каторжане в арестантских халатах, в серых шапочках, с котомками, с вещевыми мешками.

— Ура! Ура!

Виктор Заречный едет с кем-то из каторжан среди вереницы экипажей и автомобилей, с трудом передвигающихся между двумя шпалерами людей. Тысячи пар глаз изумленных, восторженных провожают их. Виктор машет шляпой, ищет глазами тех, кто ему всех дороже, ветер треплет его темные волосы. Душа Виктора полна неизъяснимого счастья.

«Не сон ли это? Нет, это не сон!»

Съезжая с понтонного моста, Виктор вдруг увидел в толпе Федю Угрюмова, а с ним Женю.

Забыв о тысячах людей, окружавших их, не слыша гула голосов, Виктор Заречный и Женя Уварова замерли в объятиях друг у друга. А люди, глядя на них, плакали. Только Федя Угрюмов терпеливо стоял, покручивая ус.

— Дайте же, Евгения Павловна, и мне облобызать его, — сказал он наконец.

Обняв Виктора, он тискал его и хлопал ладонью по плечу:

— Вот, брат!

— Это совершенно невероятно! — говорил Виктор.
— Это, брат, совершенно закономерно.
— Так неожиданно!
— Все на этом свете неожиданно, и царей свергают неожиданно.

— И без нашего участия, — вставил Виктор.
— Ну, это ты, брат, того. Кое-что и мы с тобой сделали...

А вокруг них гудела толпа.

— Ура! Да здравствует революция!

— Посторонись, посторонись! — кричали извозчики.

Раздавались короткие гудки лимузинов.

За рекой, на станции, гремел духовой оркестр. На мосту пели:

Ненавистен нам царский чертог...

— Посторонись, посторонись!

— Ура! Ура!

Друзья с трудом выбрались из толпы и, счастливые, как могут быть счастливы только люди, получившие свободу, пошли по Набережной, на квартиру к Феде Угрюмову.

В РОССИИ РЕВОЛЮЦИЯ

Антон Грачев обтачивал болванку ключа, когда в мастерскую билдинга вошел один из его знакомых, русский эмигрант, носивший английскую фамилию Филд.

Антон сейчас же отложил в сторону ключ, так как был поражен странным видом Филда. Большие глаза Филда были огромны, галстук съехал на сторону, он делал какие-то странные жесты рукой, приближаясь к Антону.

«Что с ним? Он вне себя», — подумал Антон.

И вдруг Филд прыгнул на Антона и обвился вокруг него руками и ногами.

«Сошел с ума!» — подумал в страхе Антон.

Филд слез с Антона, схватил его за плечи и, смеясь и плача, стал трясти.

— Революция! Революция! — кричал он.

«Сошел с ума», — в третий раз подумал Антон.

— Да что же ты так равнодушен, дьявол тебя возьми?! — воскликнул Филд.

Антону показалось, что глаза Филда приняли обычный вид.

— Какая революция? — спросил Антон, пристально вглядываясь в Филда.

Тот в свою очередь с недоумением посмотрел на Антона.

— Ты ничего не знаешь? — спросил уже совсем нормальным голосом Филд.

— Ничего.

— Ты не знаешь, что в России революция?

Филд выхватил из кармана пиджака номер газеты «Дейли ньюс» и показал Антону.

На первой странице крупным шрифтом было написано:

«Revolution in Russia»¹.

Тут Антон бросился на Филда, но так как Филд был ниже его ростом, Антон не мог повиснуть на нем, и они трясли друг друга, обнимались, бегали по мастерской и вновь бросались друг к другу.

Как раз в этот момент в мастерскую вошел инспектор подъемников Уайт. Он остановился у дверей, вынул изо рта сигарету и удивленно смотрел, недоумевая, что могло привести этих «парней» в такое безумное состояние.

— Вы, вероятно, оба получили миллионное наследство? — сказал он.

— Больше, мистер Уайт, — ответил Антон.

— Что же может быть больше миллионного наследства?

— Революция!

— Что?

— Революция.

— Революция?

— Да, мистер Уайт, революция!

— Я вас не понимаю.

— В России революция.

— В России революция?

— Да, революция, революция, мистер Уайт! — восторженно говорили и Антон и Филд.

— Какое же это имеет отношение к вам? — удивился Уайт.

¹ «Революция в России».

— Как какое? Мы — русские. Мы — революционеры. Мы получаем возможность вернуться в Россию.

— А разве вам здесь плохо живется?

— Там будет лучше. Вы понимаете — революция!

— Я в этом деле мало понимаю, — сказал Уайт.

Он действительно мало понимал даже в лозунгах рабочих партий Америки, с ним бесполезно было вести беседу на тему о революции в России.

Мысль о возможности возвращения на родину пьянила:

— Долой Union Iron Works!

— Долой бакалейную лавку мистера Кройдона!

— Долой Клуб богемы!

— Долой Smith Lithograph Company!

— Долой билдинг Уиттона!

— Да здравствует Россия!

— Да здравствует революция!

Антон немедленно отправился к мистеру Уиттону.

— Разрешите войти, — сказал Антон, приоткрыв дверь в кабинет мистера Уиттона.

— Пожалуйста, — ответил инженер, не отрываясь от работы. Он стоял, широко расставив ноги, без пиджака, в зеленых подтяжках поверх белой рубашки, склонившись над чертежом, который лежал на большом письменном столе. Сбоку была открыта дверь на балкон, заставленный цветами.

Антон приблизился к столу.

— Я вынужден оставить работу, мистер Уиттон, — сказал Антон.

Уиттон оторвался от чертежа и устремил на Антона удивленный взгляд.

— В чем дело? Вы чем-нибудь недовольны? — Уиттон взял сигарету из коробки, лежавшей возле чертежа.

— О нет, мистер Уиттон, — ответил Антон. — Я очень доволен, но в России революция.

— Ну и что же? Я читал об этом сегодня в газетах.

— Я еду в Россию.

— Позвольте. Я не вижу связи между первым и вторым. Почему вы должны ехать в Россию, если там революция?

Инженер чиркнул спичку и закурил сигарету, не переставая удивленно смотреть на Антона.

Антон постарался объяснить мистеру Уиттону, какие побуждения заставляют его ехать на родину.

— Очень жаль, очень жаль, — сказал наконец Уиттон. — Ну что ж, постарайтесь найти заместителя, честности которого можно было бы доверить master key.

Мисс Брайди — маленькая, щупленькая, трепетавшая перед мистером Уиттом стенографистка, печатавшая на машинке здесь же, в кабинете, — не меньше хозяйина была поражена заявлением Антона. В Америке очень редки случаи, чтобы человек добровольно отказывался от работы. Позже, когда Антон прощался с мисс Брайди, она рассказывала, как мистер Уиттон говорил:

— Это какие-то сумасшедшие люди. Они добились в Америке некоторых успехов, неплохо зарабатывают, люди очень способные и могут рассчитывать на будущее, но бросают работу и едут в Россию только потому, что там революция. Благоразумные люди, вероятно, покидают Россию, а эти едут туда. Это люди, которых нельзя понять.

Антон нажал кнопку электрического звонка у дверей своей квартиры и не отнимал пальца до тех пор, пока испуганная Акулина Остаповна Дубовик не открыла дверь. Следом за ней бежал сам Дубовик, а за Дубовиком — Гарриет.

— Что случилось? — все трое взволнованно обступили Антона.

— Ура! — крикнул Антон и подбросил шляпу к потолку. — В России революция! — Он бросился к Гарриет и стал целовать ее.

— Батюшки! — воскликнул Дубовик.

Акулина Остаповна перекрестилась:

— Спаси, господи, и сохрани православных русских людей!

Гарриет, изучавшая русский язык, поняла два слова, сказанные Антоном: «В России революция!» — и стала забрасывать Антона вопросами.

— Укладывай чемоданы, Гарриет! — крикнул Антон. Он раскрыл шкаф и стал выбрасывать оттуда костюмы, платья, кофты.

— Что ты делаешь? — Гарриет смотрела на Антона безумными глазами.

На диван летели галстуки, чулки, носки.

— Едем в Россию!

— Что ты делаешь? — повторяла Гарриет. — Сумасшедший! Я сама все сделаю. Ты все изомнешь! Нет, это сумасшедший человек! — Гарриет обвила руками вокруг шеи Антона и только этим остановила его от дальнейшего разгрома квартиры.

Заместителя себе Антон нашел в тот же день.

— Не зря ли ты едешь? — робко спросил Антона Большой Билли.

— Я еду, чтобы кончать с хозяевами, — ответил Антон. — С царем покончено, теперь дело за хозяевами.

Большой Билли бросил на пол ящик с инструментами и обнял Антона за шею. Он что-то хотел сказать, но неловко поцеловал Антона, сжал его руку своей огромной и сильной, как клещи, рукой, у него в глазах блеснули слезы. Странно было, что у большого нескладного Билли в глазах слезы.

— Доброго счастья тебе, парень, — сказал он. — Мы тебя никогда не забудем. Ты много сказал нам такого, чего мы раньше не знали. Мы боремся с хозяевами, отстаиваем каждый вершок сколько-нибудь сносной жизни... Доброго счастья тебе!

— Спасибо, Билли. Я думаю, что океан не будет служить препятствием к нашей общей борьбе с хозяевами.

Они еще раз обнялись, и Антон покинул билдинг.

У русского консула двуглавые орлы на стеклянных дверях были заклеены бумагой. Он мог бы, конечно, закрасить их, но решил повременить. Во всяком случае теперь уже не было позорно перешагнуть порог консульства, чтобы получить паспорт для въезда в Россию. Консул суетился, заискивая улыбался, угощал эмигрантов русскими папиросами. Антон закурил, взял визу на въезд в Россию для себя и для Гарриет.

На Русской горе, где жили покинувшие Россию молokane и духоворы, собрался весь русский Сан-Франциско. Развевалось красное знамя. Бородатые старики в вышитых рубахах и в картузах, старухи в черных платках и

длинных черных платьях, молодые женщины в широких ситцевых юбках, юноши в шляпах, с модными галстуками, девушки в туфельках на высоких каблуках — все жадно слушали Антона Грачева, произносившего невероятные слова:

- В России нет царя!
- Свобода слова!
- Свобода печати!
- Свобода вероисповедания!

«Да может ли это быть?»

«Лига защиты Муни» помогла Антону Грачеву получить разрешение на свидание с другом.

Президент Вудро Вильсон, в адрес которого поступали со всего света протесты против решения суда, вынужден был назначить две комиссии для расследования загадочного дела о взрыве бомбы. Обе комиссии установили ложность обвинения против Муни, и тем не менее губернатор штата Калифорния отказался освободить Муни. Он заменил ему смертную казнь вечным заключением в тюрьму. Губернатору было безразлично, виновен или не виновен Муни. В интересах капиталистов Калифорнии надо было, чтобы Муни находился за решеткой, и остров Алькатрас, окруженный голубыми водами бухты Сан-Франциско, должен был стать его пожизненной могилой.

Паровой катер перевез Антона на Алькатрас. На втором этаже каменного здания в вестибюле для свиданий, разделенном металлической сеткой, состоялась встреча Антона с Томом Муни. Муни припал сильно похудевшим лицом к сетке.

— В России революция, Том!

— Знаю, — Муни рванулся к окошку для передач, просунул в него руку и взволнованно стал жать руку Антону. Глаза его горели.

Тюремный надзиратель закрыл дверку.

— Это не разрешается.

— Уезжаю в Россию, Том, — сказал Антон.

— Мне горько терять друга, — ответил Муни, — но поезжай и задай им дьявола... Go and give'm hell! — Муни потряс в воздухе своим крепким кулаком.

Антон распрощался с Муни, выразив надежду, что справедливость восторжествует и он скоро выйдет на свободу¹.

Антон и Гарриет стояли у борта парохода среди большой группы эмигрантов. Пароход плыл мимо Алькатраса, где остался Том Муни, один из честнейших людей Америки, борец за счастье простых людей всего мира.

РАЗРЫВ

За длинный с овальными углами стол, покрытый свежей, слегка накрахмаленной белой скатертью и уставленный тарелками, усаживалась семья Сухановых, правда, далеко не в полном своем составе.

Был воскресный день, а по воскресеньям у Сухановых обязательно обедал кто-нибудь из гостей. И на этот раз был гость — старый знакомый Александра Васильевича.

Анна Васильевна достала из дубового буфета тяжелую серебряную разливательную ложку и положила ее возле фаянсовой миски с супом. Александр Васильевич, указав гостю место справа от себя, повесил на спинку кресла крючковатую палку и уселся на свое председательское место. Позади него в простенке между двумя окнами, выходившими во двор, стоял ломберный столик (Александр Васильевич любил посидеть за картишками). Над столиком — стенные часы. На стенах — натюрморты.

По левую руку от Александра Васильевича сели Костя и жена его. Рядом с матерью сидела дочь Наталья. Из передней приплелся и лег возле Александра Васильевича Парис. Он устремил на хозяина преданные желтые глаза свои, терпеливо ожидая мозговую косточку, а может быть, и кусочек вареного мяса. Подумав о мясе, Парис даже чавкнул.

Часы солидно пробили пять раз.

Александр Васильевич взял на вилку кусок говядины с желтым жиром, бросил его Парису и принялся за суп. Он ел молча и сурово; суровость его не пропадала даже

¹ Это «скоро» произошло через 22 года.

во время еды, даже тогда, когда он пил душистый китайский байховый чай, который, как известно, приводит людей в хорошее расположение духа. Да откровенно говоря, было не до разговора. В России происходили такие события, что голова кругом шла. То, что стояло столетиями, вдруг рухнуло. Вчера на престоле восседал государь император Николай Второй, сегодня его точно тайфуном сдунуло. Отказался от престола и Михаил. Непостижимо!

А гостю именно в связи со всеми этими событиями, а также и потому, что за столом находился сын Александра Васильевича — Константин и хотелось поговорить:

Гостем был чиновник ведомства министерства внутренних дел, давний знакомый Сухановых, Порфирий Семенович Поклевский-Козелл, родственник известного петроградского сановника Поклевского-Козелл, которого в светских кругах называли просто козёл.

Это человек лет сорока восьми, с продолговатым лицом, жестким, как сапожная щетка, узким ежиком на голове, спускавшимся низко на лоб, длинным носом и опущенными вниз густыми светлорусыми усами. На правой стороне груди — университетский значок. Было в нем что-то неприятное, отталкивающее.

Поклевский-Козелл знал, что у младшего сына Александра Васильевича (подумать только, у сына статского советника Суханова!) — студента Константина, который сейчас сидел за столом против него, осенью прошлого года при обыске охранным отделением была найдена написанная его рукою прокламация, призывавшая против войны. Именно за эту антивоенную противоправительственную прокламацию и за другую запрещенную литературу Константин был посажен в тюрьму. И если бы не революция (ни дна ей, ни крыши!), судили бы его по 102-й статье Уголовного уложения о наказаниях и упекли бы на каторгу. Знал Поклевский-Козелл также и то, что Александр Васильевич хлопотал за сына в Хабаровске и что Константина накануне революции выпустили на поруки. Известно было Поклевскому и то, что старику пришлось подать прошение об отставке в ноябре прошлого года в значительной степени из-за ареста и заключения в тюрьму сына Константина. Арест этот бросил тень на старика. Старик был гордый. Даже заключе-

не в тюрьму сына не поставило его на колени. Пришлось дать прошение об увольнении, ссылаясь на болезнь, и идти работать в страховое общество. Подумать только: прослужить на государственной службе тридцать восемь лет, дослужиться до статского советника — и страховое общество! Статский советник, а сын — революционер! После революции открыто примкнул к большевикам, избран членом Совета рабочих и военных депутатов (это сын-то статского советника — член совдепа!). И кто избрал его — портовые грузчики! Сын его превосходительства — представитель голытьбы! Ха-ха-ха!

Поклевский-Козелл зло улыбнулся. Однако улыбка не долго блуждала в его усах. Ярость, правда, никем не замечаемая, охватила его:

«И поделом старику, надо было держать мальчишку в руках, распустил...»

Ему захотелось причинить неприятность Александру Васильевичу и унижить сына его Константина, и он затеял со стариком разговор на тему, которая стала острой с первого же дня революции.

У Поклевского была неприятная манера при разговоре выдвигать вперед губы, скрытые в густых висячих усах. Выдвинув губы и взглянув на Костю, он сказал:

— Желать поражения России могут только изменники родины.

Костя вскинул на чиновника быстрый взгляд, в глазах его вспыхнул гнев, но он сдержанно сказал:

— По-вашему, это измена, а по-моему, это проявление высшего патриотизма.

Александр Васильевич повернул голову в сторону сына и сурово посмотрел на него.

Наступило напряженное молчание.

Поклевский-Козелл скривил свой рот, скрытый в усах:

— Я бы не сказал, что это умный афоризм.

Костя посмотрел на Поклевского с ненавистью.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он, — что такое, по-вашему, патриотизм?

— Патриотизм?

— Да, патриотизм.

Поклевский-Козелл выпрямил свое тонкое тело, прислонился к спинке стула, положил правую руку на стол,

побарабанил по столу. Все ожидали, что он скажет. Он торжественно сказал:

— Патриотизм — это любовь к родине, к... — Поклевский-Козелл чуть было не сказал «к царю», но спохватился. — Патриотизм — это когда человек желает величия и славы своей родине.

Александр Васильевич одобрительно взглянул на Поклевского и затем, пристально глядя на Костю, стал ожидать, что тот на это ответит.

— Патриотизм — да, это любовь к родине, — сказал Костя. — Но к какой родине? Для вас родина — это царь, хотя его, к счастью России, уже нет, помещики, капиталисты, чиновники, которые, к сожалению, еще есть.

Александр Васильевич побагровел.

— А для меня родина, — продолжал Костя, — это Россия со всем тем, что в ней есть прогрессивного, это народ, который сейчас заставляют проливать кровь во имя интересов своры мерзавцев, захвативших власть в свои руки...

— Константин! — вдруг бешено крикнул Александр Васильевич.

Анна Васильевна вздрогнула.

Старик, как туча, грозно смотрел на Костю.

— Не кричи, — спокойно сказал Костя, обратившись к отцу. — Я вышел из того возраста, когда на детей кричат.

У старика все закипело в груди. Кто говорит ему это «не кричи»? Сын его! Да как он смеет разговаривать с отцом таким тоном, бросать отцу в лицо такие слова: «Не кричи!» Все рушится!.. Александр Васильевич съежился, с тоской посмотрел на жену, Анну Васильевну, ища поддержки, а та сидела за столом ни жива ни мертва!

Собака Парис, точно поняв происходившее в душе хозяина, заскулила и лизнула старику руку. Александр Васильевич отдернул руку, посмотрел на Париса.

— Ты лучше докажи мне, — продолжал Костя, — правоту того, что говорит господин Поклевский-Козелл, а не кричи. Докажи, что русский народ защищает действительно свои интересы, свою землю, а не интересы помещиков; свои фабрики, а не фабрики капиталистов.

Костя приходил все в большее возбуждение. Ма-

ленький ростом, непредставительный (что прежде огорчало отца), Костя будто становился выше ростом, глаза у него сияли, и все лицо его было озарено светом, какого никто никогда не видал у него. Все — жена его, мать, сестра — смотрели на него с внутренним восхищением и слушали, затаив дыхание. Анна Васильевна вспомнила, какой это был говорун, и думала, как он прекрасно, да и, пожалуй, справедливо говорит. А старик слушал сына с чувством страшного недоумения: откуда это у него, как произошло, что сын его Константин стал революционером да еще большевиком?

Костя в экстазе говорил, глядя в глаза отцу:

— Ты докажи, что русский народ проливает кровь за свою свободу, за честь...

— Константин! Довольно! — прервал его Александр Васильевич. — Довольно! — Он снял палку со спинки стула, хотя обед еще не кончился.

Поклевский-Козелл, выдвинув вперед подбородок, иронически шурил глаза. Он был доволен, что stráвил отца с сыном.

Наступило молчание.

Анна Васильевна резала сладкий пирог, поданный поваром Василием на блюде. Александр Васильевич снова повесил палку на спинку стула.

— Настоящие патриоты — это большевики, — после некоторого молчания сказал Костя. — Они хотят остановить гибель миллионов людей. Только слепые не видят всего ужаса войны, не видят, до какого позора довели Россию ее правители.

— Пропаганда большевиков мешает успешно вести войну, — проворчал Александр Васильевич.

— Большевики — немецкие шпионы, — исподтишка добавил Поклевский-Козелл.

— Это наглая ложь! — возмущенно крикнул Костя. — Вы клеветник!

Это было уже оскорбление гостя.

Поклевский-Козелл в этот момент подносил кусок пирога ко рту, но не откусил его, а положил обратно на тарелку.

Александр Васильевич задышался от волнения. Он сгорал от стыда: в его доме, его сын подвергает его гостя оскорблениям. Он верил тому, что большевики куплены немцами, что они — предатели родины. Поклев-

ский-Козелл сказал правду. И назвать эту правду ложью — значит нанести оскорбление человеку. В то же время Александр Васильевич не понимал, как сын его Константин, любимый сын Костя, в котором он видел самого себя, такой же честный человек, как и он сам, очутился в лагере изменников родины. Что он? Не ведает, что творит? Ослеплен пропагандой?

— Пока ты в моем доме, я не позволю тебе... — начал было старик, но Костя перебил его:

— Значит, в твоём доме я не могу говорить правду?

— В моем доме я не допущу...

— Ну, я не признаю за тобой этого права, — сказал Костя, — и не позволю всяким мерзавцам...

— Что?! — Александр Васильевич вскочил из-за стола. Он двинул кресло, с его спинки с грохотом упала палка. Парис испугался и, поджав хвост, побежал в переднюю. Наталья вскочила со стула, гневно взглянула на Костю черными отцовскими глазами, подняла палку, подала ее отцу. Александр Васильевич дрожащей рукой взял палку. — Вон из моего дома! — в ярости закричал он, показывая палкой на дверь. — Вон!

Костя, побледнев, встал из-за стола. Поднялась его жена. Анна Васильевна сидела, закрыв лицо руками. Слезы капали из ее глаз на нетронутый кусок пирога, лежавший перед ней на тарелке. Такого еще не было в их доме. Мир и благоденствие царили на Нагорной улице. И вот одно за другим все начало рушиться...

Опираясь на палку и хромая, Александр Васильевич пошел в гостиную, подавленный всем происшедшим, но готовый от слабости, которую он вдруг почувствовал во всем теле, раскаться в том, что выгнал родного сына из дому.

— Извините, Порфирий Семенович, — сказал он почти шепотом. Голос его дрожал. — Извините.

Поклевский-Козелл галантно поклонился хозяйке.

— Благодарю вас, Анна Васильевна.

Анна Васильевна подняла на него заплаканные глаза и не ответила.

Спустившись с Нагорной на Светланскую, Костя и жена его Александра Александровна пошли в сквер Невельского. Там, внизу, под старым голым дубом они сели на скамеечку.

В Успенском кафедральном соборе на Пушкинской улице окончилось богослужение, зазвонили торжественно колокола, и на паперть в окружении духовенства вышел в полном своем облачении, в усыпанной драгоценными камнями митре маленький, с большой, слегка поседевшей русой бородой и часто мигающими глазками архиерей Евсевий. Под пушечные выстрелы, раздавшиеся с Крестовой горы, епископ окропил «святой водой» красные знамена войсковых частей Владивостокского гарнизона. Мимо выстроившихся вдоль Светланской улицы, фронтом на бухту Золотой Рог, солдат, державших винтовки на караул, с тихим шелестом поплыли лимузины. На переднем — командующий крепостной артиллерией генерал Сагатовский, с широкой как лопата, седой волнистой бородой и длинными седыми усами. На груди у него — шелковый красный бант.

Стоя в машине, он громовым голосом кричит:

— Приветствую и поздравляю с национальным праздником победы великой русской революции!

— Ура-а-а! — проносится по рядам войск. — Ура-а-а!

Во втором лимузине — небольшого роста солдат в серой высокой шапке, через правое плечо красная шелковая лента с надписью: «Владивостокский совет рабочих и военных депутатов». Солдаты не спускают с его бритого лица изумленных и восторженных глаз: свой, солдатский «генерал».

— Товарищи! — сильным голосом приветствует солдат и офицеров первый председатель Совета. — Поздравляю вас с свержением самодержавия...

— Ура-а-а! — еще дружнее, с еще большим энтузиазмом несется по фронту. — Ура-а-а!

Генерал Сагатовский выходит из автомобиля — высокий, прямой, сухопарый — и направляется к трибуне, сооруженной перед входом в сквер Невельского. На ней — представители новой власти. За трибуной — гранитный обелиск с двуглавым орлом, сидящим на глобусе. Обнажив шашку и отrapортовав, генерал Сагатовский, стукнув по-военному каблуками начищенных до блеска сапог, повертывается к войскам и все тем же громовым и бравым голосом командует:

— Смирна-а-а! Равнение налево! Ш-ш-шагом м-марш!

И начался невиданный и неслыханный в истории Приморья парад войск по случаю падения самодержавия.

Виктор Заречный и Женья Уварова вышли на вокзальную площадь.

Дул холодный ветер, в воздухе носились сухие сечинки. Но город, украшенный красными флагами, ликовал. Кумачовые полотнища кричали: «Да здравствует демократическая республика!» Шелковые с золотыми кистями знамена приветствовали созыв Учредительного собрания. Радостные, с красными бантами на груди, люди спешили куда-то.

Возвращение в родной город после долгого отсутствия всегда волновало Виктора Заречного. Но сегодня это волнение было особенное: любимый город встречает его красными знаменами.

Напротив вокзала — двухэтажное с надстройкой посередине кирпичное здание. Здесь, возле этого здания, 10 января 1906 года стояли пулеметы. Никогда не забудется страшная картина расстрела демонстрации. Неужели все это ушло в вечность и не повторится более?

Мальчишка-газетчик восторженно кричит:

— «Известия Владивостокского совета рабочих и военных депутатов»!

Светланская улица запружена взволнованным народом.

— Господа, товарищи, держитесь правой стороны... не сходите с тротуара... освободите проход! — направляли потоки людей студенты Восточного института с белыми повязками на левой руке и с надписью: «Милиция».

Бухта Золотой Рог во льдах. Она почти пуста. Гирлянды морских флагов на крейсере «Печенга», на военном транспорте «Шилка», на ледоколе «Добрыня Никитич» да на нескольких миноносцах, бывших когда-то в составе славной Тихоокеанской эскадры.

— Не «Скорый» ли это? — говорит Виктор, увидев трехтрубный коттрминоносец, празднично убранный флагами. — Кажется, он.

Воспоминания о событиях 1907 года пронеслись в голове Виктора.

Балкон над кондитерской Кокина переполнен женщинами в шубках и морскими офицерами в черных шинелях. Это «аристократия» города Владивостока — известные сестры Федоровы (дочери бывшего городского головы) и их поклонники. Они с недоумением и страхом смотрят на народ, черными лентамидвигающийся по панелям улицы.

Горка, на которой стоит пятикупольный Успенский собор, черна народом. На голых деревьях — мальчишки, они хотят видеть все сверху, как птицы. На крыше скобяного магазина Лангелитье — священник, он машет шляпой, приветствуя свержение царя. Вчера он служил монархии, завтра будет служить республике.

Напротив дома Старцева — штаба Совета рабочих и военных депутатов и других уже успевших возникнуть революционных организаций — висит длинное, от одного трамвайного столба до другого, красное разорванное ветром полотно: «...здравствует Великая Российская Демократическая Республика!» Ветер надувает его, будто старается слово за словом уничтожить всю надпись. На балконе дома Старцева кинооператор крутит ручку аппарата, спешит запечатлеть на ленте небывалое.

Виктору бросилось в глаза обилие толпившихся у собора генералов и офицеров с красными бантами на груди.

«Что-то невероятное», — подумал он.

Тщедушный солдат с красной лентой через плечо, который вместе с генералом Сагатовским перед парадом объезжал фронт, сейчас стоял на трибуне.

— Скажите, товарищ, кто этот солдат с красной лентой? — обратился Виктор к студенту-милиционеру.

— Это председатель Совета рабочих и военных депутатов Гольдбрейх.

— Большевик? — спрашивает он студента.

— Говорят, большевик, но, судя по его речам, он скорее меньшевик.

— Вот как! А кто рядом с ним?

— Это председатель Комитета общественной безопасности городской голова Юшенков.

— Отставной генерал, — добавил другой студент с повязкой милиционера,

— А этот, с седой бородкой?

— Который?

— В высокой мерлушковой шапке, с петлицами.

Студент стал пристально всматриваться в группу людей, стоявших на трибуне.

— Это все члены Комитета общественной безопасности.

— Новая власть?

— Новая власть, — ответил студент.

— А японец?

— Консул.

— И эти иностранцы — тоже, наверное, консулы?

— Да, консулы дружественных нам держав: американский, английский и французский.

Мимо эстрады давно уже церемониальным маршем прошла пехота. Едут казаки на низкорослых жалких лошаденках. На пиках — красные флажки.

«Что-то невероятное», — опять подумал Виктор и сказал, обратившись к Жене:

— Ты только полюбуйся, казаки с красными флажками!

— Да, да, непостижимо, — отозвалась Женья.

За казаками — тяжелая батарея. А вот небольшая колонна жандармов с красным флагом: «Жизнь за свободу и счастье народа».

— И жандармы за свободу? — говорит Виктор. — Непонятно!.. Что-то не нравится мне этот «праздник победы великой русской революции»... Не то, Женьюша, не то!..

Тянулись колонны учащихся с оркестрами, с ружьями на плече; шли служащие банков, контор, городской управы. Каких только не было надписей на знаменах и транспарантах: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «В борьбе обрешь ты право свое!», «В единении сила!», «Свобода, равенство и братство!». Колонна учеников выше-начального училища несла флаг, на одной стороне которого стояло: «Вперед!», а на другой: «Ура!» Густой толпой шел простой народ: рабочие военного порта, железнодорожных мастерских, грузчики, шахтеры с Сучана, матросы, солдаты в старых шинелях, в папахах или серых шапках, разрезанных сбоку и застегнутых на крючки; кокарды обмотаны кумачовыми

тряпицами, на груди красные бантики, в глазах — и ликование (свобода!), и недоумение (городские тузы и генералы тоже ликуют), и опасение (не застрочил бы пулемет: говорят, в Питере немало полегло народу). С подмостков, наскоро сколоченных из досок и расставленных по пути следования демонстрантов, ораторы выкрикивали или «Долой» или «Да здравствует». Толпа отвечала: «Ура!»

У Народного дома, славного своей революционной историей, гордо смотревшего с горы на город, шумела густая толпа простого люда.

На каменной лестнице стоял солдат в черной с завитками папаше. Нос задорно вздернут. Маленькие светлые усики. Солдат беспокойно шарил по толпе острыми серыми глазами. Далеко слышен был его голос:

— Сомнение вползло в мою душу, когда я увидел генерала Сагатовского с красным бантом на груди. Не доверяйте красным генералам, товарищи! Сегодня они красные, а завтра будут белыми. Солдатская масса еще слепа. Кто возьмет ее в руки, тот и будет хозяином положения.

— Ты чего же праздник портишь? — раздался чей-то голос.

— Правильно он говорит, — оборвал его другой голос.

— Праздник, говоришь, порчу? — переспросил оратор. — Праздник этот не для нас с тобой, не для простого народа. — Оратор забыл о толпе и стал обращаться только к бросившему реплику, не видя его. — Ты читал газету «Дальний Восток»? Что теперь пишет эта черносотенная стерва?

— Просят не выражаться, — сказал кто-то.

— Не мешайте говорить, — зашумели в толпе, — можно подумать, что человек действительно выразился... Подумаешь: «стерва»!.. Говори, говори!

— Я, товарищи, за правду. Правды хочу. Газета «Дальний Восток» боролась с революцией, а теперь пишет: «В душном каземате выбито окно, и свежие струи воздуха льются в наболевшую грудь». В «душном каземате»! А кто помогал держать Россию в душном

каземате?! «Наболевшая грудь»! Это у них-то «наболевшая грудь»? Не верьте, товарищи!..

— Правильно! — раздался голос.

— Газета пишет: «Государственный корабль взяли в свои сильные надежные руки люди земли, люди народа». А кто взял власть в свои руки? Князь Львов, Родзянко. И впрямь люди земли. Земля-то не у крестьян, а у них, у помещиков.

— Го-го-го, — ответила оратору одобрительно толпа.

— Вот режет правду, я понимаю! — завопил чей-то веселый голос.

Атмосфера накалялась.

— Не верьте, товарищи! Все это говорится для того, чтобы обмануть народ, затуманить голову вот таким простачкам, которые говорят, что им испортили праздник.

— Правильно! — гудели в толпе.

— Какой праздник? Для кого праздник? — выкрикивал оратор. — Царя свергли, а власть передали буржуям — это праздник? Праздник, товарищи, еще не пришел. У рабочего народа и у богачей не может быть один праздник. Богачи хотят продолжать войну, а народу нужен мир. Генерал Сагатовский еще поднимет голову. Не верьте, товарищи!

— Правильно! — неистово заорал кто-то, раздался хлопок.

Люди опечаленными глазами провожали оратора. Он и в самом деле испортил праздник.

На каменных ступеньках появился матрос в коротенькой курточке с медными пуговицами, с черными усиками. У него на фуражке-бескозырке надпись «Печенга».

— Мне желательно высказаться, — решительно начал он.

— Теперь все хотят высказаться, — прервал матроса зычный голос. — За год всех не переслушаешь.

— Не мешайте говорить!

— Говори, говори!

Второго оратора сменил третий, третьего — четвертый.

Холодный ветер трепал матросские ленточки с золотыми якорями, серые солдатские шинелишки; дул в спину тесно стоявшим людям.

Открылись двери в Народный дом. Полили там новые речи...

До поздней ночи люди, выворачивая свои души наизнанку, говорили о том, что копилось столетиями.

На крышах жалких лачужек Рабочей слободки, где на двенадцати улицах жили рабочие военного порта, трепыхались от ветра красные лоскутки. И над входом в беленький домик в три окна с пристроенными к нему дощатыми сенями также развевался красный флажок, любовно вывешенный Серафимой Петровной. Она слышала об амнистии политическим заключенным, которую объявило Временное правительство (да иначе и не могло быть: ведь царя свергли) и ждала с трепетом душевным сына — героя революции. Он-то теперь покажет себя. Вот когда развернется его силушка. Вот когда понадобятся его ум, доброта, любовь к народу. Новую жизнь будет строить. Все — бедным, обездоленным!...

— Правда, далеко он, в Сибири, в Киренском уезде, — говорила она, вернувшись с парада, соседке своей, зашедшей к ней занять лаврового листа. — Долгая езда оттуда. Но к концу-то марта должен приехать.

— А к тебе идет кто-то, — проговорила соседка, взглянув в окошко.

Серафима Петровна подошла к окну и вся затряслась, ноги у нее подкосились.

— Сын!.. Витенька!.. — Она схватила шаль, накинула ее на голову и побежала к дверям.

Виктор прижал к себе мать, маленькую, сухонькую старушку, плакавшую от неизмеримой радости, от счастья, пришедшего вдруг, точно оно свалилось с неба...

Когда все трое успокоились и сели за стол поесть и попить чаю, у них потекла беседа обо всей прожитой жизни, а под конец Серафима Петровна сказала:

— У меня в подполье, Витенька, зарыты винтовки, револьверы, патроны. Надо выкопать да сдать в Совет.

— Винтовки? — удивился Виктор.

— Жил у меня, — пояснила Серафима Петровна, — портовый рабочий, Андрей Иванович, хороший человек,

большевик. Он и зарыл. «Молчите, говорит, Серафима Петровна. Я на вас надеюсь». — «Да мой сын, говорю, тоже большевик». — «Я знаю, говорит, потому и надеюсь на вас». Зарыл все — и пропал. С обыском ко мне приходила полиция. Все перетряхнули, а землю в подполье не догадались порыть... Надо народной власти сдать.

Виктор не спускал глаз с матери.

— Андрей Иванович?

— Андрей Иванович Петров.

— Петров?

— Петров, портовый рабочий, хороший человек, большевик. Может, тоже теперь освободился, придет. Пойдем, Витя, я покажу тебе, где зарыты.

— С этим делом, мама, надо подождать.

— Подождать? А чего ждать? Царя нет. Зачем теперь оружие?

— Подождем, мамочка, посмотрим. Может быть, еще пригодится.

Серафима Петровна с недоумением и тревогой посмотрела на сына.

— Подождем, мама, — повторил Виктор. — Может быть, еще понадобится.

Город уснул. Но море не спало. Океан никогда не спит. Он гнал свои высокие волны, они шумели и бились о скалы у острова Аскольда, у маяка Скрыплева, яростно набегали на берег у мыса Басаргина, и тогда серые, обточенные, как шары, камни, которыми усыпан здесь берег, приходили в движение и рокотали. И было это похоже на гневный ропот восставшего народа.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая ВСТРЕЧИ ДРУЗЕЙ

Они идут	7
Молодая поросль	24
История Василия Рудакова	37
Красный звон	50
В окопах	65
Снова у Тихого океана	74

Часть вторая ТЕНЬ ИУДЫ

На мысе Чуркина	85
Поспеловские огни	94
На хуторе Сухановке	108
Донесения филеров	113
Провал	125
Молчание	133
Опять одна	136
Горе старика Суханова	141
Дом под горой	145
У адвоката	151
Допрос Виктора Заречного	155
Женя Уварова в смятении	159
Второй допрос Виктора Заречного	163
У товарища прокурора	165
Прощание	168
Одинокий узник	171

Часть третья
МИР ХИЖИНАМ, ВОЙНА ДВОРЦАМ

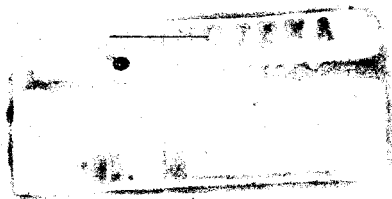
Антон Грачев в Америке	177
Единственно правильная философия	195
В Калифорнии неблагоприятно!	203

Часть четвертая
ПО СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕ

Якутским трактом	215
Случай в Качуге	227
На реке	229
Глушь	240
План побега	247
Неожиданное происшествие	255

Часть пятая
КРУШЕНИЕ МОНАРХИИ

Отец и сын	265
Предчувствия	276
Не сон ли это?	285
В России революция	289
Разрыв	295
12 марта 1917 года	301



Сычев Павел Алексеевич
У ТИХОГО ОКЕАНА
Книга вторая: Океан шумит

Редактор *В. П. Солнцева*

Художник *Н. В. Симоновская*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *В. Г. Комм*
Корректор *Е. И. Краснюк*

Сдано в набор 27/XII 1957 г. Подписано
в печать 13/III 1958 г. А 02930. Бумага
84×108¹/₃₂. Печ. л. 19¹/₂ (15,99) Уч.-изд.
л. 15,57. Тираж 75 000. Зак. № 1126.
Цена 5 р. 65 к.

Издательство «Советский писатель»
Москва, К-9, Б. Гнезниковский пер., 10

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3